



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ **ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

12/2011

Журнал
«Семь искусств»

Декабрь 2011

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2011

Журнал

«Семь искусств»

Декабрь 2011

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Габриэль Мерзон	
Учителя, коллеги, друзья	5
Владимир Тихомиров	
Константин Иванович Бабенко	15
Андрей Афендиков	
О Константине Ивановиче Бабенко	21
Ольга Борисова	
О Владимире Фёдоровиче Борисове	29
Анна Тоом и Андрей Тоом	
Павел Антокольский: «Мои записки»	33
Ури Андрес	
Эволюция метафизики	71
Ирья Хиива	
Ночные разговоры	99
Борис Тененбаум	
Хроники Шекспира с заметками на полях... ..	181
Артур Штильман	
«В Большом театре и Метрополитен Опере»	196
Светлана Гебелева	
Художник Матвей Басов – сын художника Басова	230
Игорь Ефимов	
В Царстве Клио	244
Юрий Ревич	
«Мое мнение перпендикулярно вашему»	273
Виктор Каган	
Закладки	286
Хаим Соколин	
Из ненаписанного	293
Наталья Гранцева	
"Мой Невский, ты – империи букварь..."	304
Сергей Слепухин	
REALITY-SHOW	327
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом»	333
Александр Матлин	
Узы малокровного родства	354
Елена Матусевич	

Милый Петенька	362
Александр Бизяк	
Ёлка	369
Моисей Борода	
Очки	380
Лея Гольдберг	
Два рассказа.....	403
Елена Погорельская	
Бабель и другие «с еврейской точки зрения».....	417
Эстер Пастернак	
Прогулки по Парижу	431
Об авторах	444



Габриэль Мерзон

Учителя, коллеги, друзья

Иммануил Лазаревич Фабелинский

Слово об учителе



сенью послевоенного 1946 г. в Московском Механическом институте (ММИ), который готовил инженеров-механиков и инженеров-конструкторов для заводов по производству боеприпасов, появился новый Инженерно физический факультет. Он был призван выпускать специалистов для зарождающейся отечественной атомной промышленности и, прежде всего, для создания ядерного оружия, которое тоже относилась к разряду «боеприпасов». Организация подобного факультета была весьма дальновидным шагом. Близились к успешному завершению работы по сооружению первого в СССР уран-графитового ядерного реактора. Нехватка специалистов, способных решать не только инженерные, но и чисто физические задачи, ощущалась очень остро. Вот почему студентов младших курсов ряда московских вузов: авиационного, энергетического, химико-технологического и других агитировали за переход в ММИ. Одновременно происходил набор на первый курс Инженерно-физического факультета и выпускников школ. Многие будущие известные ученые – академики Н.Г.Басов, А.М.Балдин, Л.Б.Окунь, члены-корреспонденты Академии наук Г.В.Даниелян, В.П.Силин, В.Я.Файнберг и другие были питомцами этого факультета, впоследствии преобразованного в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

Было еще одно обстоятельство, благодаря которому в конце сороковых годов прошлого века Инженерно-физический факультет ММИ мог обеспечить своим студентам самое лучшее физическое образование в стране.



Иммануил Лазаревич Фабелинский

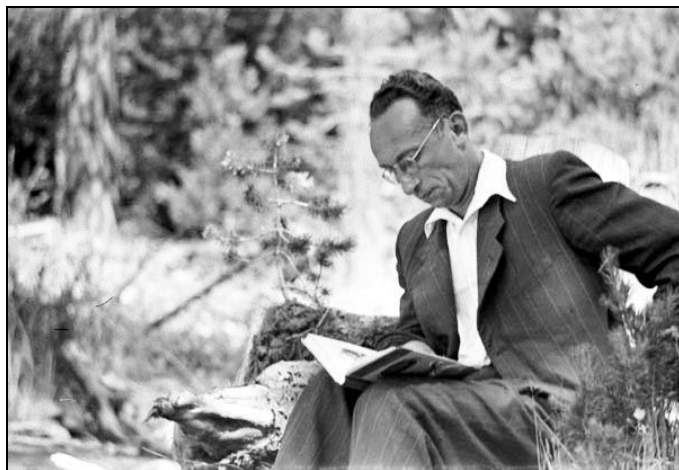
Дело в том, что именно в это время набирала темпы провозглашенная Политбюро правящей Коммунистической партии СССР борьба с «низкопоклонством» перед капиталистическим Западом», с так называемым «космополитизмом», и против «буржуазного идеализма» в науке. Были преданы ostrакизму как «идеалистическая и махистская» теория относительности Эйнштейна, а также «идеалистическая» трактовка квантовой механики в духе Копенгагенской школы Бора. Эта кампания привела к вынужденному уходу с Физфака Московского Государственного университета многих выдающихся ученых, которые перешли на Инженерно-физический факультет ММИ, где меньше руководствовались идеологией и больше здравым смыслом. В результате, там собрался цвет

отечественной физической науки. Так, например, курс общей физики читали академики Г.С.Ландсберг и С.Э.Хайкин; теоретической физики – А.Б.Мигдал, И.Я.Померанчук, И.Е.Тамм, Е.Л.Фейнберг; математической физики – А.Н.Тихонов, термодинамики – А.М.Леонтович; ядерной физики, физики космических лучей, физики детекторов частиц – А.И.Алиханян, Л.А.Арцимович, И.И.Гуревич, И.К.Кикоин, М.С.Козодаев, С.Я.Никитин; нейтронной физики – А.И.Лейпунский. Каждый из них был не только замечательным ученым, но и яркой запоминающейся личностью. Кроме того, существовали и специальные, в том числе «закрытые» (секретные) курсы лекций, которые читались ведущими специалистами-практиками, непосредственно работавшими в данной области науки или техники.

В сентябре 1948г. семинарские занятия по физике колебательных и волновых процессов в нашей студенческой группе стал вести долговязый худощавый сотрудник ФИАН Иммануил Лазаревич Фабелинский в будущем известный учёный, член корреспондент Российской Академии наук.. Он ввёл нас в мир разнообразных физических задач, постоянно подчеркивая их общность для самых различных областей физики: от механики до оптики и электромагнетизма. Предлагаемые им задачи отвечали насущным проблемам физики того времени. Их невозможно было найти в учебниках или каких-либо пособиях, поскольку они были взяты из научной периодики, трудов классиков или относились к деятельности самого Иммануила Лазаревича и других физиков ФИАН. Условия задач он выбирал из толстой общей тетради с клеенчатой обложкой, которую постоянно носил с собой в выдавшем виды портфеле. Их выбор тесно увязывался с лекциями, которые читал нам Г.С.Ландсберг. Когда задача была особенно трудна, Иммануил Лазаревич заставлял нас доставать записи лекций (учебных пособий в те времена практически не существовало) и указывал место, которое служило ключом к решению.

Был он сдержан и немногословен, но его четкие лаконичные объяснения сразу же проясняли суть дела.

Однажды по каким-то причинам он вынужден был пропустить несколько занятий, и его заменил коллега из ФИАН. Разницу мы, студенты, почувствовали мгновенно и искренне порадовались возвращению нашего постоянного преподавателя.



На привале в горах Кавказа, 1953г. (Фото А.М.Леонтовича)

Иммануил Лазаревич никогда не отказывал студентам в разъяснении не полностью (или неправильно) понятого ими материала и всегда поощрял их любознательность. Мои отношения с ним были обычными отношениями опытного преподавателя и интересующегося предметом студента. Но в них присутствовала и некоторая доля взаимного тепла. Год спустя из-за иных увлечений я стал учиться не столь прилежно как ранее и должным образом поплатился за это. На экзамене, который принимали Г.С.Ландсберг и И.Л.Фабелинский, я, слывший отличником и кандидатом на повышенную стипендию, не смог ответить на какой-то простой вопрос. Григорий Самойлович, перелистывая мою зачетную книжку с высокими прежними оценками, пребывал в затруднении и не знал, как ему поступить. Подошедший в эту минуту Иммануил Лазаревич предложил:

– «Поставьте ему *отличную* оценку, учитывая его

прошлые заслуги!».

Я вспыхнул. Большого позора мне ни до, ни после испытать мне не привелось. Это был жестокий, но справедливый урок, преподанный с характерной для Иммануила Лазаревича прямоотой.

Впоследствии, мне посчастливилось много лет работать в том самом ФИАНе, с которым была связана вся научная деятельность И.Л.Фабелинского. Наши научные интересы лежали в разных областях, и мы не соприкасались друг с другом очень близко. Были встречи на семинарах в институте и более продолжительные контакты на отдыхе. Бывал я и в его доме, где убедился, что он не только замечательный ученый, но и любящий муж, отец и дедушка. Но для меня Иммануил Лазаревич был и остается, прежде всего, Учителем, забыть которого невозможно.

ИНТЕРНАТ, МЕТЛИНО, ВОЙНА¹

Давид Абрамович Киржниц был талантливым учёным-физиком, одним из тех лучших представителей школы И.Е.Тамма, которыми гордится ФИАН. Он получил мировое признание как блестящий теоретик в области физики твердого тела, астрофизики и теории поля. Его перу принадлежат множество научных статей и несколько монографий. Он был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.

С Давидом Киржницом мы познакомились ещё в детстве в первый месяц Великой Отечественной войны. В июле 1941 г. незадолго до начала регулярных налетов немецкой авиации на Москву началась массовая эвакуация детей и подростков на Урал, в Сибирь и в другие удаленные от фронта области Советского Союза. Заботясь о своем будущем, страна, на которую обрушились тяжелейшие испытания, нашла возможность уберечь хотя бы часть подрастающего поколения от угроз и тягот войны. Одновременно снимался груз родительских забот с людей, сражавшихся на фронте или ковавших оборону в тылу в

¹ Очерк написан совместно с Л.К.Хлебутиной.

условиях, по существу, неограниченного рабочего дня, а часто и казарменного положения.



Давид Киржниц, 1941 г.

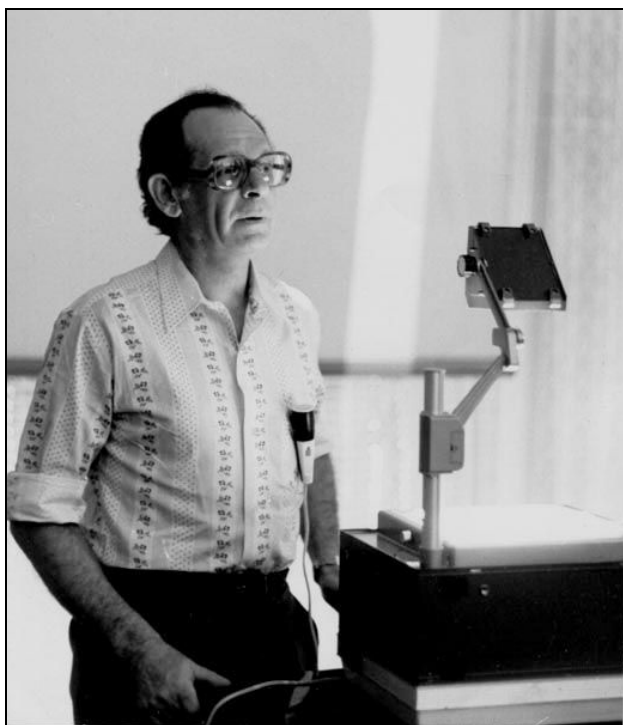
Для этого была создана широкая сеть интернатов, где эвакуированные дети могли жить в отрыве от родителей и продолжать свою учебу. Один из таких интернатов для детей московских медиков был организован на Урале в селе Метлино Кыштымского района Челябинской области и, частично, в самом Кыштыме. Села Метлино ныне не существует. В 1957 г. именно в этом месте прогремел известный всему миру взрыв хранилища радиоактивных ядерных отходов комбината «Маяк». Этот взрыв на сотни лет сделал непригодными для проживания и хозяйственной деятельности эти благословенные места Южного Урала.

В 1999 г. вышла в свет книга воспоминаний², в которой бывшие интернатовцы описали свою жизнь в Кыштыме и Метлино в период с лета 1941 г. по осень 1943 г. Одним из составителей, авторов и редакторов этих

² "Интернат. Метлино. Война", Сборник воспоминаний (Москва, ФИАН, 1999).

воспоминаний был Давид Киржниц, неожиданная кончина которого помешала ему дожидаться выхода книги в свет.

По приезду на Урал наш интернат расположился в летнем пионерском лагере Кыштымского канифольного завода. Случилось так, что короткое время, примерно месяц, после прибытия, обязанности старшей пионервожатой исполняла Елена Георгиевна Боннэр, уехавшая затем с санитарным поездом на фронт, где в дальнейшем она пробыла всю войну. Пятнадцатилетний Давид Киржниц также был одним из воспитанников интерната.



Давид Абрамович Киржниц на семинаре ФИАН

К августу 1941 г. стало ясно, что война продлится долго, надежды на скорое возвращение в Москву тщетны, и предстоит зимовать на Урале. Местные власти предоставили интернату просторный особняк: бывший барский дом на берегу проточного озера (Метлинского пруда) против села

Метлино в 25 км от Кыштыма. В Метлино в то время имела начальная школа, которую спешно преобразовали в школу-семилетку, пополнив ее педагогический коллектив учителями, эвакуированными из западных прифронтовых районов страны. Старшие ребята, которым предстояло учиться в 8-9 классах, должны были оставаться в Кыштыме.

Давид Киржниц, которого мы тогда звали Видик, был молчаливым, не по годам серьезным подростком, никогда не расстававшимся с книгой. Он оказался самым старшим в Метлинской части интерната, поскольку решил не покидать Метлино и самостоятельно осилить программу старших классов, чтобы сдать экзамены экстерном. Был он среди нас самым начитанным, самым знающим и самым непостижимым. Своей детской интуицией мы чувствовали его особость, его талантливость. Мы поражались его способностям, смелости и самостоятельности.

Никто из нас 12-13-летних юнцов, бывших лишь на 2-3 года моложе его, и не помышлял о самостоятельной учёбе. В этом решении, конечно же, проявились незаурядные свойства его натуры. С большим трудом заведующей интернатом Р.Б. Славиной-Васильевой удалось раздобыть для Давида нужные учебники, и за зиму 1941-1942 гг. он осилил программу 8-го и 9-го классов. Весной Давид несколько раз ездил на лошадях в Кыштым, где блестяще сдал все экзамены. Весть о необычном юноше с поразительно широким кругозором и эрудицией быстро разнеслась среди педагогов города. Посмотреть на него и послушать его, когда он сдавал экзамены, приходили учителя из соседних школ.

Впрочем, серьезность и раннее взросление Давида, возможно, имели и свои издержки. По возрасту и развитию он был старше и взрослее нас, своих, младших интернатских товарищей, среди которых пользовался безграничным уважением и авторитетом. Но с нами ему было просто скучно. Наши девочки ощущали робость при встречах с ним. Некоторые сохранили это чувство до самого последнего времени. Давид никогда не участвовал в наших детских шалостях, в музыкальных танцевальных вечерах, которые устраивали нам наши воспитатели, в

художественной самодеятельности. Лишь однажды он поразил всех, появившись на новогоднем маскараде в сооруженном из подручных средств костюме эсэсовца и нарукавной повязкой с надписью: – «Убиваю мирных женщин и детей!». Нашей фантазии хватало только на костюмы пиратов, мушкетеров и ковбоев.

Случайно в интернате сохранился трехламповый батарейный радиоприемник "Колхозник". Вообще говоря, его полагалось сдать на хранение. (Во время войны населению запрещалось иметь радиоприёмники, чтобы не слушать вражеские передачи. Иметь можно было только репродукторы.). О приёмнике никто не знал, а интернат испытывал настоящий информационный голод. Газеты доставлялись нерегулярно, и даже краткие военные сводки доходили с опозданием. Мы очень плохо представляли себе положение на фронтах, которое осенью 1941 г. менялось очень быстро и, увы, не в нашу пользу. Заведующая интернатом попросила Давида, как радиолюбителя со стажем, наладить радиоприемник, чтобы записывать сводки Совинформбюро, и затем вывешивать их на стенде. Давид отвечал за приёмник головой, и после прослушивания последних известий запирали его на замок в тумбочке. Однако как-то раз он поймал и немецкую передачу, где излагался приказ Гитлера о начале «последнего и решающего» наступления на Москву. Кто-то из персонала написал об этом донос. К счастью, дело, уже принимавшее дурной оборот, благодаря разумному и мужественному поведению Давида, закончилось благополучно.

По-видимому, уже в юношеские годы он хорошо понимал последствия неосторожного обращения со словом, в частности, со словом печатным. В связи с этим вспоминается такой эпизод. Седьмого ноября 1941 г. страна отмечала 24 годовщину Революции. По этому поводу, в интернате готовилась праздничная стенная газета. Один из воспитанников был назначен ее редактором, а написать передовую статью поручили Давиду. Экономя время и бумагу, Давид в нескольких местах вместо слов «Великая Октябрьская Социалистическая Революция» употребил неблагозвучную аббревиатуру ВОСР, рассчитывая, видимо,

что при переписывании текста набело она будет расшифрована. Редактор же, не придав значения таким, казалось бы, «пустышкам» аббревиатуру ВОСР сохранил. Увидев ее в стенной газете, Давид был сильно обескуражен, и разозлён, поскольку мог реально представить себе последствия, о которых мы, в силу тогдашней дремучей наивности, не догадывались. К счастью, и в этот раз все сошло нам с рук.

Будучи уже в юности человеком высокой порядочности и патриотом не в «квасном», а в истинном понимании этого слова, летом 1943 г., сдав экстерном экзамен за десятилетку, Давид явился в Челябинский военкомат с заявлением о поступлении в артиллерийское училище, но получил отказ, поскольку не достиг еще 17 лет. Эти благородные качества души он сохранил и в зрелом возрасте. Будучи уверен в справедливости поступка, который ему предстояло совершить, он проявлял завидную смелость и бесстрашие. Так, в годы борьбы с инакомыслием Давид оказался одним из немногих Рыцарей Чести, посчитав своим неременным долгом подписать обращение к властям в защиту диссидентов или помочь Андрею Дмитриевичу Сахарову и молодому коллеге-физику, арестованному за свободомыслие. Нужно ли напоминать, что в то время подобные поступки были совсем не безопасны.

Со дня нашей встречи в интернате прошло почти семьдесят лет. Но те военные годы оставили в душе столь глубокий след, что наше интернатское братство живо и сейчас, хотя многие сменили за это время адреса и фамилии, а некоторые и страну проживания. Давид Киржниц был стержнем этого братства, что проявилось с особой силой в дни его долгой болезни, когда вместе с ним мы работали над книгой воспоминаний об интернате.



Владимир Тихомиров

Константин Иванович Бабенко



онстантин Иванович Бабенко (1919-1987) был ученым необычайного творческого диапазона – выдающимся математиком, замечательным механиком и вычислителем самого высшего уровня.



Константин Иванович Бабенко

Он родился 21 июня 1919 года в поселке Брянский рудник под Луганском. Его отец, Иван Павлович Бабенко, был статистиком в железнодорожной поликлинике, мать, Мария Васильевна Хамицкая, умерла от тифа, когда сыну не было и года. Воспитанием мальчика занималась его

приемная мать, которую он любил и почитал всю свою жизнь.

Константин Иванович учился в Харьковском университете, который окончил в 1941 году.

По военному призыву в том же году он был направлен в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. В 1944 году Константин Иванович был на фронте в качестве авиационного инженера.

Константин Иванович окончил Академию в 1945 году и был оставлен в адъюнктуре Академии. По окончании адъюнктуры, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Определение сил и моментов, действующих на колеблющееся стреловидное в плане крыло в сверхзвуковом потоке газа». Эта работа была удостоена в 1949 серебряной медали и премии им. Н.Е.Жуковского АН СССР. С 1948 по 1951гг. К.И. преподавал высшую математику в ВВИА.

В 1951г. по рекомендации М. В. Келдыша Бабенко стал сотрудничать в Математическом институте им. В.А.Стеклова АН СССР. В 1952 г. в этом Институте Константин Иванович защищает докторскую диссертацию «К теории уравнений смешанного типа». С 1953 года до последних дней своей жизни К.И. работал (до 1956 года старшим научным сотрудником, после — заведующим отделом) в Отделении прикладной математики при Математическом институте (которое было потом преобразовано в Институт прикладной математики, носящий ныне имя М.В.Келдыша). В 1957 году К.И.Бабенко было присвоено звание профессора, а в 1976 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР. С 1969г. Константин Иванович работал на кафедре Общих проблем управления механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В творческой судьбе Константина Ивановича много необычного. Необычна разносторонность его научных интересов; необычна и сама линия его творческой жизни. Он начал печататься в 1947 году и за десять лет (с 1947 по 1956гг.) им было опубликовано лишь пять работ. А в последний год его жизни появилось вдвое больше – десять – публикаций! Константин Иванович одним из первых, а в

нашей стране, возможно просто первым, стал культивировать «доказательные вычисления», соединяя доказательства классических теорем с новыми вычислительными средствами.

Константин Иванович Бабенко был замкнутым и (во всяком случае – в моем присутствии) очень серьезным, я сказал бы даже суровым человеком, но – так вышло – с Константином Ивановичем теснейшим образом были связаны судьбы моих очень близких друзей – Никиты Дмитриевны Введенской, Леонида Романовича Волевича и Юлиана Борисовича Радвогина. От них в течение почти четверти века изливался на меня свет от его благородства, духовной стойкости и преданности науке. Константин Иванович сыграл большую роль в моей жизни. В частности, он был оппонентом обеих моих диссертаций; мы много беседовали с ним о математике и математическом образовании во время его работы на кафедре Общих проблем управления. И вот уже почти четверть века я не могу заглушить чувство горечи по внезапно оборвавшемуся периоду его неслыханной творческой активности.

Константин Иванович не оставил учеников, которые могли бы продолжить его научную деятельность. Во многом это объясняется особенностями его личности. У него, судя по всему, не было учителей (хотя интерес к функциональному и комплексному анализу он наследовал, скорее всего из харьковской школы, в частности, от Наума Ильича Ахизера).

Константин Иванович до всего доходил сам. Но к трем ученым он испытывал чувства глубокого почтения — это были Колмогоров, Гельфанд и Келдыш, и Бабенко не стеснялся говорить о том, что им он многим обязан. В Институте Келдыша Бабенко осуществлял проекты, в которых зарождалась современная вычислительная математика. Это были задачи естествознания, в основном, газовой динамики. Решение их требовало и «интуиции процессов» (слова А.Н.Колмогорова) и освоения новых методов счета. Бабенко развивал, предложенный Келдышем метод «матричной прогонки», а затем, в работе, совместной с Гельфандом, ими был предложен способ исследования

устойчивости граничных задач для разностных уравнений (т. н. *спектральный признак устойчивости*), основанный во многом на интуиции процессов. Сейчас трудно переоценить грандиозность последствий этих изначальных шагов, сделанных на заре современной вычислительной математики, шагов, сделанных Бабенко под влиянием Гельфанда и Келдыша.

В самой математике К.И. в значительной доле решал задачи, поставленные Колмогоровым, стараясь постигнуть и его общую программу и заниматься проблемами, которые исходили от Андрея Николаевича.

Константин Иванович презирал легковесность, он был весь устремлен вглубь. Но «глубь» он внутренне осознавал как *сложность*. Он стыдился простого, считая простое всегда легковесным. Ему ни в какой мере не была близка мысль Пастернака о «неслыханной простоте» глубоких истин.

При этом он был научным одиночкой, ограждая себя от научного общения. Это свойство характера Константина Ивановича подметил И.М.Гельфанд. Не общаясь, не обсуждая свои идеи с другими человек, как считал Гельфанд, очень обделяет самого себя. А у Бабенко были к тому же некие внутренние тормозы к общению: гордость не позволяла ему признаться, что до чего-то важного он не додумался сам. Константин Иванович никому не ставил задач, которые не предполагал решать сам, он ни с кем не делился своими отдаленными планами. Фактически у него не было учеников, были лишь сотрудники, которым он ставил лишь локальные задачи, не посвящая их в свой глобальный замысел.

Как-то в доверительную минуту (за несколько месяцев до смерти) Константин Иванович с озабоченностью говорил о судьбе своего курса «Основы методов вычислений», которому он отдал столько сил. Я сказал, что чувствую глубину его замыслов, но что мне трудно воссоздать связь отдельных кусков. Я попросил Константина Ивановича обрисовать контуры его замыслов, но Бабенко уклонился от ответа. В ту пору только что вышел его огромный труд по методам вычислений, и

Константин Иванович сказал, что там все сказано. Ясно, что человек в одиночку не может справиться с таким текстом. И когда (у А. Д. Брюно) возникла идея о переиздании, обнаружилось множество несовершенств в книге — не говоря уже о неточностях и опечатках — несовершенств по делу (не вполне корректных доказательств, повторов, доказательств уже известных вещей и т. п.) Всего этого можно было бы избежать, если бы К. И. не постеснялся попросить нескольких близких ему людей пообсуждать с ним его тексты.

С Константином Ивановичем я был в отношениях, которые я называю «отдаленно-дружескими». Константин Иванович как-то сказал: «Мы с Вами люди разных поколений: Вы не видели голодных трупов на улице» (в Харькове в 33 году). Откровенность в наших беседах была в определенных пределах — так был устроен Константин Иванович. Но все равно общение с Бабенко было содержательным и запоминающимся. В его суждениях не было тривиальностей — они характеризовали его, как самобытного, ни с кем не схожего человека.

Однажды Константин Иванович раскрылся передо мной с неожиданной стороны.

Дело было так. Весной 1973 года в Цахкадзоре состоялась конференция, приуроченная к семидесятилетию Андрея Николаевича Колмогорова. В Ереван и обратно я ехал на поезде. По дороге в Армению (14-16 марта 1973 года) моим попутчиком был Константин Иванович.

Константин Иванович был в очень добром расположении духа, много рассказывал и вспоминал.

Вот два его рассказа про Дмитрия Александровича Вентцеля, крупного военного инженера, генерала, преподававшего в ВВИА. По многим воспоминаниям Дмитрий Александрович был как бы «не от мира сего», подобно нашему Дмитрию Евгеньевичу Меньшову.

Навстречу генерал-лейтенанту Вентцелю идет капитан, и генерал видит, что шинель его застегнута не на ту сторону. Раздается возглас: «Товарищ капитан, подойдите ко мне!» Тот подходит, отдает честь. Генерал спрашивает: «Товарищ капитан, знаете ли Вы, в чем отличие мужчин от

женщин?» Капитан смущен, некоторое время длится пауза. Вентцель прерывает ее: «Раз Вы не знаете, я поясню: мужчины застегивают пальто на правую сторону, а женщины на левую». Капитан смущен, он краснеет, второпях перезастегивает свою шинель. «Разрешите идти?» «Идите». Капитан поворачивается кругом, начинает удаляться, и снова слышит: «Капитан! Вернитесь!» Тот возвращается, опять становится по стойке «смирно». Следует вопрос: «Так Вы поняли, чем отличаются мужчины от женщин?» «Так точно, понял». «И чем же?» «Мужчины застегиваются на правую сторону, а женщины на левую», – бодро рапортует капитан. Генерал задумчиво говорит «Верно...», и после паузы наставительно: «Но не только этим!»

Это, конечно, апокриф, а второй сцены, как мне запомнилось, Константин Иванович был свидетелем.

Дмитрий Александрович читает лекцию в Военно-воздушной академии (которую кончал К.И.Бабенко) и видит, что один из его слушателей занят посторонним – он что-то читает. Вентцель поднимает слушателя вопросом: «Что Вы читаете, молодой человек?» «Книгу Ажаева «Далеко от Москвы». «Извольте выйти вон! Помимо того, что Вы занимаетесь на лекции посторонним делом, Вы не обладаете еще и вкусом к российской словесности!»

Естественно, на Вентцеля поступил донос: Ажаев был лауреатом Сталинской премии. Генералу пришлось давать объяснения.

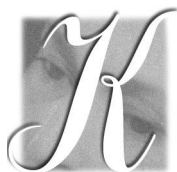
Хочу закончить словами из некролога К. И. Бабенко, опубликованного в «Успехах математических наук»:

«Широта научных взглядов и глубокая эрудиция, беззаветная преданность науке и необычайная трудоспособность, принципиальность и глубокая порядочность — эти черты Константина Ивановича Бабенко навсегда останутся в памяти тех, кому довелось его знать».



Андрей Афендииков

О Константине Ивановиче Бабенко



Константин Иванович был удивительно ярким человеком и блестящим математиком, многие его результаты вошли в золотой фонд науки. Но это тот случай, когда хочется соотнести научные достижения с творческим потенциалом личности. Есть люди, которым повезло с достижением формальных признаков самореализации. Кажется, что защиты, звания, награды сыпятся на них, как из рога изобилия. Рискну высказать небесспорное мнение, что как ученый К. И. был еще крупнее и значительней работ, что ему довелось довести до публикаций.

В 1941г. Константин Иванович окончил Харьковский университет. В ИПМ работала приятельница К.И. по Харькову – Л.Б.Морозова (Мельцер), которая на моей памяти одна была с ним «на ты». Не могу не воспроизвести ее слова о годах учебы в Харьковском университете, которые она включила в воспоминания о первом двадцатилетии Института. «Я помню Костю еще по Харьковскому университету (до войны). Еще там все знали, что Костя Бабенко – ГОЛОВА. Он, кстати, всегда отличался от студентов своим внешним видом. В те времена студенты были, конечно, бедные, но кроме бедности еще и неряшливые. Костя же всегда ходил в отутюженных костюмах и белоснежных рубашках, несмотря на то, что он как многие жил в общежитии. Выглядел он всегда «с иголки» и в этом смысле был похож на Келдыша...».

В 41 году он по военному призыву был направлен на учебу в ВВИА им. Н. Е. Жуковского, которую окончил в 1945 г. В 1944 г. К.И.Бабенко участвовал в боевых

действиях в качестве авиационного инженера. По окончании ВВИА он был оставлен в адъюнктуре и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Определение сил и моментов, действующих на колеблющееся стреловидное в плане крыло в сверхзвуковом потоке газа». Эта работа была удостоена премии Н.Е.Жуковского за 1949г.

За этими скупыми строками стоит немало драматических событий, ведь Костя рвался заниматься математикой, а его первая совместная публикация с Н.И.Ахиезером относится к 1947 году, т.е. война отняла несколько лет его творческой научной жизни. Конечно, к теме диссертации его первые математические работы отношения не имели. С адъюнктурой и диссертацией связано знакомство К.И. с М.В.Келдышем. В диссертации было слишком много математики, в которой никто на кафедре не хотел (не мог) разбираться. Самый простой выход — объявить, что «диссертация не удовлетворяет требованиям ... по указанной специальности». Собственно защиты диссертации и не было бы, если бы при её обсуждении одна добрая душа не сказала: «А я знаю этого молодого человека (Келдышу тогда не было и сорока). Его мнение надо узнать». М. В. работу поддержал. Диссертация была, конечно, закрытая и никаких публикаций не предполагалось. Рассекретить ее удалось лишь в 90-е после кончины К.И. За эти годы результаты этой замечательной работы были переоткрыты и вошли в учебники под другими именами.

В 1948-1951 гг. К.И.Бабенко преподавал высшую математику в ВВИА им. Н.Е.Жуковского и работал над докторской диссертацией. Времена были голодные, и по воспоминаниям К. И. курсантов в столовой бессовестно обкрадывали. Он всеми силами души мечтал вырваться оттуда и течение двух лет работал на износ. Об этом времени написал Л.Р.Волевич в статье о докторской диссертации К.И. В 1951 г. по инициативе М.В.Келдыша К.И. был переведен в Математический институт им. В.А.Стеклова АН СССР, где в 1952 г. защитил докторскую диссертацию «К теории уравнений смешанного типа». На банкете, посвященном избранию в члены-корреспонденты

АН СССР, К.И. сказал об этих временах, обращаясь к Келдышу: «Мстислав Всеволодович, помните, как Вы выгоняли меня в дверь, а я влезал к Вам в окно?» Неудивительно, что первый доклад на первом семинаре в ОПМ (еще в Отделении, а не Институте) делал К.И.

Полагаю, что некоторые странности в математической биографии К.И. определялись работой в ИПМ (ОПМ). Надо представить первые годы после создания ОПМ; уровень важности для страны, срочности и секретности работ, которые тогда велись в интересах Первого Главного Управления и курировались на самом высоком уровне (Л.П.Берия).

Занятия чистой математикой в Институте М.В.Келдышем поощрялись, но ... лишь в свободное время, которого всегда катастрофически не хватало. Это позднее, когда все, что надо полетело, а все, что надо взорвалось, М.В. мог сказать на ученом совете: «К.И., не набирайте так много производственных задач». Я слышал, что последним, кого взяли в ИПМ для занятий математикой, был А.А.Кириллов.

Творческий максимализм, свойственный молодому К.И., подогревался и общей обстановкой в ИПМ и некоторыми его коллегами (Гельфанд, Келдыш). Типичная реакция молодого Бабенко на предложение опубликовать результаты докторской: «Ну что, у меня новых результатов нет что ли?»

Позволю себе привести по памяти слова К.И.: «Вот, предположим, живет человек. Как-то зарабатывает на жизнь. А для души решает сложные математические задачи». Т.е. профессионал по К.И. – это человек, зарабатывающий своей профессией на жизнь. На жизнь К.И. зарабатывал в Институте, занимаясь «производственной тематикой». Последовательней был Израиль Моисеевич, который, как только в 60-е появился шанс, сразу устранился от закрытых работ. А К.И. не на годы, а на десятилетия прятал полученные результаты в стол. По строчкам упоминаний в изданиях типа «Математика в СССР за n-лет» можно установить, что еще в 50-е им были получены результаты по асимптотике спектра эллиптических операторов. Они

остались не опубликованными, а неким «отходом» от этой деятельности послужили публикации о спектрах линеаризованных задач гидродинамики в 80-х годах. В виде препринта остались результаты о сферических средних для кратных рядов Фурье. Да и вообще, количество незаконченных, оказавшихся по тем либо иным причинам в столе работ было столь велико, что в последние годы жизни К.И. попытался его разгрузить, конечно, с некоторыми издержками, вызванными желанием хоть как-то, хоть намеком поделиться своими размышлениями.

К сожалению человек, выбравший вольно или невольно, жизнь «любителя», оказывается в значительной мере изолированным от «профессионального» сообщества зачастую просто в силу нехватки времени. Так можно было позволить себе жить в начале 20 века, но не в его середине, после двух войн и колоссально возросших вложений в науку и несопоставимых по объему информационных потоках. Бабенко олицетворял для нас связь современной науки с математическим естествознанием 19 века, с наукой Гаусса и Пуанкаре, Адамара и Ляпунова со всеми плюсами и минусами такого подхода к науке. Он обожал делать ссылки на первоисточники, и решать давно поставленные, так сказать, проверенные жизнью на сложность задачи. Казалось, что ссылка, скажем, на работу Стокса 1881 года доставляет ему эстетическое удовольствие.

У К.И. было немного учеников, т. к. почти не было задач, которые он бы мог дать обычному аспиранту. Своему аспиранту Л.Р.Волевичу он в 57г. дал в качестве темы смешанную задачу для гиперболических систем. Эту теорию построили через 13 лет R. Sakamoto и H.O.Kreiss и только после появления адекватной техники. Вторая задача была про асимптотику вихря вдали от обтекаемого тела (ее решил в 70-е сам Бабенко и, независимо, D.C.Clark). Третью задачу Л.Р. поставил себе уже сам. Так хорошим или плохим научным руководителем был К.И.? Он говорил своим ученикам: «Надо решать трудные задачи». Подбирал ли он посильные для аспирантов задачи? Скорее нет, чем да.

Поэтому ответ на мой вопрос может быть только парадоксальным; и плохим и замечательным, но в любом случае неординарным. Все зависело от самого аспиранта.

В начале 80-х начал издаваться журнал «Selecta Mathematica Sovietica». К.И. хотел опубликовать там одну из работ, изданную лишь в виде препринта ИПМ и обратился за разрешением к директору Института А.Н.Тихонову. Ответ был обескураживающим: «Не надо привлекать излишнего внимания к Институту». Как говорится - «No comments». Что и говорить, их взаимная неприязнь порой выходила за академические рамки. Об этом многие знали и, например, после кончины Келдыша, Ишлинский предложил К.И. перейти с отделом в Институт Проблем Механики. К.И. почти согласился и только просил перевести туда же и отдел А.В.Забродина. О переводе двух отделов договориться не удалось.

Не исключено, что истоки этой неприязни надо искать в истории организации Института из независимых групп и из их гласного и негласного соперничества.

Если посмотреть на диапазон научных интересов К.И., имея ввиду только опубликованные работы, то и тогда он покажется необъятным. Как-то при мне в разговоре с К.И. Л.Р.Волевич сказал, что хочет отказаться писать рецензию на статью в УМН, поскольку у него нет публикаций по этой тематике. К.И. ответил: «У меня нет публикаций по теории чисел, и что из этого?» Тут он, правда, чуть слукавил; асимптотику количества целочисленных точек в расширяющихся областях, можно отнести и к аналитической теории чисел (как и к анализу, и к спектральной теории).

Среди классификаций математиков есть и подразделение на «самобытных и образованных». Так вот, К.И. был и тем и другим. Об энциклопедичности его знаний в Институте ходили легенды. Р.П.Федоренко на банкете, посвященном защите диссертации одного из сотрудников отдела №4 поднял тост: «За К.И.Бабенко (он был научным руководителем соискателя), который знает все, и Э.Э.Шноля, который знает почти все». Но ведь все знавшие К.И. без колебаний скажут, что он, несомненно, был и

самобытным математиком. Он мог взяться за задачу с нуля, только потому, что она показалась ему интересной и трудной. С другой стороны он не мог позволить себе ради лишней публикации тратить время, которого всегда не хватало. Более 30 лет оставались неопубликованными его результаты по уравнениям смешанного типа. В 80-е его попросили прислать статью в сборник памяти Ф.Трикоми. Посланная статья исчезла (как, по-моему, и сам сборник) и это подтолкнуло его на склоне жизни к публикации трех заметок в Докладах, где он отреферировал свою докторскую диссертацию, написанную в 51 году! К. И. с гордостью пишет: «За прошедшие годы эти результаты не были ни усилены, ни переоткрыты». Т.е. решая задачу, он работал для «вечности». А с современной точки зрения с пресловутыми ПРНД, ИР, хиршами и индексами цитирования его работа по уравнениям смешанного типа как бы и не существует. Но ее экземпляр в МИАНе зачитан до дыр, а известная книга М. М. Смирнова «Уравнения смешанного типа» наполовину состоит из изложения этой диссертации!

К.И. достаточно болезненно относился к проблеме плагиата. Так, на защите одной докторской он сказал: «Работал весь отдел, а защищает один человек и почему-то докторскую» (этот человек защищался с благословения М.В.Келдыша).

Я не застал К.И. в годы его расцвета. Говорят, что после болезни и удаления почки в 70-е он стал намного мягче и терпимее, но, видимо, своей категоричностью (при безусловной компетентности) К.И. задевал многих. Когда-то В.И.Арнольд написал (Дополнительные главы, стр. 202): «...Это простое соображение [...] показывает тщетность такого большого количества исследований в теории дифференциальных уравнений и других областях анализа, что об этом просто опасно упоминать». Добавлю, что видимо, настолько опасно, что сам Арнольд приписал это высказывание А.Пуанкаре.

Таких «простых соображений, показывающих тщетность большого количества исследований в теории численных методов» также хватает. К.И. не раз, и

достаточно жестко, высказывался на эту тему. Так, две проваленные в середине 80-х докторские привели к тому, что Диссертационный совет в ИПМ был реформирован, и из его состава были удалены почти все его соратники и единомышленники (О.В.Локуциевский, Н.Н.Ченцов, А. В. Забродин и др.) сохранившиеся там еще с келдышевских времен.

Конечно, по последнему десятилетию нельзя судить обо всей жизни человека и люди, более близко знавшие К. И., могут разойтись с моей оценкой его характера и убеждений. Он казался довольно замкнутым и малообщительным человеком. Но не стоит забывать, что ему довелось вырасти и жить в стране, где откровенно говорить на политические темы можно было лишь с женой, да еще укрывшись одеялом. В те годы ходила грустная шутка. «Если стоят два человека и один рассказывает другому политический анекдот, то, как минимум, один из них стукач... Или тот, кто рассказывает или тот, кто слушает». Когда А.Хованский притащил в отдел Бабенко один из первых выпусков журнала хельсинкской группы, об этом почти сразу стало известно заместителю директора по режиму. Стукачей хватало везде, причем среди них были очень разные люди, как, впрочем, и среди тех, кто эту информацию фильтровал. Стоит добавить и то, что почти всю жизнь он проработал в ИПМ (ОПМ), который был режимным учреждением. Поэтому в личном общении, особенно с подчиненными, К.И. обычно был очень сдержан. Ведь как отделить соленую воду политических тем от пресной воды тем «нейтральных»? Тем не менее в соответствующих органах он был явно на заметке и каждая из его немногочисленных поездок за рубеж проходила с боем.

Лишь в последние годы жизни он стал более откровенным и открытым, да и то больше с молодежью. К нему нельзя приклеить ярлык вульгарного антисоветчика, а его понимание социалистических и коммунистических идей и всего происходящего в стране было гораздо глубже уровня: «Бандит Сталин и свора его шакалов...». Для него более характерны другие высказывания, которые говорят о

его целостном научном мировоззрении. У него было любимое выражение: «Чудес не бывает!» Конечно, особенно часто это звучало по поводу ошибок в программах и попыток что-то свалить на бессловесную ЭВМ. Для всего происходящего он искал рациональные научные объяснения. Передаю по памяти. «Идея уравнивать не возможности, а потребности гораздо старше марксизма». «Ленин подписал Брестский мир потому, что был готов проводить свои эксперименты в пределах одной Московской губернии». «Не может устойчиво функционировать большая система, если один из ключевых ресурсов находится в постоянном дефиците» (в этом высказывании он имел в виду трудовые ресурсы и полную трудовую занятость). «Многих людей помирили с советской властью война и Гитлер». (В их числе и Антона Ивановича Деникина!)

Война, голодомор и русская деревня - темы, на которые К.И. всегда говорил с неподдельной болью. Но и здесь его взгляд на события и на их интерпретацию в официальной истории СССР был далек от ординарного. А с какой страстью он включился в последний год жизни в борьбу с планами вмешательства в работу естественного водного баланса Каспия и с идеей поворота сибирских рек! Об этом написано в замечательной книге М.И.Зеликина «История вечнозеленой жизни».

Все, кому довелось достаточно близко знать Константина Ивановича, не забудут счастья общения с этим замечательным человеком.



Ольга Борисова

**О Владимире Фёдоровиче
Борисове**

Предисловие Владимира Тихомирова

Предисловие



изнь Владимира Федоровича Борисова (1961-2010) оборвалась внезапно, когда он находился на рубеже больших свершений в расцвете творческих сил. Владимир Федорович был связан с кафедрой Общих проблем управления со студенческой поры. На третьем курсе он стал учеником Михаила Ильича Зеликина, на нашей кафедре им были написаны курсовые и дипломная работы. Затем он стал аспирантом кафедры и блестяще защитил кандидатскую диссертацию. На пороге сорокалетия им была завершена докторская диссертация, в которой глубоко развивалась теория, к которой он был привлечен со студенческих лет. Связь с научным руководителем и с кафедрой никогда не прерывалась. В 2004 году Владимир Федорович становится профессором-совместителем нашей кафедры.

Все, кому довелось соприкоснуться с Владимиром Федоровичем в жизни и в работе, сохранят память о нем, как о талантливом ученом, добром и благородном человеке.

В.М.Тихомиров

Борисов Владимир Федорович родился 22 июля 1961 в небольшом подмосковном фабричном поселке Софрино в рабочей семье: отец, Федор Иванович – водитель грузовика, мать, Нина Леонтьевна – мастер смены на кирпичном заводе.

Учеником Володя был очень способным, он обладал не только математическими способностями, но и абсолютной грамотностью, интересовался историей, биологией. Был победителем школьных олимпиад, хотя его мышление не было, что называют, «олимпиадным»: решение любых задач всю его жизнь было скорее вдумчивым и глубоким, чем быстрым. Учителям обычной сельской школы было нелегко с ним, он выделялся как самородок в горе породы, преподавателям приходилось на уроках давать ему отдельные задания.



Владимир Фёдорович Борисов

Владимир закончил школу с отличными оценками по всем предметам в 1978 году и поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова на специальность «математика».

Его научным руководителем стал Михаил Ильич Зеликин. Ученичество, а затем и научное сотрудничество с Михаилом Ильичем началось в 1981 году и продолжалось всю жизнь Владимира Федоровича, и даже после его смерти.

После окончания университетского курса в том же 1983 году Борисов поступил в аспирантуру механико-математического факультета.

Со временем учебы в аспирантуре была связана одна интересная история. Отец Владимира в это время вышел на пенсию по инвалидности и начал собирать сыну математическую библиотеку. Федор Иванович заводил

знакомства в книжных магазинах, покупал и обменивал книги. Борисов-старший прославился в библиофильских кругах Москвы, как человек, закончивший только начальную школу, и собравший сыну замечательную подборку математических книг. При этом он, не разбираясь в содержании книг, помнил все купленные книги по авторам и цветам корешков.

В 1986 году Владимир Федорович закончил аспирантуру и в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Четтеринг режимы в теории оптимального управления». В 2000 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Траектории с учащающимися переключениями разрывных гамильтоновых систем».

После окончания аспирантуры в 1986 году пришел работать на кафедру высшей математики в Московский Технологический институт, где работал до 2002 сначала ассистентом, потом доцентом, и затем профессором.

В 2002 году не только стал заведующим кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин в Королёвском институте управления, экономики и институте управления, экономики и социологии, но и практически создал эту кафедру. В 2006 году по его инициативе и под его руководством на кафедре была открыта специальность «Математические методы в экономике» с присвоением квалификации «экономист-математик». Им были разработаны и апробированы авторские программы почти по всем математическим предметам. Смерть унесла его раньше, чем его первые студенты окончили курс, но некоторым из дипломников 2011 года Владимир Фёдорович успел поставить задачи.

В.Ф.Борисов – автор 40 научных и научно-методических работ, в том числе монографий: «Theory of Chattering Control with Application to Astronautics, Robotics, Economics and Engineering» Birkhauser, Boston, 1994, и «Особые оптимальные режимы в задачах математической экономики», Итоги науки и техники, Современная математика и приложения, Тбилиси, 2003г. (обе – совместно с М.И.Зеликиным).

Он был руководителем Гранта РФФИ «Оптимальный синтез в окрестности особых экстремалей» (2005-2007г.г.) и участником выполнения Гранта президента Поддержки ведущих научных школ Российской федерации.

Экспертный совет по математике механике и информатике Российского фонда Фундаментальных исследований отметил в числе лучших результатов, полученных в 2009 году, результаты проекта, выполненного под руководством профессора Борисова «Оптимальное управление в бесконечномерном пространстве». Основным результатом работы является бесконечномерное обобщение теоремы Зеликина–Борисова о синтезе оптимальных траекторий в гильбертовом пространстве.

В.Ф.Борисов работал на кафедре Общих проблем управления и лично с профессором М. И. Зеликиным почти 30 лет: он читал спецкурсы, вел спецсеминар вместе с Михаилом Ильичем, проводил занятия по оптимальному управлению со студентами сначала как почасовик, а с 1999 года работал на кафедре ОПУ профессором–совместителем. За день до своей смерти Борисов вместе с другими преподавателями кафедры оптимального управления принимал экзамен у студентов 4-го курса.

Внезапная смерть 9 января 2010 года унесла из жизни не только талантливого ученого, который в свои 48 лет мог бы многое сделать в науке, но и доброго, отзывчивого человека, любящего мужа и заботливого отца.



Анна Тоом и Андрей Тоом

Павел Антокольский: «Мои записки»

**Публикация и предисловие
Анны Тоом и Андрея Тоома**



Павел Григорьевич Антокольский (1896-1978) принадлежит к числу классиков отечественной литературы XX века. В июле 1953 года (через два месяца после смерти Сталина) он написал большой автобиографический очерк, опубликованный целиком лишь недавно под заглавием «Мои записки» в книге «Далеко это было где-то...» (Предисловие и несколько стихов из этой книги недавно были опубликованы в этом журнале.) Здесь мы помещаем первую часть этого очерка.

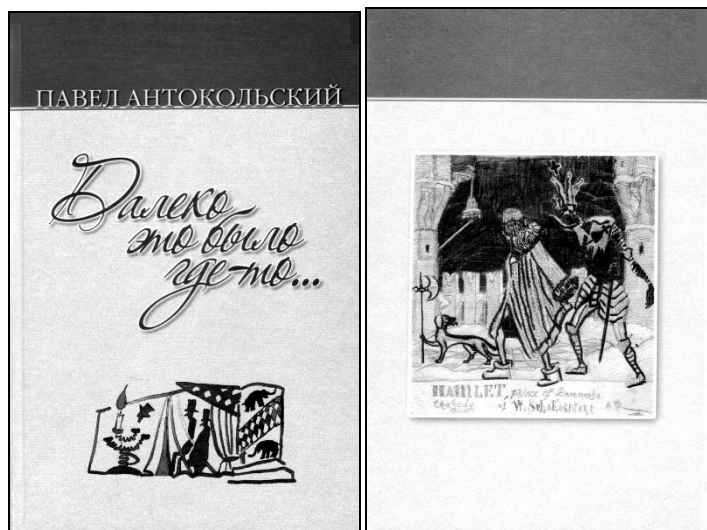
Андрей и Анна Тоом

3 июля 1953

Мне исполнилось 57 лет. Это ни много, ни мало. Это просто срок, до которого я дожил, доработался, добездельничал, догрешил и докаялся. И вот мне хочется вспоминать, вспоминать, вспоминать. Обычно это удел бессонницы, вагонной койки, вынужденного перерыва в труде и в жизни. Но сейчас это моя основная потребность, может быть даже творческая потребность.

Вспоминать, но о чём? – Обо всей прожитой жизни. Начинать надо не с детства и не с ранних лет юности. То и другое слишком далеко. Может быть, когда-нибудь вернуться и к детству, и к родителям. Сейчас хочется о другом, тоже достаточно далёком: предреволюционные годы, студия,

Вахтангов, первая любовь. Надо найти в себе силу для очень большой правдивости, иначе писание ни к чему.



Обложка книги

Часть первая 1915-1917

1.

В 1914 году я кончил гимназию. Кончил с грехом пополам, потому что в старших классах вообще учился неважно, уже увлекался поэзией, театром, кроме того был рассеян, застенчив, угнетён своим половым возмужанием, которое казалось мне несмываемым позором и только, мало привычен к усидчивой дисциплине, к умственному труду.

В то же лето разразилась катастрофа Первой Мировой Войны. Мечта моих родителей – послать единственного сына учиться живописи в Париж – потерпела фиаско. Я остался в Москве и не попал в Университет. Принят был только через год, т. е. осенью 1915 года. На юридический факультет. Трудно сейчас восстановить цепь рассуждений: почему же на юридический? Естественнее было бы на филологический. Влияние отца? Забота о будущей профессии? Сравнительная лёгкость наук? Всё это, конечно, сыграло роль. Вообще юридический факультет был

неким свалочным местом для ленивых молодых людей, мало заботящихся о будущем и менее всего заинтересованных в настоящих знаниях. Став студентом, я на лекции не ходил, кое-как сдал экзамены с первого курса на второй. Эти предметы: теория права, введение в государственное право и начатки римского права дались мне легко и заинтересовали связной логикой, отвлечёнными конструкциями, витиеватым безжизненным красноречием учебников. Написанное здесь – уже сегодняшний домysel: по чести сказать, я совершенно не помню, как относился к этому книжному материалу. Голова, память, душа были полны театром, почти бесполой влюблённостью в тех или других незнакомок, встреченных на Пречистенском бульваре. Я боялся жизни, боялся новых людей, судорожно кропал на бумаге подражательные, отвлечённые стихи. У меня было несколько закадычных приятелей ещё из гимназии: Водовозов, Усов¹, Калинин, Сидоров. Тогда это могло называться дружбой, но только через год или два я узнал цену и прелесть настоящей дружбы.

Словом, я жил ещё как на вокзале, как в ожидании поезда: куда он повезёт, попаду ли я в нужный вагон, достану ли билет – всё это мелькало неосознанное в воображении. Мне было 18-19 лет, но юность ещё не началась. А я-то по глупости думал иногда, что она уже кончилась. Так обстояло дело к осени – началу зимы 1915 года. Рассказав только что о переходе с первого курса на второй, я забежал вперёд. Итак – начало Университета, вторая военная зима в Москве. Это начало всех моих начал, узел всех будущих дорог. Помню встречи с молодыми поэтами в какой-то душной комнатёнке. Там были Д. Горбов (существующий и поныне), Н.Харламов, Шиманкевич, Лебедев – совершенно выпавшие из жизни и из памяти фигуры. Был также Ю.А.Завадский, который в последующем изложении займёт большое место. Помню неудобный вестибюль старого университетского здания на Моховой. Толстенные каменные стены, деревянные диваны,

¹Усов, Дмитрий Сергеевич (1896-1943) – филолог, знаток немецкого языка. В 30-х годах репрессирован.

высокие холодные подоконники. Сырость. Мгла. Ненастный дождь. Дорога по Волхонке на Остоженку домой. Храм Христа Спасителя, парапет над Москва-рекой. Все эти места сейчас очень изменились. Вывески магазинов, табачный Месаксуди на Волхонке, парикмахерская на Остоженке, в том же угловом нелепо модернистском доме Филатова, где жила моя семья, состоявшая из отца, матери, двух сестёр и меня. К этому ещё надо будет вернуться. На той же Остоженке в доме №8 жил тогда Коля Водовозов. Гораздо позже узнал я о любви к нему моей сестры. Маршрут одиноких блужданий – Пречистенский бульвар. Сколько потом будет на нём пережито. Но мне кажется сегодня, что я и тогда чувствовал, каким будущим чреват для меня этот бульвар. Во всяком случае, бродить по бульвару было предчувствием неизбежного в каждой юности счастья, предчувствием самой жизни. Но как оно туманно, как рыхло-неопределённо, как оно ни к чему не обязывает, как ленив я и непредприимчив. Как медленно идёт время, как тянется душное лето, как ничего не означает приход осени. И вот наконец – московская зима. У меня есть стихотворение, где всё это описано, оно по старине (моей) не точное и мало конкретное. Но отдельные частности передают эпоху и самочувствие автора:

Москва. Зима. Бульвар. Черно
От книг, ворон, лотков.
Всё это жить обречено.
Что делать. Мир таков...
25.12.11.²

В одно из первых зимних утр того сезона (1915-1916) я прочёл объявление на университетской доске:

*Студенческая драматическая студия под руководством артистов Художественного Театра. Приём продолжается.
Адрес: Остоженка, Мансуровский пер., дом 3.*

² Москва. Зима. Бульвар. Черно... – начальные строчки раннего стихотворения П.Г.Антокольского, впоследствии датированного 1961 годом.

Означало ли моё решение пойти по этому адресу решимость быть актёром? Безусловно означало. Дальнейший рассказ выяснит, почему актёр из меня всё-таки не вышел.

Каменный двухэтажный дом, самый неказистый и серый, кажется, во всей Москве. Подъезд с улицы. Звонок. Дверь открывается благодаря нехитрому приспособлению: наверху дёргают за верёвочку, привязанную к замку в двери. Стоящий у входа слышит щёлканье, толкает дверь и подымается по прямой лестничке, ведущей на второй этаж. Засим поворот направо, короткий коридор, крохотная передняя и вы уже в святой святых Студии. Это четырёхугольная, почти квадратная комната, обитая серой дерюгой. Такие же серые дерюжные занавеси на окнах. Такой же серый дерюжный занавес отделяет эту комнату от другой такой же, также обычной, но несколько меньшей. Первая – зрительный зал, вторая – сцена. По стенам первой стоят простые деревянные скамьи. На каждой могут усестся человека три-четыре. У стены, противоположной сцене, небольшой стол, покрытый той же дерюгой и кресло, единственный показатель сравнительного уюта и зажиточности. Всё остальное сурово, бедно, неприкаянно, неприкрашено. Ах, да – над креслом репродукция с Серовского наброска Станиславского, а на столе (может быть, и не в тот первый день, но очень скоро) глиняная ваза с цветами.

В комнате человек 20-25. Это молодёжь разных высших учебных заведений, студенты, техники, коммерсанты³, курсистки. Пиджаки, форменные тужурки, суконные блузы с ремнями. Тихая, бедная, неприкаянная молодёжь дореволюционной Москвы, вдоволь начитанная по части Чехова и модных скандинавов (Гамсун⁴, Ибсен⁵), выбитая из колеи мечтами об актёрской деятельности, глубоко бескорыстная молодёжь. Она идёт на очень

³ *Коммерсанты* – здесь имеются в виду студенты московского Коммерческого института.

⁴ *Гамсун, Кнут* (*Knut Hamsun, 1859-1952*) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

⁵ *Ибсен, Генрик* (*Henrik Ibsen, 1828-1906*) – норвежский драматург.

большие личные жертвы, чтобы по вечерам обретаться в этой комнате. Она глубоко отравлена своей мечтой о театре, и как потом выяснится, глубоко, непоправимо несчастна. Пройдёт год или два и большинство сидящих здесь поймёт, что из задуманной профессии ничего не вышло, что время потеряно зря. Но сейчас – сейчас всё обстоит по-другому. За столом в кресле в этот первый мой вечер сидит пожилой белобрысый человек среднего роста с лицом в глубоких актёрских морщинах, с крупным носом, с утрированной простоватостью, присущей Художественному театру. Это Иван Васильевич Лазарев, артист Студии МХТ. Со мной знакомятся, происходит нечто вроде экзамена. Но это не имеет значения. Главное предстоит через несколько дней. Мне говорят об этом, и я заранее волнуюсь: каким же будет это главное?

Я ещё не разобрался в окружающих новых лицах. Вот рыжий молодой человек в синей визитке, вот девушка небольшого росточка с лихорадочно ярким румянцем и огромными глазами. Красоту своих глаз она хорошо знает и ценит. Они могут выражать печаль, испуг, напряжённое внимание к собеседнику, но нет в них женственности, нет юмора, нет юности. Это одна из самых обречённых, самых несчастных. Вот ещё один молодой человек, явно еврейского типа с растрёпанной чёрной шевелюрой, с толстыми красными губами. Всё его существо шепелявит, картавит, шлёпает губами и брызжет слюной. Он плохо владеет собой, нагл, навязчив, наивен – наивен до ребячливости. Вот студентик в тужурке, худой, сосредоточенный, белёсый и белокурый, напоминающий совсем юного шестидесятника и в то же время не без кадетской выправки; вот другой студент в пенсне, с лицом как будто вырубленным топором, такое оно большое, невыразительное, но надменное; вот приземистая, полная девушка с неправильными, привлекательными чертами лица; очень оживлённая и восприимчивая ко всему, что делается вокруг – эта, пожалуй, действительно актриса. И ещё – спины, головы, руки – всё это в разных поворотах и позах, выражающих и покой, и ожидание, и внимание... всего не ухватишь. Вот прелестная полная блондинка,

несколько курносая и чуть жеманная. Вот другая блондинка, стриженная, как полагается курсистке, она много и заразительно хохочет. Вот московская барыня, существо из другого, вполне буржуазного мира; у неё меха, кольца, подведённые глаза, крашенные ногти. Если эти фигуры рассовать по случайным трамваям, окружить уличной толпой, конечно они потеряются, ничем не будут выделяться, но здесь они выразительно лепятся на серой дерюжной сцене. Хочешь ты того или нет, – завтра они станут твоей клеткой, определяющей тебя средой. Завтра ты найдёшь здесь единомышленников, друзей, любовь. Завтра ты станешь таким же, как они, одним из них. Но для этого должно наступить главное, должен придти этот главный. И он пришёл.

2.

Я много раз пытался правильно и правдиво описать Евгения Богратионовича Вахтангова, человека, определившего слишком многое в моей жизни, чтобы его можно было забыть. Но описания мои при всей добросовестности были не точны. Они страдали стилизацией. Я вносил сегодняшнюю оценку в прошлое.

Перед нами сидел артист, прежде всего артист. Артист с головы до ног. Т.е. человек безусловно изящный, безусловно отлично воспитанный, вышколивший себя до мизинца, очень хорошо знающий своё обаяние, свой жест, силу своих глаз, модуляции своего голоса. Он вполне владел собой, владел всегда и всюду. Но здесь это проявилось в обстоятельствах глубоко трагических. Ведь Вахтангов и умер артистически. Но в тот день зимы 1915 года, когда я увидел его впервые, он был молод, очень хорош собою, здоров, физически бодр и крепок. Вряд ли можно было угадать в нём кавказца, армянина. Но юг чувствовался. Нерусская кровь тоже чувствовалась. Ему подошла бы гитара, а не баян. Но скорее можно было его представить в бархатном плаще, широкополой шляпе с пером и со шпагой, нежели в дохе с газырями. Тем не менее, добротный серый пиджак сидел на нём добротнo и по-домашнему свободно; мягкая рубашка с отложным воротничком и яркий галстук

были хорошего вкуса и тона. В нём не было случайного, не было насады и фальши. Орлиное смуглое лицо дышало интересом ко всему окружающему. Он знал: все эти безымянные, не слишком одарённые юноши и девушки бесконечно ниже его, они ещё ничто, но они послушно преданы ему. Он может лепить из них что угодно. Кажется, что я говорю дурное об этом замечательном человеке. Но это только кажется. С этого необходимо начать, чтобы войти в его мир. А мир Вахтангова богат.

Сейчас его осенило крыло долгожданной, заслуженной явной удачи. Только что сыграна роль Текльтона в «Сверчке»⁶, роль трудная, мало благодарная, – но она является изобретением, новым явлением в пределах данной сценической школы. Актёр блеснул выразительным внешним рисунком, гротескной характерностью. По общему признанию, это настоящий диккенсовский чёрствый стяжатель и чужак, который внезапно становится своей противоположностью, добрым и расслабленным старичком. Ещё бóльшая удача – поставленный им спектакль «Праздник мира»⁷, неприятная пьеса Гауптмана, рассказывающая о вырождении, об ужасах семейного буржуазного ада, произведение горько натуралистическое, предмет для любопытства психиатра и невропатолога, – эта пьеса решена глубоко и по-новому, в свете нравственного учения Толстого. Спектакль говорит о доброте, о силе любви к ближнему, о прощении обид. Вместо того, чтобы запугать и оттолкнуть кликой, спектакль умиляет и трогает, напоминает людям простые и важные истины. Это ли не победа!

На уроках в студенческой студии он отдыхает: никуда не надо спешить, надо только исподволь внушать этой разношёрстной компании любовь к настоящему искусству, требовательность к себе и друг другу; надо

⁶ «Сверчок на печи» – спектакль по повести английского писателя Диккенса («The Cricket on the Hearth», Charles Dickens, 1812-1870), поставленный Студией МХТ в 1914.

⁷ «Праздник мира» – спектакль по пьесе немецкого драматурга Гауптмана («Das Friedensfest», Gerhard Hauptmann, 1862-1946), поставленный Е.Б.Вахтанговым в Первой Студии МХТ в 1913.

спланировать компанию в дружный коллектив и попутно, исподволь, урывками находить здесь актёрские дарования, – далеко ещё неизвестно, имеются ли таковые. Пока Вахтангову ясно одно: молодые люди собрались сюда с добрыми и чистыми намерениями, они одушевлены мечтой о своём, хотя бы очень маленьком, театре. Ну что ж, этого пожалуй хватит на год, а то и на два. Кое-что отсеется наверняка, потом явятся другие. Постепенно он сколотит небольшую, тщательно отобранную группу близких ему, очень преданных общему делу и по возможности способных людей. Так вырисовывается перед ним эта картина, отчасти бессознательно. Он ведь не отдаёт отчёта себе, зачем приходит «к студентам». Но ему здесь безусловно хорошо, интересно, он пробует свои силы, экспериментирует, занимается импровизацией. Это было типичным для атмосферы предреволюционного искусства, особенно в Москве – городе сугубо театральном и сугубо дилетантском. Кружками театральных любителей буквально кишат купеческие особняки и общежития студентов. Каждая гимназия, особенно частная, поставляет на Рождество нарядно обставленные спектакли, с самодельными декорациями и костюмами. Это молекулярное движение отнюдь не продуктивно, тут нет борьбы за существование, вопрос идёт не о куске хлеба, не об избрании жизненного пути. Нет в нём сходства и с нашей самодеятельностью. Это возрастная или социальная блажь, она ни полезна ни вредна. То же самое в молодой поэзии, т.е. как раз в тех искусствах, которые походя представляются не требующими специальной выучки и тренировки, в которых господствует расчёт на нутро, на случайный успех. А ведь вокруг и рядом война, назревают мировые события и катастрофы, через два года развалится империя. Знали мы об этом? Было ли какое-нибудь предчувствие, хотя бы по-блоковски⁸ о том, что впереди

⁸ *По-блоковски* – Блок, Александр Александрович (1880-1921) – поэт, творчество которого, по словам Антокольского, оказало на него сильнейшее влияние.

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...⁹

Нет, этого предчувствия не было. Может быть, мы, собравшиеся в Мансуровском переулке, – отщепенцы и выродки; может быть, матери и няньки пришибли нас в детстве, – но плотно завешены окна серой дерюгой, не донесётся к нам даже колокольный звон, мы намертво отрезаны от жизни и не ищем соприкосновения с нею.

Эту полную и непривлекательную правду необходимо высказать не только о себе, но и обо всём круге молодёжи, к которой я принадлежал. От отбывания воинской повинности нас ограждал Университет, от Университета ограждала лень, другие интересы. Не стоит даже задавать вопрос, хорошо это или дурно. Сейчас, через 40 лет, мне остаётся одно: вспоминать. Никакая оценка ничему не поможет, а если она невольно возникает, значит я ещё недостаточно погрузился в воспоминания.

Вызванный Вахтанговым на сцену, я прочёл «Для берегов отчизны дальней» и «Я вас любил, любовь ещё быть может» Пушкина, прочёл, как всегда читают на подобных испытаниях, противным, сдавленным голосом, еле дыша от напряжения и не зная, куда девать руки и глаза. Затем последовал так называемый этюд. В помощь мне была послана на сцену блондинка, стриженная под курсистку, смешливая, прищуренная, угловатая, и мы с нею разыграли знакомство на вечеринке. Я очень робел, конфузился. Она старалась разговорить меня, сунула мне какой-то цветок, я тщательно старался продеть его в петлицу, сломал и сконфузился ещё больше. В зале раздался смех. Вахтангов крикнул: «Спасибо, достаточно!», и мы ушли со сцены. Минут пять, чуть больше продолжалось это представление, но мне оно показалось вечностью, – не скажу, чтобы только тяжёлой, ибо общение с молодой девушкой даже на глазах у двадцати человек, специально следивших за нашим поведением и действиями, это общение всё-таки не показалось мне неприятным. И как ни странно, но Вахтангову я чем-то понравился. Гораздо позже я узнал, что

⁹ *Неслыханные перемены...* – из поэмы А.А.Блока «Возмездие».

кому-то из близидящих он шепнул: «Вот первый талантливый человек у вас...» Но тогда я об этом не мог догадываться. Почувствовал только некоторое доброжелательство, интерес к своей особе, и этого было достаточно, чтобы понять: я не сделал ошибки, здесь будет нужная мне среда. Так оно и вышло. Но вечер этот был чреват ещё одним важным событием.

3.

Забившись после сыгранного этюда куда-то в полутёмный угол, я заметил чёрные внимательные женские глаза, неподвижно на меня смотрящие. Заметил и смущённо отвернулся. Но глаза продолжали смотреть – печально и настороженно – большие, широко открытые, чёрные, без блеска. Это была смуглая девушка, скуластая, в простой причёске. Я тоже посмотрел на неё в упор. Она отвернулась, и я увидел горячий румянец щёк и крутые завитки чёрных волос над ухом. На запястьях у неё были грубые серебряные цыганские браслеты. Через день или через два я узнал, что её зовут Шура В. Я продолжал иступлённо робеть перед нею, но уже сердце заливала волна нежности. Это было хорошее, бестолковое, предрассветное для меня время. Мы незаметно сдружились. Она жила у самой Студии, в Мансуровском переулке. Вскоре мы пошли в Музей Изыщных Искусств на Волхонке. Там я мог быть неплохим гидом, показал ей рабов Микель Анджело, Кондотьера Коллеони¹⁰, всё, что давно уже любил. В стекле какой-то картины увидел отражение её и себя, стоявших под руку, - неожиданность способствовала тому, что я решил тут же признаться ей в любви, но, конечно, не сделал этого: на этот раз так заробел, что уже не чаял, когда мы наконец расстанемся и я останусь один с моей любовью. И я действительно остался один, заперся в комнате, сочинил два, три, четыре, если не больше стихотворения,

¹⁰ *Кондотьер Коллеони* (Bartolomeo Colleoni, 1400-1475) – один из выдающихся полководцев Италии. Его изображение работы флорентийца Андреа Верроккьо (Andrea del Verocchio, 1435-1488) считается одной из лучших конных статуй в мире. П.Г. Антокольский имеет в виду бронзовую копию этого всемирно известного шедевра.

посвящённых Шуре. Пошёл вечером к ней, мы разговаривали бог знает о чём, она гладила мои руки, а я сидел как деревянный идол, полный до краёв избытком восторга и боялся к ней прикоснуться. Наверно, она это чувствовала, жалела меня и тоже уже любила. Только на прощание я обнял её за плечи и долго, крепко целовал её лицо, губы, глаза. Она плакала.

Так началась эта любовь. Она продолжалась всю зиму, бессонная, беспокойная, не нашедшая завершения для себя. Между нами не было последней близости. Я был по-прежнему очень робок, а она... на это и сегодня не могу ответить. Она года на три была старше меня и наверно опытнее, трезвее. Она чего-то ждала и так и не дождалась.

Характер у неё был трудный, замкнутый. Так я и не узнал, откуда она, из какой семьи, из какой среды. Украинка, казачка, судя по фамилии, по внешности, по гортанному «г». И цыганское в ней, пожалуй, было.

Как давно это было. Повторяю: предрассветное моё время. Любовь оборвалась внезапно. Каюсь: это моя вина. В одно прекрасное, уже весеннее утро я проснулся с чувством полной свободы и без всякого разговора, без объяснения, просто перестал её искать и встречать. От Шуры приходили письма, она всё поняла и даже не упрекала меня. И в ребяческом эгоизме я принимал это как должное и даже не отвечал. Стихи извергались, как из помпы – жалкие, подражательные, с целыми строфами, списанными у Блока. В них появилась известная лихость. Мне всё легко давалось: рифма, сногшибательные словосочетания. Многим это нравилось. А мне тем более.

Через год я встретил Шуру где-то у общих знакомых. Она сильно располнела, юношеское ушло безвозвратно. Она взглядывала на меня чуть косящими, недобрými, тусклыми глазами, а я попросту ничего не замечал. Всё кончилось между нами безвозвратно.

Мало и скудно вспомнил я об этом периоде жизни, а был он необыкновенно важным. Если из меня выработался поэт, а не кто-нибудь другой, то это произошло именно в ту зиму. На протяжении зимы меня постигла актёрская неудача. Вахтангов дал мне для работы водевиль с той же

партнёршей, с которой я встретился на первом экзамене: гимназист и гимназистка встречаются «под душистою веткой сирени». Тот и другая пришли в сад для встречи с другим. Они стараются отвязаться от неожиданного и непрошеного соседства, пробуют разные средства, но кончают тем, что разговорились, знакомятся и через четверть часа влюбляются друг в друга. Вот и всё. Водевиль пустяшный, но для искренней игры в нём был материал. Когда мы показывали наработанное, Вахтангов убедился в моей органической неспособности по-настоящему жить на сцене. Я был чудовищно, ненормально зажат и не умел выдавить из себя ни одного чувства. Вахтангов правильно это оценил, поставив очень суровый диагноз. Можно сказать, что уже тогда он махнул рукой на меня как на актёра. И с этого часа начинается роман наших трудных, зачастую недобрых, противоречивых отношений. Он ждал от меня простого, открытого жеста, ясности, возмущения хотя бы. А я затаился, проглотил обиду, которую в глубине души считал незаслуженной, застыл в этом состоянии, но очень плохо владел собою в его присутствии. Он подавлял меня находчивостью, простотой, ровностью обращения. О, как страстно хотелось мне поразить его, удивить собою, обрадовать, но я каждый раз срывался и становился всё угрюмее в его присутствии, и связанней. И мне действительно пришлось искать выход в другом – рядом с ним, но возможно дальше, там, где он не мог быть судьёй. И это была поэзия. Честное слово, я ничего не преувеличиваю: всё произошло именно так. И произошло с тем большей естественностью, что в лице студийцев я нашёл первых ценителей моих стихов. Да и Вахтангов начал прислушиваться к ним. Его забавляла и настораживала моя угловатость, неожиданные скачки и переходы моей мысли. Одной только сцены не мог он мне доверить, и этот предел оказался окончательным, а много позднее я понял, что Вахтангов был мудр в своей оценке: актёра из меня выйти не могло. Вернее сказать, вышел бы актёр, попади я только на провинциальную сцену: там пригодился бы жар неестественно напевной декламации, там напряжение сошло бы за нервный темперамент; может статься я нашёл бы себя

в амплу неврастеника, вроде Орленева, сыграл бы Треплева, Карандышева, князя Мышкина, Павла Первого, потрясал бы зрителей судорожными переходами из одного состояния в другое и выработал свою собственную манеру. Может быть. Сейчас об этом и гадать незачем. В позднейшей моей режиссёрской работе, ничто не прошло даром, пригодилось мне каждодневное общение с Евгением Богратионовичем, действительно глубоко и сильно врезался в мою душу его замечательный дар, действительно был он образцовым старшим товарищем, примером, вызывающим желание подражать.

В моих стихах начали появляться театральные образы вроде Пьеро, Арлекина, Пиковой Дамы... Это тоже шло от Блока, но шло также и от студии, от непосредственного общения с этими новыми знакомцами, среди которых при желании можно было отыскать и Коломбину и Арлекина и самого Чёрта-Дьявола. Ещё не существовало эстрады типа Вертинского, но её возможность уже была в воздухе той эпохи. Мои ранние стихи представляли один из эмбрионов такой эстрады. Их ритм был романсового происхождения. Я выражался туманно, но уже гнул в одну определённую сторону. Оригинальности не было никакой. Был продукт времени и только. Представитель среды, собирательное среднее. Это выжалось и в том, что моя работа была лишена смелости. Как будто я хотел затеряться в хоре других голосов, только бы не выделиться резкой нотой, только бы не вырваться на вольный простор. Явление противоположное тому, как начинали в те же годы футуристы. Мне не приходило в голову, что искусство начинается с резкого отщепенства, с выпада из среды. Может ли искусство начинаться с противоположного? Вопрос стоит раздумия. Сейчас у меня нет ответа. Очевидно, всё дело в эпохе. Бывают времена преимущества и эпигонства. Я был таким, хотя родился и не вовремя. Поэтому меня сначала обгоняли сверстники, потом младшие, а потом, наконец, обгоняли ученики. Я всегда знал, что надо мной не каплет, что впереди вагон времени, что жизнь удивительно длинна, и по чести сказать,

это знание меня не обмануло. Но здесь я уже сильно забежал вперёд.

4.

Весна 1916 года растянулась, как многодневное и еженощное расставание студийцев до осени. Мы уже хорошо знали друг друга и любили друг другом восхищаться. Стремление Вахтангова создать хороший коллектив принесло плоды. Мы были сентиментальны и патетичны. В большом ходу было «любить Студию» – нечто беспредметное и наивное, никто не конкретизировал, не подвергал анализу понятие «Студии» и понятия «любви». Улицы Москвы были нарядны, полны беженцами из западных областей. На Тверском бульваре звучала лёгкая, быстрая польская речь. Оркестры играли гимны Антанты, среди них особой популярностью пользовалась бельгийская Брабансона¹¹. Однажды в цирке на Цветном бульваре я увидел труппу бельгийцев гимнастов, среди них совершенно юное существо в венке белокурых кудрей, худощавая девочка лет 15-16. В финале их боевого номера она запела какую-то томную песенку и с большим задором кинулась вниз с трапеции, рассыпая по арене ленты цветов бельгийского флага – чёрную, жёлтую, красную. Горячая смуглота этого сочетания цветов способствовала моей внезапной любви к гимнастке. Больше никогда я её не видел, но фантастическое впечатление осталось на несколько лет. Я запомнил мелодию песни и подбираю на неё слова:

Можно ли выше канатные кольца закинуть,¹²
Можно ли купол своею рукою раздвинуть...

Много раз я искал в вечерней московской толпе подобие этой бельгийской девочки, и конечно обманывался. Она исчезла. Странно признаться, но эта вторая любовь гораздо сильнее задела меня, нежели встреча с Шурой.

¹¹ *Брабансона* (Brabançonne) – национальный гимн Бельгии.

¹² *Можно ли выше...* – начало стихотворной строки из пьесы П.Г. Антокольского «Обручение во сне».

Ещё не всё, далеко не всё рассказано о зиме. Только что став завзятым студийцем, я поспешил ввести в тот же круг своего гимназического товарища Юрия Серова,¹³ сына художника. Это был непревзойдённый комик, оригинальный, острый на язык. Молчаливый, он раскрывал рот только для того, чтобы сострить. Остроты его неповторимы, в других устах они прозвучали бы тупо и не смешно. Но юмор Серова был настолько очевиден, что несмотря на его глуховатый серьёз, несмотря на видимую сосредоточенность в себе, его принимали с первого раза самые разные собеседники. И недоброе было в нём, как в каждом остроумном человеке: он всюду подмечал смешное. Но это был верный, хороший товарищ. Бывают клоуны, которые сначала производят впечатление унылых, чёрных меланхоликов, даже одеты соответственно, чуть ли не в чёрное. Есть такие шуты в шекспировском театре. Сначала они пугают «висельным юмором» и только спустя какой-то срок завоёвывают симпатию зрителей. Таким был и Серов. Среди студийцев он сразу обжился, а Вахтангову совсем пришёлся по душе. Невозможно переоценить, как много принёс он в Студию. Главным из принесённого им был стойкий, сознательный профессионализм, постоянное стремление к сцене, к спектаклю, к роли. В нём не было беспредметной «студийности» и эта поправка очень пригодилась в нашей нерасторопной, разбросанной среде. В нём жил здоровый скепсис по отношению ко всем крайностям, к нашей восторженности. С самого начала в нём появилось хозяйское, хозяйственное отношение к Студии: надо сделать ремонт, там-то надо пробить стену, использовать кухню под уборную и т.д. Другие прикидывались хозяевами и вместо хозяйничанья разбазаривали общее достояние. А Серов сосредоточенно и скромно собирал и подкапливал. Вахтангов и это ценил в

¹³ *Серов, Юра* или Георгий Валентинович (1894-1929) – актёр, сын художника В.А.Серова и внук композитора А.Н.Серова. Был товарищем П.Г.Антокольского по гимназии, а затем по театральной студии руководимой Е.Б.Вахтанговым (1916-1919). В 1919-1922 работал актёром в Первой Студии МХТ. Эмигрировал во Францию в 1922.

нём. Кроме того он был богат, жена принесла ему приданое. И здесь он нашёл достойное применение для своих лишних сотен рублей. В Студии появилась новая электрическая арматура, ещё что-то. Небольшого роста, коренастый и крепкий, с упрямым лбом молодого бычка, близорукий, он резко выделялся в любой компании. Несмотря на очень щегольские пиджаки, брюки, галстуки, несмотря на заботу о внешности, что-то было в нём плебейское, простое, чуть не сказал – чернорабочее, – нет, это конечно неверно, скорее уж полуинтеллигентный монтажёр. И в то же время он явно пошёл в семью, в отца и в деда – композитора, человек точного искусства, понимающий толк в мастерстве, в филигранной отделке, в яркой детали, человек, принципиально и неусыпно наблюдательный. Слабости изворотливой человеческой души, ограниченность кругозора, глупость, пошлость – всё это находило в нём пересмешника. Никогда не забуду, как ещё в гимназии сыграл он частного пристава Уховёртова в «Ревизоре». Это была длинная немая сцена: Уховёртов слушает Городничего. Серов извивался всем телом, как некрасивый толстый червяк и при этом непрерывно прикован глазами к начальству. Так неправдоподобно ярко может сыграть только марионетка, так искажает человеческий облик только карикатура. Помню его в каком-то бесхитростном французском водевиле. У него было главное для водевиля: наивность. Нерасторопный, угловатый, в то же время, когда это надо было по ходу действия, он мгновенно перестраивался; настоящая, неподдельная краска заливала ему лицо в перемежающихся объяснениях с двумя партнёрами: в обеих он должен был мгновенно влюбиться и делал это с лёгкостью завязанного парижского хлыща. Редкое по качеству, весёлое и меланхолическое, точное дарование! Шли годы, и что-то не вытанцовывалось в Серове. Он уже был актёром Второго МХАТа. Его любили товарищи. То ли голоса ему не хватало для большого зрительного зала, то ли растерялся он перед новой, послеоктябрьской публикой, но что-то в нём захирело и сникло.

И ещё прошли годы. Он стал белым эмигрантом. К нам доходили слухи, что он бесславно прозябает на какой-то заштатной парижской сцене – один из многих изгнанников, добровольно лишивших себя родины и родного языка. Наконец, в середине двадцатых годов пришло известие, что Серов внезапно скончался от разрыва сердца – на репетиции, среди чужих людей. Время было другое, у нас уже не было Студии, мы разошлись по разным дорогам. Несколько друзей встретились в полутёмной арбатской церковке на панихиде по Георгию Валентиновичу. Панихида была заказана братом и сестрой покойника. Горько было вспоминать юность и ещё горше – думать о том, как рано и грустно оборвалась эта молодая жизнь на чужбине.

Я привёл в 1915 году в Студию Серова, а Серов привёл Лилю Шик. Потом я расскажу о ней много. Сейчас – бегло. Учёная, превосходно вышколенная, изрядно начитанная еврейская девушка, тогда ещё совсем молодая, она всегда и всюду, в любом обществе производила впечатление старшей. Всё её существо дышало корректностью, добродушием, полным забвением себя. Она была некрасива, – не уродлива, а только некрасива, неженственна: прямая, высокого роста, горбоносая, румяная, с прелестными синими глазами, она никому из знакомых не нравилась как женщина. Никому не приходило в голову ухаживать за нею. Наверно, бедняжка очень страдала от этого, но хотя бы тень тоски в её глазах, хотя бы краткий упрёк, адресованный если не окружающим, то господу богу. Ничего подобного. Всегда подтянутая, она дышала бодростью, безоблачным отношением к жизни, доблестно несла свою миссию: дружить, мирить, объяснять, связывать людей между собою. Она была превосходным мастером дружбы, и здесь её главной чертой было бескорыстие. Лилия ещё не однажды пройдёт по моей повести – доброе, умное, милосердное существо. Как актриса она могла играть только острохарактерные роли: каких-нибудь гувернанток с иностранным выговором, гротескных старух... Это ей всегда удавалось – помогал и вкус и чувство меры и наблюдательность.

Но когда же, когда произошло главное событие того времени – до весны 1916 года? Или уже осенью? Даты восстановить не могу, но место действия помню отчётливо. Это был уже описанный вестибюль старого университетского здания на Моховой. На высоком холодном подоконнике, болтая ногами, сидели двое. Один из них – высокий юноша с женственно нежным лицом, второй нижеподписавшийся. Первого звали Юрием Александровичем Завадским. До сей поры я был знаком с ним бегло, чуть ли не шапочно. Как уже сказано, мы встретились в каком-то поэтическом кружке. Ю.А. читал нечто вроде триолета. Он стеснялся и, видимо, не придавал никакого значения написанному. Видимо, его затащили друзья, а он по доброте душевной или просто потому, что некуда было спешить, согласился.

И вот, встретившись ещё раз, уже совсем в другой обстановке, я узнал, что Ю.А. тоже студент юридического факультета, что у него тоже нет влечения к юриспруденции, что он берёт уроки живописи у Кельина, увлекается театром, забросил стихи... Наш разговор затянулся. Я рассказал ему о Мансуровской студии. Оказалось, что Ю.А. знает Вахтангова, встречал его у своей матери, любительницы-актрисы. Мир оказался тесен, а поле наших общих интересов широко. Ю.А. обещал подумать о Мансуровской студии, и мы расстались – во всяком случае дружелюбно, пообещав встречаться ещё и ещё. Обещание мы сдержали с избытком. Через несколько дней Ю.А. был уже принят в Студию. Это был случай, но он определил слишком многое в дальнейшем, чтобы назвать его только случаем. Я убеждён, что в юности встречаются именно те, кому надлежит встретиться, что напряжённый поиск друзей или тех, кто должен стать другом, всегда увенчивается успехом, что верный инстинкт отбора всегда руководит нами.

С Ю.А. мы стали друзьями, очень близкими и преданными друг другу. У нас был одинаковый вкус, одинаковые симпатии и в театре и в поэзии и в живописи. Много раз в жизни я пересматривал своё отношение к Ю.А. – оно было разным. Я не буду выводить арифметическое среднее из этих разных оценок – так правда не получится.

Надо просто и точно определить, кем и чем он был. Если в моём личном, пишушемся здесь, романе он прошёл об руку со мною, как Стирфорс¹⁴ с Давидом Копперфильдом, – это ещё ничего не означает, ничего не определяет в нём. Надо посмотреть не с точки зрения Копперфильда, а со стороны.

Так же, как и я, он был продуктом времени и среды. Старший сын в несчастливой купеческой семье, рано он оказался предоставленным самому себе и жил вдвоём с обожавшей его старухой-нянькой. У матери Ю. А. был другой муж; отец его страшно угасал в психиатрической лечебнице, тяжело больная сестра могла жить только на юге; младший брат служил в армии. Необычная редкая красота этого юноши не могла не привлекать женские сердца. Что привлекать! Я помню, как на улице девушки останавливались ошеломлённые, они совершенно теряли самообладание и долго-долго смотрели ему вслед затуманенными, робкими, печальными глазами, как будто мимо них пролетел ангел... Больше никогда не наблюдал я такого неотразимого действия. Он был высок, строен. Тёмно-русые, пепельного оттенка волосы были разделены прямым пробором и придавали облику нечто из других времён, другой страны – не то итальянское Возрождение, не то Германия времён Шиллера¹⁵. Ребячески припухлые губы, короткий, немного вздёрнутый нос с нервными ноздрями, розовато нежный румянец – и улыбка, лёгкая, едва уловимая, и лукавство в ней, насмешка над собой и другими, и приветливость, и лень балованного барчука. Но что значит продукт времени? Это означает многое. Отщепенец класса, не могущий и не желающий приумножить родовое благополучие в любом, самом широком значении; изящный дилетант, со школьной скамьи ринувшийся к искусству; незадачливый студент, глухой и слепой ко всякой общественности, неделями и месяцами принципиальный бездельник, рисующий каких-то ломаных уродцев в своём альбоме, – да, всё это сказано точно и без прикрас, всё это

¹⁴ *Стирфорс* (James Steerforth) – закадычный друг главного героя романа Ч. Диккенса «Давид Копперфильд».

¹⁵ *Шиллер, Фридрих* (Friedrich Schiller, 1759-1805) – немецкий романтик: поэт, философ, историк и драматург.

служит к раскрытию его социального облика. Важно, что в нём, в молодом Завадском, эти черты нашли типически завершённое выражение. Я обмолвился: «балованный барчук». Это неверно. Редко можно было найти человека, в такой степени равнодушного к сытости, к внешнему благополучию, к устройству личной жизни. Ему было безразлично, где спать, как и что есть. Он был беспечен, как богема, и непривередлив, как отшельник. Он мог часами насвистывать шансонетку, часами валяться на диване, ни о чём не думая. И странный парадокс! – он всегда был тщеславен. Ему необходима была атмосфера общей влюблённости в него. Конечно, его избаловали женщины, но семена баловства упали на благодарную почву. Эта тёмная сторона много испортила ему в юности, но она была единственной по-настоящему тёмной.

Ю.А. пришёл в студию с желанием стать актёром, с желанием легко удовлетворимым. Всё сулило ему только успех. Но оказалось, что желания его шире. Оказалось не сразу, а на протяжении длинного времени. Повесть об этой перемене существенно связана со мной, с моей работой. Прежде, нежели перейти к этому, надо ещё досказать о внешней жизни Студии.

Осенью шестнадцатого года в Студию влилась группа учеников театральной школы Халютиной¹⁶. Это были уже совсем другие лица, непохожие на наше основное ядро. Они были профессионально крепки, мало одарены, ходили с крохотными чемоданчиками, по которым и теперь можно узнать учеников театрального вуза. Они щебетали где-то по углам, а мы приглядывались, посмеивались, чувствуя, что нам с ними не по дороге. Действительно, большинство из халютинцев быстро разлетелись кто куда. Прижились в Мансуровском очень немногие, среди них моя будущая первая жена Наташа Щеглова.

Но приход халютинцев по-своему отразился на нашем быте. У нас появились вспомогательные

¹⁶ Халютинна, Софья Васильевна (1875-1960) – актриса и педагог. В 1909-1914 руководила драматическими курсами известными как Школа Халютиной.

дисциплины: ритмика, пение. Всё сильнее и острее ощущалась потребность в открытых выступлениях с публикой. Причём это, как нам мерещилось, должны быть не рассказы Чехова, не одноактные водевили, а настоящий спектакль, большая пьеса. Надо её найти, надо найти материал, который помог бы нам выразить свою сущность, своё собственное брезжившее нам направление. Однажды я принёс Е. Б. «Чудо Святого Антония» Метерлинка¹⁷. Он заново перечёл известную ему пьесу и очень быстро решил, что искомый материал найден, что мы должны ставить у себя именно эту сатирическую и глубокомысленную комедию, так разительно непохожую на остальной театр Метерлинка. Е.Б. быстро распределил роли и начал репетиции.

В Студии стало шумнее. Появились спорщики и оппоненты Вахтангова. Белокурый юноша очень строгих жизненных правил, студент Коммерческого института, Б. Захава заявил однажды о том, что нельзя, преступно быть в стороне от жизни, когда идёт война. Гром разразился вечером на уроке Вахтангова. Тогда Захава был просто верным учеником, примерным студийцем. Всё остальное выросло в нём гораздо позже. И от этого примерного юноши никак не ожидали открытого бунта. Вахтангов несколько растерялся. Он мог ожидать совсем другого и совсем с другой стороны. По сути дела, он был глубоко согласен с Захавой. Общественная совесть, глебоуспенское, гаршинское¹⁸ рыдание об униженных и оскорблённых были очень присущи его нравственному облику. И всё же он выступил против Захавы. Не только честь театрального

¹⁷ *Метерлинк* (Maurice Maeterlinck, 1862-1949) – франко-язычный бельгийский писатель. В 1919 написал сатирическую пьесу в двух актах «Чудо Святого Антония».

¹⁸ *...глебоуспенское, гаршинское рыдание об униженных и оскорблённых* – так П.Г.Антокольский обозначает гуманистическую позицию русских писателей XIX века. *Успенский, Глеб Иванович* (1843-1902) – прозаик, близкий к деятелям народнического движения. *Гаршин, Всеволод Михайлович* (1855-1888) – прозаик, критик с обострённым чувством сострадания.

мундира он защищал, но и направление в своём искусстве, его нравственную цель – облагораживать людей, звать их к добру. Он утверждал, что это и является общественной деятельностью, свойственной всякому художнику. Дескать, здесь он принесёт несравненно больше пользы, нежели в любом Красном Кресте, в условиях любого фронта. Вахтангов говорил мягко, деликатно по отношению к Захаве, но очень убеждённо. Эта маленькая дискуссия вскрыла многое из того, что впоследствии назрело внутри коллектива и в конце концов взорвало его.

Студийцы первого призыва, те, с которыми встретился я осенью 1915 года, в большинстве своём были крайними идеалистами. Не только не занимала каждого из них мысль о личном будущем устройстве – несмотря на всяческое неустройство сегодняшнее – но вообще им была чужда практика, практическая деятельность. Они витали в эмпиреях. Где-то на стороне они учились, служили, добывали кусок хлеба, и этот кусок был чёрств и горек, а в Студию приходили для души, для спасения души. Положение не очень нормальное.

Вахтангов знал об этом, но медлил. Почему? Он не до конца верил в личный состав Студии, т. е. в состав потенциальной труппы. Правда, с приходом таких людей, как Завадский или Серов, повысился и общий уровень одарённости. Соревнование всегда полезно. Но всё же мы были – в лучшем случае ребятами и дилетантами. Не было хватки, не было навыка. Всё расхлябано, как бог на душу положит, сегодня хорошо, завтра из рук вон. Мы очень много теряли времени зря. Не было благородной привычки к труду, не было дисциплины. И это относится к самым лучшим, к самым ценным в Студии, может быть прежде всего к ним. Таким образом корни будущего были уже налицо. Когда пришло будущее, оно показалось нам неожиданным. Оно испортило несколько юношеских биографий, может быть ускорило раннюю гибель Вахтангова, и во всяком случае всем обошлось недёшево.

5.

Несколько раз я уже упоминал имя Александра Блока. Весною двадцатого года я впервые увидел его и

услышал его чтение на каком-то литературном вечере в Тенишевском училище¹⁹ в Петрограде. Выступали все литературные корифеи. Помню растрёпанного, в чёрном сюртуке и белом жилете, закапанным вином, Сергея Городецкого, шепелявящего: «Славию я, славию я племя славян...». Помню Мандельштама, стоявшего боком к слушателям, напряжённого, надменного, читавшего так, как будто ему нет никакого дела до нас, а стихи – «Впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта»²⁰ – были поистине прекрасными. Помню Кузьмина²¹, Ауслендера²², Потёмкина²³. Словом, это был парад знаменитостей в пользу раненых воинов. Аудитория реагировала посредственно, ни у кого из выступавших не было значительного успеха. Блок вышел незаметно, затянутый в чёрный сюртук, тихий, твёрдый. Его встретила овация, - первая за весь вечер. Он читал:

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух.
Да, таким я и буду с тобой.²⁴

Читал «Перед судом», «Везут, покряхтывая, дроги мой полинялый балаган», «Утреет, с богом, по домам»... Из зала кричали: «Незнакомку!» – но Незнакомки не было.

¹⁹ *Тенишевское коммерческое училище* – частное учебное заведение для мальчиков в Петербурге, отличавшееся исключительно высоким качеством образования; было основано в 1898 году инженером и князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым (1843 – 1903). Зал училища сдавали в аренду Литературному фонду и Юридическому обществу для проведения собраний.

²⁰ *...впервые за сто лет...* – заключительные строки стихотворения О.Э.Мандельштама «Европа», датированного 1914.

²¹ *Кузьмин, Михаил Алексеевич* (1872-1936) – поэт, прозаик, переводчик; вождь направления «кларизма» в русской поэзии, т.е. отказа от символичности и обращения к земной действительности, к «прекрасной ясности» (claris – ясный, лат.).

²² *Ауслендер, Сергей Абрамович* (ок. 1886-1943) – писатель и критик.

²³ *Потёмкин, Пётр Петрович* (1886-1926) – поэт и сатирик.

²⁴ *Ты твердишь, что я холоден...* – начало стихотворения Блока без заглавия, датированного 9 июня 1916.

Как описать это чтение? Оно было нарочито мертвенным, сухим, невыразительным. Даже ритма он не подчёркивал, скорее наоборот, убивал ритм вялым прозаизмом интонаций. Он просто докладывал слова – и делал это, чуть запинаясь. Казалось, что и стихи – чужие для него, не им писаны. А между тем аудитория слушала, затаив дыхание, очарованная, загипнотизированная, – она не проронила ни одной буквы. Так велико было обаяние этого высокого, прямого человека с бледным лицом и копной золотистых волос. Таким образом, Блок как бы отталкивал от себя свою силу, считал её чем-то ненужным и неценным, давно пережитом и случайным, а она снова и снова давала о себе знать. Когда он кончил стихи, аплодисменты выросли вокруг плотной стеной. Он принимал их только равнодушно. В чём же был секрет его обаяния? В том, что он единственный из всех искренне рассказывал свою собственную жизнь – нелёгкую и одинокую. Всё, что он писал, было правдой. И слушатели это знали. Знали, что речь о серьёзном, о гибели, о душе. Нет, это не «литератор модный», не «слов кощунственных творец». Он, может быть, и не добр и презирает большинство из сидящих в зале и читать ему, наверное, скучно... и пускай!

И вот он кончил совсем, ушёл с эстрады, был объявлен следующий поэт, но я понял, что после Блока мне слушать некого и сошёл вниз за пальто. Когда вышел и пошёл по набережной Фонтанки, сразу увидел, что впереди идёт Блок в чёрной фетровой шляпе, лёгкий, изящный, беспечный, стучит палкой по тротуару. В зубах у него дымилась папироса. Он кинул её за парапет в воду, закурил другую. Я шёл следом за ним. Он рассеянно обернулся, оглядел меня, ускорил шаг. «Подойти или не подойти, окликнуть или не надо» – пока я мучился этой дилеммой, он скрылся.

Мне и по сей день кажется, что я сделал ошибку, не познакомившись с Блоком, а тогда она и подавно мучила меня. Вот, казалось, возможность даётся раз в жизни. Почему я упустил её, почему не окликнул этого нужнейшего мне человека, самого облюбленного, зачитанного до дыр поэта, которому я стольким обязан! Я был одним из многих

и в этой неудачной встрече с Блоком и в своём отношении к нему.

Как уже сказано, я всё больше и страстно привязывался к поэзии. Но рядом был театр – правда, будущий, долженствующий ещё родиться, но зато свой. Мечта о своём театре захватывала меня, как и других мансуровцев. Это был предмет мечтаний. У нас перед глазами была Студия МХТ, пример прекрасный, достойный подражания. Мы были влюблены в «Сверчка», в «Гибель Надежды»²⁵, а когда Вахтангов осуществил свою постановку «Потопа»²⁶ – восторгам не было конца. Но мы хотели другого театра – романтического, сказочного, с фантастикой. В первую очередь хотели этого Завадский и я. Это было неосознано, недоговаривалось исподволь, урывками. Была только возможность, но она назревала.

Как и когда задумал я писать первую свою пьесу? В какую зимнюю ночь пришло мне в голову, что главным действующим лицом будет в ней Инфанта, такая же, как на портретах Веласкеса²⁷, что эта Инфанта разобьёт свою любимую куклу, что куклу починит пленный Мавр; как сложился в моей голове узел этой бесхитростной сказки, что имело надо мной влияние – всего этого я восстановить не в силах. Но почему вслед за тем задумал я «Эквилибристку Стеллу Маренго», переименовал потом название на «Кота в Сапогах» и остановился, наконец, на «Обручении во Сне» – это представляется гораздо более ясным. На замысле этой романтической пьески сходятся многие нити предыдущего развития. Конечно, цирковая эквилибристка – отголосок недавнего увлечения бельгийкой, о которой здесь уже

²⁵ «Гибель надежды» – под таким названием Первая Студия МХТ в 1913 поставила пьесу «О Ноор ван “Zegen”» голландского писателя Германа Гейерманса (Herman Heijermans, 1864-1924).

²⁶ Пьеса «Потоп» – (Syndafloden, т.е. Библейский потоп) шведского писателя Бергера (Henning Berger, 1872 - 1924) была поставлена Е.Б.Вахтанговым в Первой Студии МХТ в 1919.

²⁷ Веласкес (Velázquez, 1599-1660) – испанский художник эпохи Возрождения. В числе его портретов – «Инфанта Мария Тереза» (1651) и «Инфанта Маргарита Австрийская» (1660).

рассказано. Конечно же, неудачник Пьеро, хотя я и свёл его по мере сил на землю, сделав младшим сыном мельника, всё же перенесён живьём из блоковского «Балаганчика». Конечно, Кот в Сапогах – это роль, специально придуманная для любимого друга Серова, для его трезвого юмора, противоположного мечтательности и лени Пьеро. Но находкой моей, любимой фигурой был Доктор Брам, странный незнакомец в картонном цилиндре. Сказать прямо, что это – воплощение судьбы, я не решался тогда, как всякий заядлый романтик. Я считал, что мой символический образ – сложнее, таинственнее, чем вообще больше тумана и недоговорённых намёков, тем лучше. Я считал, что это вообще великолепная, гениальная фигура, которой на сцене всё позволено. Что же происходило в пьесе? Младший сын мельника Пьеро получил в наследство от своего покойного отца одного только кота. Пьеса начиналась там, где кончается сказка, даже несколько позже: Пьеро и Кот возвращаются домой после приключений с Людоедом и с Маркизом Карабасом. Да, всё это было и всё это оказалось обманом. Нет ни богатства, ни королевской дочери. Ничего. Пьеро беден, непредприимчив, ленив, мечтателен. Зато его верного слугу, Кота в Сапогах обуревают жажда бурной деятельности и приключений. Подробностей их диалога не помню, но в нём обрисованы противоположные характеры, раздражение Кота на своего хозяина. Появление незнакомца, таинственного Брама, в тот момент никак не было мотивировано; просто входил ещё один персонаж пьесы. Пьеро и Кот видели его приближение в окно, и Кот заявлял: «Это идёт твоя судьба». Но по каким-то случайным намёкам Брама зритель действительно должен был догадаться, что речь идёт не о шуточном, о жизненно важном для всех. Брам предлагал Пьеро фантастическое путешествие в город. Пьеро соглашался, но в последнюю минуту, одержимый беспричинным страхом, отказывался, и тогда из-под стола вылезал Кот и предлагал себя в спутники Брамму. Пьеро спускался в оркестр перед сценой, чтобы в дальнейшем развитии спектакля участвовать игрой на флейте, а Брам и Кот отправлялись в город. Так кончалась первая картина. Следующая – убогая комната циркачки. Сквозь стену, в её

полуночный бред входят странные посетители. Всё дальнейшее, написанное в стихах, в разных размерах, белых и рифмованных, приводило к тому, что Брам венчает Кота и Циркачку. Можно было понять, что приход гостей, венчание и всё прочее только снится героине. Выспренных, туманных и красивых слов перед тем произнесено было достаточно. Между прочим, Брам обращался к хозяйке с таким монологом:

О, не смейтесь, что криво завязан
Мой галстук тысячетлетний
И что я небритой щетиною губ
Касаюсь шёлковой вашей руки.
Я ещё не сказал вам правды
О моей сумасшедшей особе.
Я бы мог вас любить и любить
И ещё и ещё раз любить,
Если бы не был
Мокрым асфальтом ночных тротуаров
По которому вы уходите в туман,
Если бы – о поймите просто –
Если бы существовал наяву²⁸.

Венчание кончалось плачевно. Циркачка в самую последнюю минуту убеждалась, что рядом с ней не человек, а «сладкая киска». Брам и Кот оставались с глазу на глаз, оказывалось, что Брам мертвецки пьян, что он не отвечает за свои действия, и когда Кот бросался на него в бешенстве, Брам спокойно и нахально «уходил в потолок». Тогда циркачка окончательно просыпалась, а её соседка сообщала ей, что на чёрной лестнице мяучит голодный кот. «Гоните его к чёрту» – и моя героиня снова зарывалась в подушки. На этом представление заканчивалось.

Был ли в нём большой смысл, я сильно сомневаюсь, но что-то действительно пережитое – было. Я правильно расцениваю её как реминисценцию блоковского театра, опоздавшую почти на целое десятилетие, - но она всё же

²⁸ *О, не смейтесь...* – начало монолога Брама в пьесе «Обручение во сне», отсутствующего в сохранившемся варианте пьесы.

была искренним, хотя и неумелым, воплем души и, несмотря на десятилетнее своё опоздание, продуктом времени она тоже была. Кроме того, должен сознаться, что своё поэтическое летосчисление я начинаю именно отсюда. Всё, сделанное мною в юности, пошло из этого опыта. Недаром лирический цикл середины двадцатых годов, посвящённый любимой женщине уже печатавшимся поэтом, автором двух книг, тоже назывался «Обручением во сне». Недаром в поэме о Робеспьере²⁹ является актриса из балагана, Стелла.

Продуктом времени была эта пьеса потому, что оторванная от какой бы то ни было почвы, условная, как разве что может быть условным балет, она выражала только тоску, но эта тоска была свойственна очень многим. Сейчас, более чем через 30 лет, я хочу разобраться и в ней и в себе по возможности сухо и прихожу к выводу, что отречься от своего начала не должен.

Мои новые пьесы произвели сильное впечатление среди части студийцев. «У нас есть собственный драматург». Это открытие многих обрадовало. Но главным пропагандистом «Инфанты» и «Обручения» сделался мой друг Завадский. В нём проснулся будущий, потенциальный режиссёр. Здесь он нашёл материал, свойственный себе, и это не удивительно. Ведь я тоже был под влиянием его фантастических живописных композиций. Картонный цилиндр Брама сошёл с его рисунков; урбанистическая невнятица, смешение яви и сна – всё это можно было прочесть в его графике.

Мы сошлись ещё раз с Ю.А. и на этот раз как будто окончательно. Он решил ставить мои пьесы, пускай подпольно, не разглашая своего решения, не требуя обязательного благословения Студии и её руководства – но всё-таки ставить, немедленно распределить роли, репетировать, – а там будь что будет. Когда что-нибудь наработаем, тогда и покажем Вахтангову. Если блеснёт хоть искорка настоящего, он примет. А если не блеснёт, если он

²⁹ *Робеспьер, Максимилиан* (Maximilien Robespierre, 1758-1794) – один из наиболее известных деятелей Французской революции, герой поэмы Антокольского «Робеспьер и Горгона».

не примет, всё равно будем продолжать. Пошли репетиции. Они были бестолковы, дело двигалось плохо. Мы не всегда понимали друг друга. Я много раз переделывал написанное, иногда вносил живое, но чаще портил. Юра был не уверен в себе, требовал от исполнителей невозможного, загонял их в бессодержательную форму. Мы ссорились, расходились огорчённые, и снова ввязывались в дело, и снова безнадежно опускали руки. Особенно не повезло с «Куклой Инфанта», хотя эту пьесу репетировали значительно усерднее, нежели вторую. Я тоже был занят в ней, должен был играть пустую и зловещую роль Карлика Инфанта. Мы репетировали в неурочные часы каждый день; мною же сочинённые слова завязли у меня в ушах, у других исполнителей наверно то же самое... Мы уже сменили исполнительницу главной роли, специально пригласив юную и подходящую на наш взгляд артистку II студии МХТ репетировать Инфанту, - но и это ничему не помогло. Тут появились новые лица: музыкант Ю.Никольский³⁰ и его сводный брат Евг. Вигилев. Никольский стал нашим композитором. Вигилеву была поручена роль Доктора Брама. Нашего полку прибыло. Вигилев очень увлёкся и увлекал других. Это был горячий, неуравновешенный, бесшабашный, но стихийно талантливый человек. Работа над «Обручением во сне» шла беспорядочно, но всё-таки шла. Ещё один чудесный товарищ появился у нас – совсем юная Ася Орочко. Мы увлекли её на роль Циркачки. Она была совсем неопытна, но Вахтангов сразу оценил её оригинальное дарование, её глубокий низкий голос.

Но как же он сам относился к нашей работе? На это ответить не так просто. Сначала он приглядывался к нам, посмеивался. Потом его, видимо, начало раздражать, что где-то под самым носом у него, в самом сердце Студии возникло это странное увлечение, ему мало понятное, но видимо серьёзное. Потом он понял, что серьёзность сама говорит за себя, и он ещё раз пригляделся к нам, теперь уже гораздо основательнее и глубже. Он даже помог нам на

³⁰ *Никольский, Юрий Сергеевич* (1895-1962) – в юности музыкант и актер в студии Е.Б.Вахтангова и театре В.Э.Мейерхольда, впоследствии работал как композитор в кино и на радио.

одной из репетиций «Инфанты», и эта помощь могла бы послужить основанием для всей дальнейшей работы. Кое-какие обстоятельства продолжали всё-таки его раздражать до самого конца. Он не мог примириться, например, с дерзким тоном Вигилева, который был настоящим enfant terrible в студии. Но больше всего претила Вахтангову наша самостийность, наше желание сделать всё своими руками. Позднее, гораздо позднее всё это стало непоправимым разрывом.

Я очень намного забегу вперёд, если расскажу, что в 1918 году спектакль «Обручения во сне» был поставлен. Вигилев действительно уходил в потолок. Серов уморительно смешил публику. Орочко была хороша собою и волновала зрителей своей юностью. Завадский и я были вообще на седьмом небе, Вахтангов прислал мне ласковое письмо и поздравлял с победой, но наш спектакль был уже никому не нужен. Зрители, самые отборные и казалось бы близкие нам по духу, расходились в недоумении и говорили сквозь зубы сдержанные комплименты. Был восемнадцатый год. Мы опоздали кончить эпоху.

6.

Рассказав о невзрачном спектакле «Обручения», я сильно забежал вперёд. Сейчас должен вернуться к связанному изложению событий. Работа над моими пьесами, сама по себе, была показателем разброда и шатания в стенах студии. Отношения мансуровцев с Вахтанговым осложнялись, затуманивались. Он был, как говорится, нарасхват, преподавал сразу во многих местах. Мы ревновали его самого, его время, боялись за его здоровье, которое уже тогда, в шестнадцатом и семнадцатом году, ухудшалось. У него была, по тогдашнему определению врачей, язва желудка. На столе перед ним всегда был стакан с содой. Он уже перенёс одну тяжёлую операцию, не за горами была вторая. Бывало, что во время репетиции он внезапно прерывал её, ложился ничком, животом вниз на деревянную скамью. Проходило добрых четверть часа, он снова вскакивал, по видимости бодрый и посвежевший, но это был не тот Вахтангов, совсем не тот. При этом он никогда не жалел себя, сжигал ночи в азартной карточной игре и

невыразимое число часов отдавал урокам, репетициям. Материально ему жилось очень нелегко. Уже репетировалось «Чудо Святого Антония». Уже Завадский в дерюжном рваном подрянике без конца повторял с Алеевой – Вирджини первую сцену первого акта. Алеева была умилительно наивна; она каждый раз импровизировала заново, но ничего не умела фиксировать. Завадский был настоящим святым, как их пишут спокон веков художники: высокий, тощий, с кротчайшими, как у овцы, глазами, он теребил длинными пальцами верёвку, которой был подпоясан, чуть вяло произносил текст, но видно было, что этого болезненного с виду человека, действительно, не так то просто сдвинуть с места.

Вахтангов был доволен обоими. Двинулись дальше. На сцену вышли Серов и Тураев – наследники. В спектакле мало помалу возникала жизнь буржуазного дома, фарисейство которого Вахтангов очень тонко чувствовал и умел заразить нас. На сцену уже высыпали всколышенные гости поминок, среди них Доктор – Захава и Кюре – я. Тут началась моя пытка. Роль Кюре короче воробьиного носа, всего несколько реплик. Вахтангов много раз, по-разному подходил ко мне. Он пытался даже хвалить меня, когда хвалить явно было не за что. Много раз переделывал он намётку образа Кюре, пытаясь приспособить его ко мне, к моим данным. А какие мои данные? Низкорослый юноша, по виду ещё моложе своих двадцати лет, ребячески неуравновешенный, большей частью робкий до идиотизма, со связанным неуверенным жестом, с прыгающей походкой, - конечно, я был сущим наказанием в глазах режиссёра. После получаса возни со мною Вахтангов безнадежно разводил руками и мрачно садился на место. «Идём дальше!» – раздавался его усталый голос, а я радовался хоть тому, что на этот раз миновало. Но на следующий вечер всё начиналось сначала. Снова Вахтангов тормозил меня, снова я задыхался от обиды... неизвестно на что и на кого. Однажды, когда Вахтангов подошёл ко мне, видимо всерьёз разгорячённый, я пролепетал ему на ухо белыми губами: «Только не бейте!» Он посмотрел на меня, озадаченный – и отошёл. С этого раза он совершенно махнул на меня рукой.

Снимать меня с роли он не хотел, чувствуя, что это будет непоправимым ударом для меня. А может быть, и верил, что я выправлюсь. И действительно, уже на спектакле я кое-как, без блеска, но выправился. Мне даже удавалось смешить зрителей. Но каждый раз я настолько панически боялся забыть текст, в котором было всего полстраницы, что действительно забывал его. Завадский – Антоний подсказывал шёпотом, другие партнёры толкали меня в спину, я был предметом их остервенелой ненависти в эти секунды и такой же острой жалости. Смешно и странно вспоминать об этом через 30 лет, но ведь и сейчас мне порою снится сцена, актёрские уборные, грим и сознание, что я выйду через несколько минут, совершенно не зная своей роли!

А между тем в Студию входили новые и новые лица. Вошли совсем молодые члены так называемой «Мамонтовской» группы. Они собирались в Мамонтовском переулке. Руководил ими, по поручению Вахтангова, Завадский. Среди них были Толчанов³¹, Глазунов³², Ляуданская, позже Басов. Появились Шахматов, Азерин. Это была уже настоящая молодёжь по отношению к нам, «старикам». Так мы и трактовали их. Вошёл дружок Серова, совсем молодой, но уже весьма понаторелый в актёрстве Л. Баратов³³. О братьях Вигилеве и Никольском уже сказано. Промелькнула на репетициях «Инфанты» изящной тенью С. Голлидэй³⁴. Я не преминул влюбиться в неё, дарил ей цветы. Она смотрела на это ухаживанье недоуменно и горько. У нас ничего не выходило. Моё чувство было выдуманным, и без душевной боли я от неё отстал. В Студии обозначился дух предприимчивости, прожектёрства, глубоко чуждый

³¹ *Толчанов, Иосиф Моисеевич* (1891-1981) – актёр студии и театра им. Е.Б.Вахтангова, режиссёр, педагог.

³² *Глазунов, Освальд* – актёр студии и театра им. Е.Б.Вахтангова. В годы немецкой оккупации играл в театрах Риги, за что попал в ГУЛАГ и там скончался.

³³ *Баратов, Леонид Васильевич* (1895-1964) – драматический и оперный режиссёр, лауреат многих премий.

³⁴ *Голлидэй, Софья Евгеньевна* (1896-1934) – актриса Второй Студии МХТ, героиня «Повести о Сонечке» М.И.Цветаевой.

Евгению Богратионовичу. Он предостерегал нас, но мы рвались в бой, в жизнь, к немедленному осуществлению, к тому, чтобы играть, играть, играть, только бы играть. Мы были сыты по горло студийной замкнутостью, отсутствием профессионализма у себя, отсутствием ремесла. По чести, в этом мы были правы. Жизнь становилась всё труднее и труднее. Родители смотрели на меня с тревогой, с опаской. Они были убеждены, что я неудачник и прожигатель жизни. Я жил за их счёт, а счёта у них никакого не было, да и сил не было. Они старились с каждым днём. Моим стихам они не верили, ничего в них не понимали, к Мансуровскому переулку относились по меньшей мере с опаской, Университет был совсем заброшен. Я щеголял в студенческой фуражке с синим околышем, лихо заломив её на затылок – только в этом выражалась моя связь со студенчеством. Переходя весной шестнадцатого со второго на третий курс, я провалился на политической экономии, отнюдь не огорчился этим: ведь в тот же вечер должна была быть очередная репетиция «Обручения во сне». Зато горько плакала моя мама и вздыхал отец. Но они были добры, только добры, добры и бессильны. А время шло. Душным, грозным летом я плавал в Москве реке, в Барвихе, читал стихи младшим сверстникам, казался им и себе гением, был очень доволен этой узкой славой среди 8-10 бездельников. Мне было двадцать лет. Я бросил читать, ничем не интересовался вне этого заколдованного, трижды застрахованного от жизни круга. В стихах безвкусно и беспочвенно соединялись «Голгофа» – и «Арлекин», «Гамлет» – и «Пречистенский бульвар». Я был очень пошл в это время, физически здоров и душевно пуст. Я был ещё девственником и радовался, что какие-то девочки-девушки смотрят на меня томно. Случалось, что я целовал их украдкой. Мне это ничего не стоило. А в стихах, между тем, продолжали обитать далёкие принцессы и царевны, взятые напрокат из любого Чтеца-Декламатора. Написав всё это, чувствую, что покривил душой, что ругать самого себя мне всё-таки не за что. И если разобраться в этом, то опять проступит главное, всё то же, уже не раз произнесённое: далёкость от жизни, социальное отщепенство. Ведь уже

прозвучало в русской поэзии, уже юношеский бас прогремел о том, что

...в терновом венце революций
грядёт шестнадцатый год³⁵.

Маяковский так спешил в обгон времени, что предсказал революцию на год раньше срока. А я этого не слышал, не умел слушать.

И ещё раз – отнюдь не в оправдание себе, а чтобы вдвинуть себя в картину времени – я не один был таким. Все мы были одним миром мазаны. Посредственный представитель поколения, я, может быть, и могу быть героем этого вполне исторического повествования, вернее, должен быть им, но моё место – в толпе сверстников. Одни из нас стали прапорщиками и погибли в Галиции, под Перемышлем, другие, избежав пули и воинской повинности, отвечают за всё.

Шла осень 1916 года. Шли репетиции «Обручения», уже описанные здесь. Это разгар дружбы с Завадским. Бывало, в ночное время мы всем скопом – Вигилев был коноводом – вваливались в ночные чайные. Пьяная проститутка декламировала охрипшим голосом: «Вянет, пропадает красота моя!..» Мы любили цыган, любили встречать рассвет после бессонной ночи, экзальтацию дружбы. Мы уже приобрели явственные признаки московской богемы, гораздо раньше, чем приобрели какое бы то ни было умение в своей работе. При этом мы и водки ещё не умели пить, и по сути были очень невинны и наивны.

На рождество 1916 г<ода> студийка Наташа Щеглова пригласила к себе в имение, в Нижегородскую губернию, двух своих друзей, В. Алексева³⁶ и меня. Мы

³⁵ *в терновом венце революций...* – из поэмы В.В.Маяковского (1893-1930) «Облако в штанах».

³⁶ *Алексеев, Владимир Васильевич* (1892-1920) – актер студии Е.Б.Вахтангова, друг П.Г.Антокольского и М.И.Цветаевой. В 1919 г. уехал на юг России, вероятно, чтобы присоединиться к Белой армии, и вскоре пропал без вести. Сегодня можно добавить некоторые подробности к этой истории, известные от Натальи Николаевны Щегловой-Антокольской, первой жены

сели на Курском вокзале в вагон и утром были в волжском городе. В ту же ночь на розвальнях отправились километров за 25-30 в знаменитые по восторженным рассказам хозяйки Ключищи. Это была замечательная дорога, ночью, в мороз, под яркой луной, по голым снежным полям, сквозь лес, с бубенцами... Мы задрёмывали, просыпались, снова дремали, и проснулись окончательно, когда лошади уже стояли у крыльца дома. Наташа была нарядной, румяной барышней, сильно картавила, ходила с золотым лорнетом, в богатой шубке. Её специальностью были танцы, ритмическая гимнастика. Она была ребячлива, любила сказки, рождество, зимнюю дорогу. Она была счастлива, что может принять нас в этом крепком деревянном доме, угостить своих поклонников домашними пирогами, играть по вечерам в подкидного дурака. Рядом с нею была милая младшая сестра, ещё подросток Галя. Володя Алексеев нравился Наташе; может быть, между ними и было тогда что-нибудь сказано... нет, скорее было недосказано. У всех у нас были дружеские, спокойные отношения. Днём мы ходили на лыжах, ночами крепко спали. Рядом была деревня. Мы слушали волжское óканье, слушали частушки деревенских красавиц, давнишних ещё с детства подруг Наташи. Мы с В.Алексеевым сами сочинили свою песню, взяв слова из сказок А.Н.Толстого:

Леса пройдёт – и горе с ним,
Снега пройдёт – и горе с ним,
А горе – что былинка
И плачет сиротинка.

П.Г.Антокольского, бывшей актрисы той же студии. В 1919 она работала в московской организации Центрпленбеж, возникшей после Первой мировой войны, занимавшейся делами пленных и беженцев и санкциониравшей их переезды внутри страны. Она выдала Володе Алексееву поддельный документ, с которым он сумел выехать из Москвы. Такой поступок был крайне рискованным: в случае неудачи ей грозило больше, чем потеря работы, но она любила Володю – он был ее первой любовью – и выполнила его просьбу. Об этом Наталья Николаевна рассказала нам, составителям книги, незадолго до смерти в 1982.

Пели мы высокими, на деревенский лад голосами и, наверно, казались сами себе очень несчастными парнями... По утрам небо было умирительно розовое. Сквозь голые стволы осин и вѣтел оно сияло нам обещанием прекрасного, вполне достижимого будущего. Мы его не знали и не могли знать. Никакое гаданье не предсказало нам этого будущего. И если бы кто-нибудь посулил нам, как через несколько лет свяжутся и разойдутся наши дороги, может быть мы захотели бы тогда приблизить этот недалёкий час, а может быть резко оттолкнули бы его приближение.

В феврале-марте 1917 года я пошёл добровольцем в революционную милицию. Моё служение продолжалось очень недолго. Тогда же я начал писать первые гражданские, политические стихи. В них сказалось давнее увлечение историей, декабристами, сказался декламационный пафос, тоже воспитанный с давних пор, сказалось наконец общеинтеллигентское увлечение показной стороной революции, беспредметное возбуждение при виде толпы с красными флагами. Этот жирондизм не очень высокой марки всё же выбил из меня аполитичный снобизм. Для дальнейшего он был очень важен. Стихи были смешные. В них были, например, такие возгласы:

Выходи же, Керѣнский, на смотр!
Ты наш меч, ты нам Спас, ты нам Пѣтр.

Под Петром, конечно, подразумевался Пѣтр Великий. Делать из этих строк вывод, что я причислял себя к эсэрам или что верил во Временное Правительство или что готов был поддерживать лозунг войны до победного конца, – такой вывод делать не следует. Я просто увлёкся парадной шумихой. Приходится повторить: я был человеком толпы.

И опять лето в Барвихе – и полная общественная глухота. И опять осень и Студия. Что мы знали, что могли понять и предугадать? Перед нашими глазами уже стояло зарево Мирового Пожара, а мы? В лучшем случае мы приняли бы его за театральный занавес. Коварные, слабосильные, безжалостные к близким, мы оказались к тому же и глухи.

В октябрьские дни я вспоминаю себя на крепко запертом дворе пятиэтажного дома в Ильинском переулке на Остоженке в качестве сменного дежурного. Где-то в сторону Крымской площади идёт стрельба. Ночь сухая, ясная. Этот дом, как и другие буржуазные дома, отрезан от мира. Телефон не работает. По лестницам ползут слухи. В квартирах они уплотневают и становятся кошмаром женщин и предметом для дискуссий мужчин. Мы бродим из угла в угол, из комнаты в комнату, из квартиры в квартиру – мы, обыватели, мелкота, болото всех революций.

Я писал стихи, где почему-то сравнивал уличную стрельбу с шагами Командора. Но тут же в стихи является генерал Галифе, идущий «по выбитым стёклам театров, дворцов и кафе». Подозреваю, что он является только для рифмы. Но как мелко, как ничтожно был я осведомлён о происходящем. Как не понимал главного. Чего я ждал? Чтобы «это» прекратилось? А дальше что? Опять ходить в Студию, ставить спектакли, писать стихи? Большого я представить себе не мог.

Когда «это» кончилось и Советская власть в Москве победила, я вышел на улицу, усыпанную щебнем, стреляными ружейными патронами, обрывками газет и афиш. Дул холодный и резкий ветер. Где-то у Никитских ворот меня, как и других прохожих, остановил патруль – малорослый солдатик с винтовкой. За его плечами ещё тлели стропила дома на Тверском бульваре. Мы, прохожие, пытались не послушаться его, кинулись на бульвар...

А ну, – гаркнул он весело, – катитесь вы... – и в холодном воздухе зазвенело такое крепкое и не обидное естественное продолжение, что все расхохотались и подчинились приказу.



Ури Андрес

Эволюция метафизики



В этом небольшом очерке сделана попытка схематично наметить историческую логику последовательной трансформации метафизики, как самой существенной и, в действительности, единственной темы философии, как системы убеждений людей относительно фундаментальной природы мироустройства.

Аристотель, после которого возникло понятие метафизики, назвал ее Первой Философией, поскольку в ней рассматриваются наиболее общие принципы бытия.

Непрерывное видоизменение метафизических концепций является не только важнейшей философской проблемой. Оно неизбежно затрагивает формирование мировоззрения и мироощущения поколений людей, для которых понимание бытия является существенным жизненным интересом и важным компонентом их сознания.

Полноценный и адекватный анализ этой проблемы требует привлечения громадного ресурса информации, выходящего за пределы журнальной публикации. В предлагаемом очерке делается попытка лишь проследить последовательность звеньев одной из возможных цепочек развития метафизики.

Со времени зарождения Западной философии вплоть до 18-го столетия метафизика формулировалась пророками, богословами и священниками. Источниками их метафизических представлений были откровения - особые психические состояния, возникающие в результате возбуждения, экзальтации, галлюцинаций, а также порывов фантазии, не контролируемых разумом и не проверяемых логическим мышлением.

В определенной, завершенной и бесспорной форме метафизические концепции мира содержатся в теологической метафизике, лежащей в основе мировых религий.

В 19-м столетии возник новый тип философов, философов – ученых. Одними из наиболее выдающихся мыслителей этого типа являются Чарльз Дарвин, Анри Пуанкаре, Альберт Эйнштейн. Мотивацией их интеллектуальных усилий было желание вручить людям божественный месседж, переданный им свыше через божественное озарение для принятия людьми определенной системы ценностей, образа мыслей и требующий следование назначенным правилам жизни.

Философская форма метафизики, состоящая из онтологии - исследования основных категорий бытия, и космологии - исследовании происхождения и структуры вселенной, базируется на научном методе познания, является открытой для дискуссий, развивающейся системой идей, не содержащих законченных и неизменных концепций.

Тем не менее, следует отметить, что в основе научных концепций, выработанных в результате самых объективно проведенных экспериментов, самых точных наблюдений и строгих вычислений лежат метафизические убеждения ученых порой незаметные для них самих.

В основе философской метафизики лежит утверждение, что мироздание наблюдаемо, но необъяснимо.

Являясь основным разделом философии, метафизика по существу является главным, обобщенным и всеобъемлющим инструментом постижения окружающей нас реальности.

Философская метафизика не ответила и очевидно никогда не ответит в законченной форме на фундаментальные вопросы мироздания, однако ее развитие глубоко влияет на ход истории людей.

В последние столетия возникло множество разделов знания, использующих философский метод и относимых к философии, как например, философия языка, философия бытия людей, философия права и другие, радикально

отрицающих метафизику, как безнадежное и бесполезное направление.

Однако глубокий метафизический интерес людей, питающийся их непреходящим стремлением постичь сущность бытия, не иссяк и остается самым необычайным свойством человеческого сознания.

Предрасположение к созданию метафизических концепций в постижении реальности мира заложено в самом человеческом сознании, в конфигурации человеческого разума, в самой психо-физиологической технологии мышления.

Бесспорно и то, что метафизика не является для людей жизненной необходимостью и большинство человечества проходят свой путь, не вглядываясь с замиранием сердца в звездное небо. Интерес к философии и, особенно, к метафизике всегда является уделом относительно небольшого процента образованных людей, способных подняться над ежедневной борьбой за место в жизни, за умножение благосостояния, за власть над другими.

Раздел между этими категориями людей проходит через различия в их взглядах на прошлое и будущее.

Тем, кто живет лишь настоящим, не задумываясь о прошлом и будущем, метафизика не представляет интереса. Те же, кто задумывается о смысле существования, неизбежно обращаются к прошлому, нередко темному и трудному, и способны жить для будущего, всегда неопределенного. Эти люди вознаграждаются чувством свободы, избавлением от экзистенциального страха смерти. Метафизический интерес возвышает людей, успокаивает страсти, примиряет людей с реальностью бытия.

Жизнь философов, посвятивших себя метафизике, отличается простотой, нетребовательностью, отсутствием интереса к материальному благосостоянию, отрешенностью от политических страстей.

В отличие от естественнонаучного познания, в философии решение вопросов ищется не путем прямых научных наблюдений, экспериментов или математического анализа, а лишь посредством усилий “чистого разума”,

применения классической логики, диалектики, усилий воображения. Метод философии во многом базируется на умозрительном синтезе результатов естественных наук и их экстраполяции, на опыте аналитического мышления, на интуиции, на нахождении в языке эквивалентов мысли.

Философская метафизика никогда не сможет слиться с экспериментальной наукой в силу принципиального различия методов. В то время, как наука концентрируется на частном, метафизика всегда соприкасается с общим.

На протяжении тысячелетий жажда людей постичь смысл всего сущего утолялась религиозными метафизическими концепциями. Лишь в последние столетия под влиянием накопленных сведений о мире метафизика, из религиозной, теологической и чисто умозрительной формы знания, развилась в научно-философское и, по сути, атеистическое направление в познании мира.

В последние 3-4 столетия в результате необычайного роста интереса к достижениям науки и накопления добытой наукой огромной и сложной информации в метафизике произошли глубокие изменения.

Постепенно исчезает убеждение в двух фундаментальных эпистемологических аксиомах: в том, что наблюдаемая реальность не зависит от наблюдателя и что в процессе познания реальности мы имеем дело с определенно предсказуемыми наперед событиями.

Многие современные теории исходят из того, что наблюдаемые объекты и события взаимодействуют с наблюдателем, испытывают его воздействие и изменяются в результате наблюдения.

Современная фундаментальная наука вместо определенного предсказания будущего предлагает лишь спектр его вероятностей.

Более того отдельные научные теории утверждают, что вероятностью обладает не только будущее, но и прошлое.

Существует ряд средневековых и современных теорий возникновения религиозных нарративов, объясняющих бытие. Некоторые мыслители полагают, что основа всех религий – теологическая метафизика - возникла

в результате усложнения человеческого мышления в процессе дарвиновской эволюции человеческого вида, через экономическое, социальное и психологическое развитие человеческого сообщества.

Христианский теолог Фома Аквинский (1225-1274) видел возникновение религии как следствие устройства человеческого разума, как результат присущей процессу мышления подчиненности закону каузальности, как следствие закона причинности. «Каждое следствие имеет причину. Бесконечный поиск предшествующих причин бессмысленен. Следовательно, должна существовать беспричинная причина, первопричина всего последующего, а это и есть Бог», утверждал Фома Аквинский.

Эпистемологический механизм активности человеческого разума оперирует в системе каузального детерминизма, выстраивает познаваемые факты реальности в причинно – следственные цепочки. Человеческий разум функционирует в границах дефолта, по которому каждое воздействие на объект немислимо без предшествующей причины, *ex nihilo nihil!*

В наше время детерминированность материального мира, исключая «божественный волюнтаризм», не вызывает больших сомнений. Спорным остается лишь проблема недетерминированной свободы человеческой воли, поскольку каузальный детерминизм мышления исключает существующие в веках фундаментальные этические концепции человеческого сообщества.

В детерминированном сознании людей не может существовать ни добра, ни и зла. Детерминированность человеческого сознания отрицает свободу воли, отвергает существование преступлений, подвигов, милосердия, альтруизма и эгоизма и других привычных этических категорий коллективного существования людей на планете Земля, нарушает конструкцию человеческого социума.

Детерминированность сознания атеистична, поскольку отвергает метафизическую природу морали.

Сторонники допустимости свободы воли в каузально детерминированном мире исключают человеческое мышление из системы мировой необходимости. Они

полагают, что в то время, как объекты неживой материи обладают лишь одной возможной реакцией на конкретное внешнее воздействие, человек обладает способностью свободного выбора из нескольких возможных реакций.

Однако эта концепция в итоге приводит к заключению, что при окончательном осознании индивидуумом с конкретной психогенетической структурой, сущности внешнего воздействия, его неизбежный выбор сводится лишь к одной, единственно возможной для этого индивидуума ответной реакции.

Так утверждает классическая логика.

Современная неврология оставляет возможность для свободы воли и склоняется к тому, что у человека есть не одно, а несколько Я. В разных обстоятельствах доминируют различные из них.

Тем не менее, вопрос о свободе воли этим не снимается поскольку, даже при наличии у человека спектра Я, легко предположить, что различные внешние воздействия возбуждают детерминированную реакцию определенного Я из имеющегося спектра.

Метафизическая проблема наличия морали, являющейся атрибутом свободы воли, поразила воображение Канта. Но никакого решения он не предложил. Нахождение консенсуса в вопросе о свободе воли затрудняется недостаточностью знания о происхождении и работе человеческого сознания.

Со времени Канта прогресса в понимании свободы морального выбора не наступило.

Воображение, играющее важную роль в развитии метафизических концепций, есть продукт непроизвольной активности подсознания, рациональным сознанием не контролируемого. Оно лежит в основе человеческого творчества, способности людей создавать образы, концепции, сценарии событий и испытывать ощущения в отсутствии зрительных, слуховых и других внешних воздействий.

Воображение питает как религиозный, так и философский метафизический нарратив. Оно помогает

сознанию создавать модели элементов реальности и в научных исследованиях.

Фантазия – форма воображения, выходящая за пределы реальности. В снах (ночных и дневных) фантастическое мышление создает далекие от действительности образы и сценарии, по которым развиваются фантастические причинно-следственные цепочки событий.

Фантастические образы и ситуации конструируются в подсознании из реально существующих материальных элементов и событий, но способны приобретать нереальные черты, развиваться в нереальных обстоятельствах, достигать нереальных результатов.

Спонтанные продукты фантазии часто приобретают желаемые для людей черты и играют важную роль в метафизических убеждениях людей.

Примером такой фантазии, в которой из реальных элементов сконструирована желаемая фантастическая картина может служить пророчество Исаяи о наступлении мира на Земле: «Волк будет жить рядом с ягненком и леопард будет лежать с младенцем, теленок будет тучнеть вместе с молодым львом и ребенок будет пасти их».

Активность подсознания изучена недостаточно. В ночных снах мозг человека создает сценарии, «автором» которых, а часто и действующим лицом в них, является ничто иное, чем сознание и подсознание самого человека и он сам. Существующий опыт рационального создания любых нарративов предполагает, что «автор» контролирует развитие событий, происходящих в его истории. Однако сюжеты снов порой развиваются неожиданным для самого «автора» образом, ведут к внезапным резким поворотам событий, вызывая у него чувства ужаса, боли, стыда и т.д. Нередко сны ведут себя подобно сюжетам научной фантастики, где сконструированные человеком роботы, выходят за пределы контроля их создателя и действуют против него.

Фантастические теологические нарративы рисуют бессмертных антропоморфных богов, совершающих чудеса,

неотрывно следящих за судьбами людей, оценивающих человеческие поступки, вмешивающихся в жизнь смертных.

Концепции теологической метафизики привлекают верующих гарантиями божественной защиты от бед, воздаянием по заслугам, возможностью получить прощение за любые грехи. Многие религиозные нарративы содержат фантастические концепции Армагеддона - всемирной битвы перед пришествием всеильного спасителя, несущего наступление всеобщего мира. Ряд религий включает существование у человека бессмертной души, воскресения из мертвых.

Фантазии, заложенные в теологических нарративах, поражают воображение религиозных людей и служат притягательными элементами для верующих. Теологическая метафизика необычайно прочно закрепляется в сознании людей и нередко ведет к религиозному фанатизму.

На заре цивилизации религии объединяли и, тем самым, укрепляли этносы, давали им преимущества в борьбе за выживание.

В развитых религиозных цивилизациях метафизические сюжеты формировали понятия о прекрасном, стимулировали изобразительное искусство, архитектуру, поэзию, драму, музыку. Расцвет изобразительного искусства и литературы в эпоху европейского Ренессанса был одухотворен фантастическими образами эллинской и иудео-христианской мифологии. Многие шедевры классической музыки навеяны религиозными чувствами.

Однако на счету у религий имеется длинный список исторических катастроф, вызванных в человеческих сообществах религиозным фанатизмом. В нем фигурируют кровавые межрелигиозные конфликты и религиозные войны, крестовые походы, инквизиция, казни несогласных с религиозными догмами, отлучения и преследования инакомыслящих, запреты на развитие естественных наук, порабощение человеческого сознания, неукоснительное исполнение религиозных обрядов, отнимающих у людей время и энергию. Жесткие рамки религиозных догматов

арестуют воображение – самый ценный ресурс человеческого сознания.

Фанатическая метафизическая убежденность в богоизбранности тяжело отразилась на истории евреев, прервав на два тысячелетия существование национального еврейского государства в Иудее. Начало причинно-следственной цепочки в этом витке истории евреев теряется в облаках на вершине горы Синай, где, в соответствии с религиозным нарративом, Бог продиктовал Моисею текст Торы.

Инспирированные верой в неотвратимую божественную поддержку, зелоты и сикарии подняли в Иудее, а затем на Кипре, в Месопотамии и Египте три последовательных волны безнадежных восстаний против разумной части еврейского населения стран, пытавшейся избежать военной конфронтации с могущественным Римом, и против римской администрации и армии.

Тяжелое поражение в первом восстании (66-73), возглавляемым Йохананом Гушхалав, Шимоном Бар Гиорой, Элиазаром бен Яиром (командиром Масседы) и другими вождями завершившееся разрушением Второго Храма и пленением выживших воинов, не остановила второго восстания зелотов (115-117), в еврейских общинах, обосновавшихся в Римских провинциях Киренаике, на Кипре, в Месопотамии и Египте. Эта волна восстания была безжалостно подавлена легионами центуриона Люциуса Квиетуса, берберского принца на службе у Рима.

Иудея, бывшая в то время лишь небольшой провинцией Римской Империи, не имела ни малейшего шанса на какой либо успех в войне против Римской сверхдержавы.

Несмотря на катастрофические последствия восстаний в Иудее и в римских провинциях, необычайная метафизическая сила веры еврейских лидеров Бар Кохбы и раби Акивы в божественную защиту евреев привела во время правления ненавистника евреев цезаря Адриана в 132-133 гг. к третьей волне восстания, (третьей Иудейской Войне). Римскими легионами командовал тот же Люциус

Квиетус. Восстание закончилось полным опустошением Иудеи.

Историк Иосиф Флавий, один из военных лидеров восстания, перешедший впоследствии на сторону Рима, критически оценивал идеологию восстания. Он считал ее «принесшим несчастье отклонением от основной традиции еврейского мышления и практики» и посчитал zelотов «опасными фанатиками». В некоторых текстах своих хроник он называл их «бандитами».

Героические, но напрасно начатые, войны привели к неминуемым поражениям, к поголовному уничтожению еврейских общин в странах Римской империи, а после поражения Бар Кохбы к изгнанию евреев из пределов их страны.

За изгнанием последовала двухтысячелетняя диаспора, приведшая в 20-м столетии к Холокосту, почти полностью уничтожившему европейское еврейство.

Вышеупомянутая причинно-следственная цепочка исторических событий завершилась восстановлением еврейского государства лишь в 1948 г. С этого года начался новый виток еврейской истории.

Научно-фантастическая литература, получившая широкое развитие в 20-м столетии, неизбежно конкурирует с религиозной фантастикой в воздействии на воображение людей. Базируясь на современных достижениях науки, образы и события, описанные в современной научно-фантастической литературе, по силе воображения значительно превосходят неизменные фантастические сюжеты теологических нарративов.

Научная фантастика вплетается в канву современной науки. Рационалистическое мышление и развитие естественных наук постоянно бросают вызов теологическим концепциям метафизики, снижают их убедительность, предъявляют теологии требования логически доказать существование Бога, лежащего в основании теологической метафизики.

Несмотря на всесильность религиозной метафизики, глубоко укоренившейся в человеческом сознании, надежным способом нахождения истины для образованных

людей служит рационалистическое мышление, суждение, основанное на логике.

Фома Аквинский утверждал, что и существование Бога, и другие положения теологической метафизики могут успешно быть доказаны на основе рациональных, логических аргументов.

В качестве обоснований центрального метафизического тезиса о существовании вечного всемогущего Бога, создателя и царя вселенной, в разное время был сформулирован ряд логических философских аргументов.

Так утверждается, что поскольку ничто не может существовать без того, что бы быть предварительно созданным кем-то или чем-то, существующим вовне, сам факт существования вселенной есть доказательство существования Бога. Вселенной бы не было, если бы нечто, существующее вне нее, не привнесло бы ее в мир. Это всемогущее нечто и есть всемогущий создатель, Бог.

Вселенная не хаотична, а упорядочена. Это означает, что ее созданию предшествовал предварительный план. По своей сути план не может быть без автора. Следовательно, автором плана является мудрый и всемогущий Бог.

Декартовский тезис *Cogito ergo sum* (я мыслю, значит я существую) используется в качестве рационалистического доказательства реальности Бога. Декартовское утверждение, означает, что сам факт мышления о каком-либо объекте доказывает реальность его существования. Если в сознании людей возникла идея существования Бога, это означает, что Бог существует и в реальности. Существование чего-либо не нуждается в мысли о нем, но без реального существования чего-либо мысль о нем возникнуть не может.

Атеисты также используют рационалистические логические аргументы для отрицания существования Бога. В них утверждается, например, что существование всемогущего Бога невозможно и вселенная им не создана. Используется известный парадокс о тяжелом камне. Спрашивается, может ли Бог создать столь тяжелый камень, который и он сам не в силах поднять?

И положительный, и отрицательный ответы отвергают само существование свойства всесильности и, следовательно, всесильного Бога.

Утверждается также, что существующий, далекий от совершенства, мир, в котором зло ни чем не ограничивается, никак не может быть творением совершенного, всесильного и милосердного Бога. Разрушительные природные катастрофы, смерть детей, войны и эпидемии не могут быть частью мира, созданного всесильным и милосердным Богом.

Атеисты утверждают, что идея Бога есть эмоциональная поддержка («костыль») для слабых и необразованных людей.

В своем трактате *Критика чистого разума* Иммануил Кант (1724-1804) подвел итог рационалистическому спору о Боге. Кант писал, что “для того, чтобы все аргументы в пользу существования Бога имели теоретическую значимость, они должны начинаться со специфических и исключительно рациональных или чисто феноменологических данных, с использованием концепций физической науки, и должны закончиться экспериментальной демонстрацией объекта, подходящего или соответствующего идее Бога. Однако эти требования удовлетворены быть не могут.

Говоря научно, существование и абсолютная необходимость Бога не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты. Именно поэтому для веры открыты двери для проникновения в сознание людей через моральные, а не научные аргументы”.

Так Кант утвердил неизбежность широко распространенного нейтрального агностицизма.

Хотя элементы теологической метафизики имеются в индуизме, буддизме, исламе и некоторых малых религиях, в наиболее полной форме они существуют в древнем зороастризме и европейской и ближневосточной теологических традициях.

Бenedикт Спиноза (1624-1677) предложил метафизическую систему, в которой Бог-создатель вселенной не антропоморфен, а его сущность сливается с

природой. Бог Спинозы подчинен той же всеобъемлющей необходимости, которой подчинены его атрибуты.

В Спинозианской пантеистической метафизике проблема рационалистического доказательства существования создателя вселенной исчезает, поскольку утверждается что Бог и природа неразличимы, а наличие природы самоочевидно и доказательств не требует.

Спиноза утверждает, что мир со всеми материальными вещами, событиями и человеческим сознанием есть элементы Бога, а их бытие есть результат заложенной в них внутренней необходимости. Внутренняя программа возникновения, трансформаций и исчезновения есть неотъемлемая часть всего сущего, включая и Бога.

Возникновение и существование как материальных вещей, так и человеческого сознания подчинены своим внутренним детерминированным программам и включены в божественную пантеистическую орбиту всеобщей необходимости.

Научные открытия 16-го и 17-го столетий внесли в теологическую метафизику новую концепцию существования постоянно функционирующего механизма, посредством которого осуществляется божественная воля. Действующие во вселенной законы природы, открытые Коперником (1473-1543), Джордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилеем (1564-1642) и, особенно Исааком Ньютоном (1642-1727) стали рассматриваться теологами как божественные инструменты, созданные для управления вселенной.

У образованных людей постепенно возникло ощущение абсолютности, неизменности и независимости открытых наукой законов, не нуждающихся в мастере.

Подвергалась сомнению сама необходимость существования божественного разума. Так Пьер Симон Лаплас (1749-1827), на вопрос Наполеона, почему в его книге об астрономии нет упоминания имени Бога, ответил, что «в этой гипотезе он не нуждается».

С начала 18-го столетия разум, логика и естественнонаучный подход стали нормами мышления образованных людей. В различных подразделениях

христианства получили развитие рационалистические интерпретации религиозных концепций мироздания.

Тем не менее, вера во всемогущего Бога не была поколеблена даже такими потрясениями как Французская Революция.

Большевистский переворот в России с первых дней своего контроля над страной начал истреблять религию и ее служителей. После краха коммунизма в конце 20-го столетия религия вновь приобрела важное место в жизни Российского государства. Политические лидеры страны усердно демонстрируют приверженность к православию. Метафизическая вера в чудеса вновь обрела власть среди российского населения.

Великая Французская Революция, произошедшая под влиянием рационалистической философии Просветителей, не посягнула на веру в божественную основу мира. После казни короля и отмены монархии во Французской Республике, Культ Верховного Существа и новая революционная метафизика заменили христианского бога и христианскую теологию. При этом во Французской Республике атеизм карался смертной казнью.

Как результат признания непроницаемости мироустройства новая философия, появившаяся в конце 19-го столетия, ознаменовалась отрицательным отношением к метафизике. Философы утратили интерес к онтологии и космологии и призывали к концентрации на анализе жизни и чувств человека вне связи с окружающими миром.

Возникли два центра развития философской мысли, получивших название Аналитической и Континентальной школ философии. При всем отличии в их концепциях они в равной мере отрицали метафизику как бесполезное направление в познании реальности.

Предполагалось, что новые философские течения будут направлены на поиск ответов на вопросы, занимающие интерес большинства, а не узкого круга интеллектуальной элиты, склонной с глубоким интересом вглядываться в звездное небо. Возникла надежда, что появится философия, свободная от метафизики, открытая для всех людей.

Однако упрощения философии не произошло. Погружение в чувства, мысли и реакции человека вызвало необходимость в сложном языке, в привлечении новых образов и моделей, делающих работы философов мало доступными для неподготовленного читателя.

К представителям Континентальной философии принадлежит неокантианец Эдмунд Гуссерл (1859-1938), призывавший философов сосредоточиться на сущности бытия человека, к возврату к вещам «самим по себе». «Только выяснение сущности человеческого бытия раскрывает саму сущность бытия» утверждал Гуссерл.

Феноменология – созданное им направление в философии - исследовала поток человеческих переживаний - суждения, восприятие и эмоции - не поддающихся никаким внешним средствам анализа. Феноменология анализирует структуру сознания вне ее связи с внешней реальностью и явлениями, возникающими в процессе сознания. При этом отвергаются как научные средства клинической психологии и неврологии, так и метафизические интерпретации.

Метафизику Гуссерл видел как бесполезное риторическое и догматическое занятие, как спор, базирующийся на предпосылках, основанных на «вероятности и неопределенности».

Ученик Гуссерла, феноменологист и экзистенциалист Мартин Хейдегер (1889-1976), также критиковал традиционную метафизику. В то же время он критиковал возникшую после Великой Войны школу Позитивизма.

После окончания Второй мировой войны экзистенциализм стал одним из доминирующих направлений философской мысли.

Отец экзистенциализма Сёрен Кьеркегор (1813-1855) полагал, что каждый человек ответственен за то, чтобы дать смысл своей жизни. Без обращения к метафизике человек способен бороться с волнениями, отчаяньем, страхом, абсурдностью, отчуждением, скукой. Философия должна научить людей, каким образом достичь полноценной жизни. Он полагал, что традиционная философия далека от нужд людей.

Гигант философской мысли Фридрих Ницше (1844-1900), исследовавший фундаментальные аспекты человеческого сознания и поведения, с иронией относился к философам-метафизикам, иронизировал над Кантом и Гегелем.

Экзистенциалист Жан Поль Сартр (1905-1980) считал возможным исследовать широкий спектр проблем человеческого существования, не прибегая к элементам метафизики.

Наиболее острая критика метафизики исходила от философов Аналитической школы, от сторонников логического или эмпирического позитивизма, возникшего в 20-х годах в Вене и Берлине, а с приходом нацизма переместившейся в Англию и Соединенные Штаты. Людвиг Витгенштейн (1889-1951) и Бертран Рассел (1872-1970), видные мыслители философской школы логического позитивизма, придерживались резко отрицательного взгляда на метафизику, которая, по их мнению, была не ошибочна, а просто бессмысленна. Позитивисты утверждали, что истина не может быть достигнута с помощью логики и математики, которые в конечном итоге ведут к тавтологии. Истинное знание достигается эмпирическими методами, должно быть проверяемо и систематизировано с помощью единого стандартизированного языка. Все остальные утверждения есть абсурд.

Этика и эстетика являются субъективными предпочтениями. Теология и другие формы метафизики не есть правда или неправда. Они попросту есть бессмыслица. «То, о чем мы не можем говорить, должно быть обойдено в молчании», писал Витгенштейн. Он считал, что метафизика зиждется на бессмысленном использовании слов, полна неточностей, основана на спекулятивных и сверхъестественных теориях.

Позитивисты убеждены, что ценное знание о мире не может быть достигнуто без уточнения того, как язык достигает компромисс между мыслями и словами и формирует наше восприятие и понимание или непонимание мира. По мнению позитивистов, метафизические утверждения темны, претенциозны и лишены доказуемости.

«Не говорить ничего за исключением того, что могло быть сказано» призывал Витгенштейн.

Но потребность в метафизике заложена глубоко в человеческом сознании. Со всей ее неточностью, недостоверностью и непроверяемостью утверждений она не исчезла под влиянием новых философских школ.

По следам ухода логического позитивизма с позиции главного направления в современной философии, метафизика возвратилась в мировоззрение людей в форме современной высокой науки, концентрирующейся на сущности естественных законов, на современных концепциях природы и происхождения вселенной.

На смену божественному откровению и его интерпретациям как источнику метафизических представлений пришла информация из лабораторий и обсерваторий, а место интерпретаторов – священников заняли интерпретаторы-ученые.

По силе воображения новые научные модели реальности бесконечно превосходят долголетние теологические и философские модели.

Лишь предложенная Спинозой концепция мироздания, возникшего и действующего как результат Необходимости, нисколько не противоречит современным представлениям о мире.

В своей работе над физическом устройством вселенной Эйнштейн целиком принял метафизику Спинозы и эйнштейновское виденье мироздания во многом является следствием спинозианской концепции Бога и спинозианского детерминизма.

Сегодня доминирующая концепция метафизической космологии концентрируется вокруг различных версий теории Большого Взрыва. Эта модель возникновения мира продолжает накапливать подтверждающие аргументы.

Успехи в развитии квантовой механики привели эпистемологию к принципиально новой проблеме неуниверсальности действия закона причинности.

В результате дуализма элементарных частиц противоречащая интуиции «свобода воли» обнаруживается

не только в поведении людей, но и в поведении отдельной микрочастицы.

Многочисленные онтологические эксперименты последних десятилетий, по прохождению фотонов и других элементарных частиц через двух-щелевую преграду и их последующего столкновения с различными чувствительными преградами, проведенные в квантовой механике, показали невозможность детерминированного предсказания пути их движения. Оказалось, что предсказание их траекторий возможно лишь статистически. Астрофизик Стивен Хоукинг назвал такое предсказание не детерминизмом, а детерминированной вероятностью.

Вернер Гейзенберг (1901-1976) предполагал, что корпускулярно-волновой дуализм в природе элементарных частиц, приводящий к неопределенности в поведении индивидуальной частицы, усугубляется еще и тем, что экспериментатор в процессе измерений оказывает влияние на наблюдаемый им процесс.

Двадцатый век ознаменовался почти полным отказом от теологической концепции вечного вневременного существования пространства, времени, материи космических тел и Бога, мастера-создателя всего сущего.

Ряд современных мыслителей склоняется к тому, что пространство, время, энергия и материя, наполняющие вселенную с ускоренно разбегающимися галактиками небесных тел, возникли без какой либо разумной творческой силы. Они появились 13,7 миллиардов лет назад в неизмеримо короткое мгновения взрыва в особой зоне, получившей название «сингулярность».

Взрыв – не единственная концепция начала вселенной. Другие модели основаны на расширении вселенной не в форме взрыва, а на подобию растяжения поверхности пустотелого бесконечно эластичного шара, накачиваемого газом. Элементы поверхности этого шара движутся, как радиально от его центра во вне, так и удаляются друг от друга вдоль растягивающейся наружной стороны сферы.

До начала этого процесса не существовало ни пространства, ни времени, ни энергии, ни материи. Не существовало ничего!

Так в сознание людей возник новый, противоречащий интуиции и человеческому опыту, метафизический концепт «Ничего», абсолютной пустоты, лишенной пространства и времени.

Начало вселенной положено возникновением сингулярности (singularity). Этим абстрактным английским термином латинского происхождения обозначается исключительная, ранее неизвестная физике, зона бесконечных малых размеров, стремящихся к точке, с нулевым объемом и бесконечно большой кривизной.

В этой зоне действует бесконечно большая гравитационная сила, спрессовавшая до бесконечной плотности всю массу существующих в космосе небесных тел. (Подобные по характеристикам сингулярные зоны возникают при образовании черных дыр в гигантских коллапсирующих звездах – суперновах).

Известные законы физики и физические константы, а также закон причинности в этой зоне не действуют.

За прошедшие 13,7 миллиардов лет фрагменты, разогретой до бесконечно высокой температуры, спрессованной массы сингулярности, в процессе их движения в космосе остыли до их современной температуры, приобрели конечные размеры и конечную плотность.

Неизвестно откуда и почему возникла вышеописанная сингулярность. Современная метафизика отказалась от теологической определенности сотворения мира и оставила открытыми причины и обстоятельства его возникновения.

В соответствии с иудео-христианской метафизикой мироздания созданию Земли и Неба предшествовала вселенная в форме «бесформенной бездны» и «мглы» и бескрайности воды, над которой «парил дух божий». В какой-то момент, всего 5772 года назад, Бог произвел свет и отделил его от тьмы с постепенными суточными переходами от темноты к свету. Затем из воды были созданы небеса и из

нее же вышла суша с флорой. Затем были созданы Солнце, Луна и звезды. Часть земной фауны, включая насекомых и птиц, тоже вышла из воды, а другая часть, включая домашний скот и диких зверей была порождением Земли. Последним актом божественного создания мира было появление людей: мужчины, а затем и женщины, созданных «по образу и подобию божью».

Очевидно, что авторы библейской космологии полагали, что бесформенная, полная воды, бездна вселенной существовала вечно, так же как и «парящий над поверхностью воды дух божий».

Никакого объяснения причины решения Бога создать нашу планету с ее физическими законами, ее флорой, фауной и людьми авторы библейской космологии не дают, а вопросы о происхождении Бога в религиозном контексте немислимы и из религиозной доктрины исключены. Эта теологическая концепция мироздания доминировала в сознании религиозных евреев и христиан несколько тысячелетий.

Современный метафизический консенсус мироздания сводится к следующему. Человечество – сингулярный род живой и мыслящей материи - существует на сингулярной планете Земля, вращающейся вокруг Солнца – гигантской горячей звезды, включенной в движение сотен миллиардов других звезд нашей и многих других галактик, летящих через космическое пространство. Население, недавно достигшее семимиллиардной численности, в соответствии с общепринятой теорией эволюции образовалось посредством спонтанно усложняющейся биологической трансформации элементарной живой клетки в организм гуманоидов.

Метафизическая теория эволюции утверждает, что биосфера нашей планеты возникла из живой клетки, которая появилась на планете Земля 3.7 миллиардов лет назад по неизвестным причинам и, по неизвестным же причинам посредством усложнения циклов ДНА, эволюционировала от примитивного одноклеточного организма до сложного человеческого организма, наделенного сознанием.

Живая клетка, есть уникальная форма материи, до настоящего времени существующая в исследованной части космоса лишь на планете Земля. Посредством прогрессивной модификации сознания вертикально ходящих гуманоидов в последние несколько десятков тысяч лет они превратились в людей, обладающих логическим разумом, творческой способностью и стремлением понять мир. Неизвестно продолжится ли эволюция человека, существует ли предел эволюционного развития этого вида живой материи и каков он.

В наши дни теория Дарвинской эволюции видов посредством естественного отбора (выживания сильнейших), в отношении к животному миру особых возражений не вызывает.

Однако теория эволюции, отнесенная к происхождению человека, вызывает неумирающий диспут, особенно активный в Соединенных Штатах. В этом вопросе возник острый идеологический конфликт на религиозной почве, казалось бы, давно утративший всякую актуальность и немислимый в 21-м столетии.

Именно Дарвинизм в наше время вызвал деление на верящих в сотворение человека и всей вселенной божественным разумом, и на верящих в появление вселенной и в эволюцию биосферы, происходящих по неизвестным причинам, но без вмешательства разумной божественной воли.

В наши дни в школах преподаются или только теория эволюции, или только религиозная концепция происхождения человека, или знакомство с обоими взглядами на происхождение человека и ученикам предлагается сделать самостоятельный метафизический выбор.

Проблема включения в школьную программу теории эволюции во многих американских штатах разрешалась в судебном порядке. В Европе в ряде стран выбор между религиозной концепцией происхождения мира и теорией эволюции разрешался через правительственные органы. Конфликт имел место в Дании, Голландии, Норвегии, Польши, Сербии и Англии. В Азии эта проблема возникала

в Пакистане и Турции. Конфликты на почве преподавания теории эволюции возникали в Австралии и Бразилии.

В наши дни развитие онтологической части метафизики целиком подчинено прогрессу в квантовой механике, которая в равной степени влияет на космологию и биологию. Существует тенденция слияния этих трех разделов знания. Такие биологические процессы, как фотосинтез и различные виды трансформации клеточной энергии сегодня рассматриваются с квантово-механических позиций. Квантовая космология основывается на квантово-механическом принципе неопределенности.

Квантовая механика рассматривает онтологическую структуру вселенной как комбинацию фундаментальных частиц материи (кварков и лептонов) и частиц энергии (бозонов), которые по существу являются двумя сторонами одной сущности. Это означает, что каждая материальная частица, такая как кварк имеет партнера в форме частицы силы, а такая частица силы, как фотон имеет партнера в форме материальной частицы.

Послекризисный мир конца 2011 г. кипит политическими и экономическими страстями. Продолжаются старые и разражаются новые племенные гражданские войны с участием западных держав. Необычно большое число людей одновременно в разных точках Земли вовлечено в коллективные политические и военные акции. Правительства технологически развитых стран с различными политическими культурами вовлечены в гонку вооружения, с перспективой на использование его в случае военной конфронтации.

Уличные политические манифестации с применением насилия и потерями жизни в разных странах возникают на площадях городов, на которых подобные события были немыслимы еще несколько лет назад.

Тем не менее, все эти события не влияют на извечный и непреодолимый метафизический драйв людей. В лабораториях и обсерваториях мировых научных центров не на минуту не останавливаются поиски ответов на фундаментальные вопросы мироздания.

В декабре 2011 г. в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРНе была сделана обнадеживающая попытка обнаружить бозон Хиггса - фундаментальную элементарную частицу, обладающую массой и энергией. В случае ее обнаружения и совпадения ее физических параметров с теоретически предсказанными, современная квантово-космологическая «Стандартная Модель», позволит разрешить противоречие между квантовой механикой и теорией относительности и сможет объяснить каким образом субатомные частицы взаимодействуют друг с другом в создании элементарных материальных блоков мироздания.

По современным представлениям каждой элементарной частице соответствует античастица с равной массой, но противоположным зарядом. Существование античастиц было установлено экспериментально при наблюдении космических частиц. Например, протону соответствует антипротон, а электрону - позитрон. При их соединении образуется антиводород. Соединение частиц с античастицами ведет к выделению энергии.

Установлено также, что в процессе возникновения материи образовалось значительно меньше античастиц, чем частиц.

Существует особый класс частиц, называемый виртуальными частицами. Эти частицы существуют ограниченное время и их энергия и момент неопределенны.

Всеобщим стремлением ученых метафизиков последних столетий является создание «теории всего», теории, объединяющей в причинно-следственную систему все материальные и силовые частицы.

Теория тонких пружинок, развившаяся в теорию сверхпружинок – одна из таких теорий. Для своей приложимости она требует, чтобы пространственно-временной континуум обладал десятью размерностями вместо четырех. (Такая высокая степень размерности моделируется системой двумерных тончайших цилиндров, закрученных один вокруг другого).

Более фундаментальной «теорией всего» является М-теория, возникшей в 1990г. из развития теории тонких

сверхпружинок. Используемые в этих теориях образы имеют лишь математическое описание и плохо представляются средствами языка и геометрическими схемами. М-теория объединяет онтологические и космологические концепции, но не является законченной теорией в обычном смысле этого понятия. Это скорее направление мышления, что по существу является новой метафизической формой видения реальности, открытой для дальнейшего развития.

Можно полагать, что современная космическая метафизика началась в 1925 г. с решения российским физиком Александром Фридманом (1888-1922) уравнения общей теории относительности для вселенной с положительной, нулевой и отрицательной кривизной пространства.

Решение с нулевой кривизной пространства означало замедление его расширения со стремлением к полной остановке. Именно это решение было положено Эйнштейном в основу его видения вселенной. Он полагал, что со временем в космическом пространстве возникнет состояние равновесия сил гравитации и инерции и вселенная обретет стабильность.

Положительная кривизна вела бы к постепенному сжатию пространства до микроскопических размеров, к раздавливанию небесных тел, и к конечному коллапсу вселенной.

Решение Эйнштейновского уравнения с отрицательной кривизной пространства открыло новые возможности, означало существование совсем иной, постоянно и ускоренно расширяющейся вселенной.

Американский астрофизик Эдвин Хаббл (1889-1953), открывший существование ряда новых галактик, решил проверить путем астрофизических измерений, какое из этих решений соответствует реальности вселенной. Он измерил доплеровское смещение красной части спектра нескольких дальних галактических систем и пришел к выводу, что правильным является решение с отрицательной кривизной пространства. Эйнштейн посчитал этот результат ошибочным.

В 1927 г. бельгийский физик-теоретик, католический священник монсеньор Жорж Леметр (1894-1966) обратил внимание на проведенные Эдвином Хабблом наблюдения и обработал результаты его измерений. Леметр пришел к выводу: измерения подтверждают, что галактики «разбегаются» и их движение ускоряется с возрастанием расстояния между ними. Так укрепилась гипотеза отрицательной кривизны пространства.

В современную доминирующую концепцию она превратилась лишь после развития астрофизических инструментов, позволяющих провести проверяемые измерения.

Политические страсти наших дней, занимающие умы и чувства большого числа людей, не отвлекли астрофизиков из Астрофизической лаборатории Калифорнийского университета в Беркли, наблюдающих угасание супернов дальних галактик. Движимая метафизическим интересом публика заполняла все доступные места на лекциях лидера этого проекта Саула Перельмуттера, занимая все стулья и стоя в коридорах аудитории. Подобная посещаемость лекций о затухании звезд случалась лишь на концертах звезд рока.

В 2011 г. Перельмуттеру и двум другим физикам была присуждена нобелевская премия за открытие свойства саморасширения космического пространства, которое приводит к постоянному возрастанию ускорения движения небесных тел за счет взаимного отталкивания. Это заключение было сделано посредством сравнения ускорения 42 супернов из отдаленных галактик с красным смещением спектра близких галактик. Предполагается, что загадочная темная энергия космоса, до сих пор не нашедшая объяснения, может быть ответственна за ускорение небесных тел.

Однако теория вселенной, как структуры, возникшей в фиксированный момент времени из ничего, не является единственной современной концепцией метафизики. В то время, как подтверждается измерениями, расширение космического пространства нашей «исторической»

вселенной сомнений не вызывает, под знак вопроса ставится сама ее единственность.

В последние десятилетия появилось несколько вероятных астрофизических гипотез метафизического порядка, утверждающих одновременное существование множества параллельных вселенных, различающихся действующими в них физическими законами.

В соответствии с теорией физиков Стэнфордского университета (в прошлом работавших в ФИАНе) Андрея Линде и Виталия Ванчурина в гипер-вселенной (вселенной, вмещающей нашу «историческую» вселенную наряду с бесконечным числом иных вселенных), в результате квантовых флуктуаций в процессе многоступенчатого хаотического расширения этой «исторической» вселенной, возникают постоянно расширяющиеся Фридмановские вселенные с отрицательной кривизной пространства. По их подсчетам число параллельно существующих миров достигает гигантского, превосходящего (10^{500}), но конечного числа.

Предполагается существование каналов коммуникаций между различными вселенными.

Среди нескольких моделей многомирной гипервселенной одна из наиболее плодотворных была предложена в 50-х годах физиком из Принстонского университета Хью Эвереттом. Его модель существования множества параллельных вселенных с идентичными физическими законами базируется на многомирной интерпретации квантовой механики, противоречащей взгляду Копенгагенской школы.

В соответствии с интерпретацией Копенгагенской школы в процессе измерения параметров элементарной частицы, где бы во вселенной она не находилась, она мгновенно втягивается в точку измерения. Такой подход приводит к противointуитивному заключению о том, что для того чтобы прибыть в точку измерения в момент измерения из любой сколь не было далекой области вселенной частица должна двигаться со скоростью, превосходящей скорость света. Это неизбежно ведет к заключению, что следствие может опережать причину,

поскольку скорость света, как предельная в природе определяет причинно-следственную последовательность.

Теория Эверетта предполагает, что существует множество вселенных и каждая частица (как и каждый объект или событие) существует одновременно в них всех. Проблема состоит в том, что наши измерения обнаруживают ее лишь в одной из вселенных.

Более того, каждый измерительный процесс, включающий три взаимодействующих и изменяющихся в ходе измерения объекта – частицу, инструмент и наблюдателя – вызывает «разветвление» параллельных вселенных в гипер-вселенной.

Хотя общими для обеих форм метафизики (теологической и философской) является концепт одномоментности эпизода возникновения вселенной и возникновения живого на Земле, теологическая метафизика игнорирует эволюцию, как космоса, так и биосферы нашей планеты и рассматривает вселенную как неизменяющую систему, не выделяя ни возникновение в ней эволюционирующей живой клетки на безжизненной материи планеты, ни появление человеческого сознания у неразумного гуманоида.

Научная метафизика основывается на динамическом изменении космического пространства и постепенном развитии живой клетки как биологической сингулярности, происхождение которой неизвестно. Она не предлагает концепций, объясняющих структуру реальности, предшествующей возникновению вселенной, причины и цели ее возникновения и положение в ней мыслящего существа.

Она лишь делает предсказания, касающиеся продолжительности существования солнечной системы.

Коллапс Солнца, достигшего в наше время середины своего энергетического цикла, ожидается через 5 миллиардов лет. С остыванием Солнца в результате радиации, давление, вызванное высокой температурой, падает и в силу гравитации атомы водорода сжимаются, сплавляются и превращаются в гелий, а с дальнейшим понижением температуры гравитация сплавляет атомы

гелия, превращая их в углерод. Сначала Звезда увеличивается в объеме, превращаясь в небулу. Процесс завершится сокращением объема звезды, превращением ее в белый карлик или в нейтронную звезду, образованную нейтронами, образовавшимися в результате гравитации путем сплавления протонов с электронами.

Температура на Земле сравняется с космической и жизнь остановится.

Продолжение существования живой и, особенно, мыслящей материи зависит от успехов человечества в освоении космоса в течение жизни солнечной системы. Ответственность за выживания людей лежит на них самих.



Ирья Хиива

Ночные разговоры



Мишки умер дядя. Хотя вообще-то адвокат Краснопольский не приходился ему никаким родственником, поскольку был лишь мужем троюродной сестры Мишкиной матери тети Эстер, с которой давным-давно разошелся. Мишка уже и не помнит, когда он был его дядей. Мы получили комнату по реабилитации моих родителей, для нормальной семейной жизни нам пришлось кстати мебель и всякие хозяйственные предметы умершего, у которого было много всякого добра. Конечно, вещи получше разобрали бывшие жены и их более близкие родственники. То, что уже никому из них не понадобилось – досталось нам.

Мне запомнился тот вечер, когда у нас все это добро оказалось. Я сердилась на Мишку, который без меня ушел к Джону в больницу. Он приехал под вечер на грузовике, в котором было полно всего, с чего такие, как мы, если повезет, начинают новую жизнь. Мы заметили: все вещи в нашу восемнадцатиметровую комнату не войдут. Я предложила Мишке отвезти то, что нам не нужно, на той же машине к моей тете за город. Она тоже начинала новую жизнь после реабилитации.

Даже в летние месяцы в Ленинграде мало настоящего теплых вечеров, когда можно выйти на улицу в одном платье. Но если уж такой вечер выпадет, на Невском народу, как в часы пик, с той лишь разницей, – никто не торопится, идут себе спокойно, под ручку, лишь изредка сквозь толпу, лавируя между гуляющими, пробивается какой-нибудь бледнолицый тип, который своими длинными, как хлысты, руками больно задевает нас, мирно

наслаждающихся этим редким удовольствием.

Я два раза в жизни видела Краснопольского, оба раза в такой вот теплый вечер на Невском. У нас с Мишкой тогда еще не было своего жилья, мы снимали комнату в громадной коммунальной квартире с длинным-предлинным коридором, который поворачивался буквой «Г» к местам общего пользования. Дверь в нашу комнату из коридора была фанерная, внизу под дверью была щель. Когда дети играли в мяч или ездили на самокате по коридору, особенно после работы, когда хотелось прилечь отдохнуть, получалось, будто они стучат этим мячом по голове. Или еще хуже: когда они начинали ездить на самокате, казалось, – они катятся по всему телу с ног до головы, на голове со скрежетом разворачиваются и снова...

Поужинав и уложив детей, наши соседи дружно садились за телевизоры. После телепередачи выходили в кухню и, обменявшись впечатлениями, ложились спать.

В последнее время к нам на квартиру стал приходиться Виктор Борисович, сын нашей соседки Марии Лукиничны (иногда его приводили дружки). Комната ее была рядом с нашей, слева. Когда-то наши комнаты были одной большой комнатой, метров тридцать, в ней Мария Лукинична жила с мужем и детьми. Муж умер, дочка вышла замуж за парня с комнатой. Мария Лукинична осталась жить в большой комнате с сыном Виктором. Он сильно пил, как рассказала мне соседка Люба, мать сама нашла ему невесту, думала: женится – образумится. Он и правда первое время пил только по выходным, но вскоре все пошло по-старому. Его за какую-то махинацию на колбасной фабрике, где он в то время работал, посадили, Мария Лукинична осталась жить в одной комнате с невесткой и маленькой внучкой. Тогда-то она и разделила комнату на две части, но жить, даже рядом, по соседству, с этой дурындой, как она называла свою невестку, Мария Лукинична не могла. Она сама обменяла комнату невестки на двенадцатиметровую комнатку на Васильевском острове. В комнату невестки въехала пожилая интеллигентная женщина, которая обрабатывала народные сказки для детей. У нее была соавторша, проживавшая здесь, в центре. Сочиняя, они часто засиживались до

полуночи, это было неудобно, поскольку у соавторши тоже была коммунальная квартира, к тому же там жила известная в писательских кругах матерщинница, старуха Кулишиха, прекрасная переводчица французских романов на русский язык. Эта самая Кулишиха устраивала скандалы соавторам, в основном из-за телефона, который действительно, находился возле самой Кулишихиной двери. Для нашей хозяйки, когда она, увлекшись, засиживалась до полуночи, приходилось вызывать такси. Кулишиха, конечно, тоже не спала, занимаясь, переводами романов, но она громко кричала, что у нее чуткий сон и эти стрекотухи-сочинительницы нарочно не дают ей спать. Наша хозяйка частенько была вынуждена оставаться там ночевать. Это было неудобно, поскольку, у ее напарницы был сын – студент; он спал за ширмой в той же комнате. Ему надо было рано вставать в институт, у нашей хозяйки на самом деле был чуткий сон. Вот она и поменяла свою комнатку в чудной маленькой квартирке сюда, в центр, чтобы добираться до работы, то есть до своей соавторши, пешком. Но к ее счастью, в той же квартире, где жила ее соавторша, появилась комната, владелица которой на время переехала к дочке понянчить народившегося внука; свою же комнату она стала сдавать. Наша хозяйка тут же решила сдать свою комнату, за ту же тридцатку, которую ей платили мы, устроив жизнь свою более удобно. Хотя она и побаивалась лишний раз выйти в коридор, дабы не попасть на глаза Кулишихе – все же она проживала там нелегально, без прописки – да и от матерных слов у нее дрожали колени: все валится из рук, жаловалась она.

В нашей квартире, самой близкой к нам соседкой оказалась Мария Лукинична; у нее, как впрочем, у большинства соседей по квартире, был телевизор. К нашему счастью, она его мало включала, если и включала, то чтобы поговорить с ним. Громко и с энтузиазмом она разговаривала с телевизором, когда дикторы сообщали о достижениях науки и техники, особенно, когда шла речь о сельскохозяйственных успехах. Как-то раз, я зашла к ней в тот момент, когда она беседовала со своим телевизором. Она сидела на маленькой скамеечке перед экраном, выставив

вперед свои толстые ноги в войлочных сапожках с меховой опушкой. Обращаясь к диктору, она громко стыдила его: – Ты что врешь, нахал! Сам бы туда отправился, в Псковскую область, я бы на тебя поглядела! Ишь, бесстыдник, заливаает, прямо, что наша Катерина. Так та же свихнувшаяся – этот вон молоденький, рожа, что помидорчик, – повернулась она ко мне, махнув рукой на телевизор, выключила его, бубня себе под нос: – За дураков всех что ли считают? Дураки и есть, глядят, разинув рты, на экраны чуть ли не весь город. И все-таки она тоже включала телевизор каждый вечер, усаживалась на табуретик перед экраном поговорить. Всегда это кончалось одинаково: поговорив с телевизором, махнув на него рукой, выключала его, бубня ругательства – шла на кухню побеседовать о чем-нибудь более насущном.

Завершив свои вечерние дела на кухне и обсудив телепередачи, соседи расходились по комнатам. Возвращалась к себе и Мария Лукинична. Громко вздыхая, она забиралась на свою высокую со скрипучими пружинами, с большой пуховой периной и никелированными шарами кровать. В постели она вспоминала про свою вставную челюсть, спустившись с постели, шлепала босиком по полу и, как последний аккорд, следовал легкий звенящий звук погрузившейся на дно эмалированной кружки челюсти. В комнате наступало царство сна.

В то лето, когда начались наши ночные разговоры, мне кажется, они потому и начались, что наш мирный сон стал нарушаться частыми появлениями Виктора Борисовича, сына Марии Лукиничны. Любопытно, что бы ни происходило в нашей квартире ночью, она утром на кухне обычно говорила: – Я ничего не слышала. Но как только раздавались три звонка в парадную дверь, Мария Лукинична в длинной рубашке, босиком, с распущенными волосами неслась по коридору, приговаривая:

– Ах ты, пьяный черт, наказание мое, шел бы к себе домой, за что меня, старуху, мучаешь? Я что мало от тебя имела!

Она открывала дверь, вставала у порога с раздвинутыми руками:

– Не пушу! Пусть Катерина Александровна милицию

вызывает!

Виктор Борисович, если он твердо стоял на ногах, спокойно отодвигал ее руки, проходил к ней в комнату. В случаях, когда его приводили дружки, если он терял способность самостоятельно передвигаться, мать, открыв парадную дверь в квартиру, быстро убиралась в свою комнату, запирала на ключ и оттуда твердила:

– Уведите, откуда привели. Не пушу!

В таких случаях было совсем худо. Дружки укладывали его в коридор возле нашей двери. Его частенько мутило, он издавал отвратительные звуки. Да к тому же, эта наша старая большевичка, Екатерина Александровна, строго следила, чтобы в коридоре ночью был выключен свет, дабы не разбазаривать государственное добро. Часто люди, в темноте добираясь до выключателя, наталкивались на спящего возле стенки Виктора Борисовича. Его вообще-то можно было отнести к категории тихих пьяных. Он никогда без причины худого слова не скажет. Наоборот, у него в кармане всегда был замусоленный кулечек с конфетами, которыми он с виновато-простодушной улыбкой пытался угостить детей. Ежели на него натыкались и будили, он спросонья матюгался так, что наши люди просыпались. Они утром по этому поводу тихо возмущались, а Екатерина Александровна обычно громко изрекала:

– Я должна этому безобразию положить конец! В следующий раз я непременно вызову милиционера (при этом слово «милиционер» она произносила с «э» обратным). Все мы во время ее монологов молчали, понимая, что никуда она не заявит и никакого милиционера не вызовет, поскольку у нее, как она часто говорила, были отморожены ноги на фронтах Гражданской войны. Она действительно уже несколько месяцев не выходила на улицу. Мария Лукинична убирала за пятерку вместо нее места общего пользования; к православным праздникам и к праздникам красного календаря она пекла большевичке пирожки.

Приводом милиционера угрожали и другие жильцы, но Мария Лукинична каким-то образом умела утихомиривать всех нас. Как-то раз Виктор Борисович

сделал лужицу возле нашей двери, и она протекла к нам в комнату. Я, конечно, вынуждена была сказать ей об этом, но Мария Лукинична спокойно и просто произнесла: – Подумаешь интеллигентка, возьми тряпку – вытри. Меня это тогда очень возмутило, я тоже что-то промямлила про милиционера, – она даже не взглянула в мою сторону, а ловко, с хрустом продолжала нарезать большим кухонным ножом на ломтики красную свеклу для борща, твердо стоя на широко расставленных, как опорные столбы, ногах. Она чувствовала: я в милицию без особой надобности не пойду. Да и сама Мария Лукинична, когда возникали в квартире острые ситуации и упоминался в виде угрозы милиционер, бормотала про себя:

– Чтоб за милиционером – до такого бесчувствия не каждый дойдет – самим надо справляться!

Все эти несложные квартирные ситуации иногда наводили меня на мысль: к этой коммунальной жизни мы присуждены за чьи-то грехи, большинство из нас никакой другой жизни и не знало, и ничего более приличного вообразить не могло. Все понимали: какая-нибудь другая жизнь, если и есть, так это в кино или романах. Ну, если кто помнил что-нибудь другое, так то другое было, как правило, хуже: голод, 37-й год, война, блокада, эвакуация, где жили в одной комнате по несколько семейств. Если бывало кто из хозяек, ожидавших гостей, жаловался – могли бы хоть к праздничку «выбросить» дешевых уток, курочек; судачков-то уж давно не видывали – порой в таких случаях возникала политическая беседа. Начиналась она с фразы: «Лишь бы небо чистое», затем поминались фашисты, которых полно в ФРГ, американские агрессоры, которые только и ждут, чтобы захватить нас. В общем, получалось: того и гляди, и это отберут. Мне начинало казаться: покой нам дороже любой истины, может случиться, все обернется чем-нибудь похуже. Все это, видимо, чувствуют. Да и неважно, кто нападет, откуда будет нападение – просто уже ничего не надо, разве что курочек и рыбки к празднику.

Мария Лукинична никогда не принимала участия в разговорах об агрессорах, наверное, слова-то такого не знала, бояться ей их было ни к чему. Мой стол на кухне

стоял рядом со столом молоденькой, очень современной инженершвы – Элеоноры Павловны. Занимаясь кухонными делами, она заводила разговоры об искусстве, о кинофильмах, иногда звала меня зайти к ней в комнату, посмотреть на новую красивую тряпку, приобретенную у приятельницы, муж которой ездил в загранику.

Как-то я, решив позабавить Элеонору, рассказала ей о забавных беседах Марий Лукиничны с телевизором. Она ответила мне совершенно серьезно:

– Что Вы хотите, она бабка старорежимная, с пережитками.

Возвращаясь по нашему длинному Г-образному коридору к себе в комнату, я размышляла: – Эта особа может далеко пойти. Такая молоденькая и так заштампована, наверно отличницей была. Надо бы не разговаривать с ней, но наши столы рядом... Хоть бы я сама и не начинала этих дурацких разговоров, беседовать надо: о тряпках, о супе, о чем-нибудь насущном... К тому же, нынче напала на всех, имеющих дипломы об окончании высших учебных заведений, что-то вроде эпидемии – любовь к разговорам о современном искусстве. Может, это только со мной они так? Все, с кем я мало-мальски знакома, знают: я работаю в музее, следовательно, именно со мной должно быть интересно поговорить об искусстве... Спросить бы у мужа Милочки Аране, есть ли у него в клинике психи, угодившие туда за разговоры об искусстве?

Все важные события, о которых говорили по радио, писали в газетах, демонстрировали по телевизору, обсуждались и обитателями нашей коммуналки. У нас беседа обычно начиналась со вступительной фразы о каком-нибудь продукте, который раньше был – теперь исчез, кончалось это все философским обобщением. Вроде: теперь нет войны, все сыты и будьте довольны.

В общем-то, мы и довольны, только иногда было шумно; мы с Мишкой в такие вечера пытались уйти куда-нибудь из дома. Но погода в то лето была, как назло, холодная – пришлось пересмотреть множество фильмов, которых при прочих обстоятельствах никогда бы не

увидели. Еще в то лето мы пристрастились ходить в гости, особенно Мишка. Он до сих пор не может прожить недели, чтоб не сходить пару раз к кому-нибудь на вечерок.

Чаше всего мы бывали у Джона. Он жил один, несмотря на свое иностранное имя, был русским, просто у него была идейная мама – она как и многие другие идейные родители, дала сыну имя со значением. Тогда, в тридцатые годы, все идейные строители нового общества называли своих детей в честь кого-нибудь или чего-нибудь. Девочек называли Сталинами, Владиленами, Виленами или просто Ленúнами, мальчикам частенько давали имена, связанные с металлическими механизмами. Так, в те годы, родившийся мальчик, мог получить имя Трактор, в честь выпуска первого в пролетарской республике трактора, были и Аэростаты, даже Рычагом был назван человек. Наш близкий друг получил имя Радий – в ознаменование удачно проведенного опыта с элементом радием. Были имена и посложнее, которые требуют некоторой расшифровки: например, имя Рэмо означает: революция, электрификация, мировой октябрь. Довольно распространенное имя Ким состоит из двух нерусских и одного исконно русского слова: коммунистический интернационал молодежи. Знакомая мне девочка с именем Рэмо, как только осознала себя человеком, переименовала себя в Римму, мальчик Трактор в раннем детстве потребовал от родителей переименовать себя по-человечески.

В то прохладное лето, мы часто ходили в гости к Джону. Я не знаю, каким был тот Джон, написавший знаменитую книгу о десяти днях, потрясших мир, в честь которого был назван наш Джон. Мы были уверены – наш друг был человеком одаренным, талантливым, умным. В те прохладные белые ночи он рассказывал нам о французском экзистенциализме, много говорил о судьбах и роли русской интеллигенции, говорил о недавно реабилитированной науке генетике, по которой получалось: у него с материнской стороны дурная наследственность, так как не только его мать была передовая и эмансипированная женщина со странным именем Маугли, но и бабка его по

матери так этим страдала, что даже ненадолго стала народным комиссаром здравоохранения всего Закавказья. Сошедший с ума ее муж – рассказывал Джон – родной дед его, ездил за женой-комиссаркой с топором, при этом почему-то кричал: – Я всего лишь простой профессор-биолог и не допущу кровосмесительства!

Про все эти дела он узнал от близкой подруги матери и очень разволновался. Кажется, именно тогда он начал изучать науку генетику, от которой он пришел в большое беспокойство. Какой-то умный человек посоветовал ему отыскать отца, но это дело оказалось не простым, – Маугли страстно желала быть свободной женщиной и, несмотря на любовь к отцу ее будущего ребенка, рассталась с ним, как только почувствовала себя беременной. Она без всякого мужского вмешательства хотела вырастить и воспитать его. Так, во всяком случае, рассказывал о своем рождении Джон.

Бедному Джону пришлось в поисках отца, обойти всех мужчин, которых когда-либо знала его покойная мать. Нашелся человек по фамилии Коробов, про которого Джон говорил: – Не может быть, чтоб я так был похож на постороннего человека – ну просто одно лицо. Найденный "отец" был главным инженером большого завода. Выслушав «сына», он будто бы испугался и предложил денег, что убедило Джона – инженер Коробов непременно его отец. Во всяком случае, на этом иссяк его интерес к мужчинам, с которыми была знакома мать. В день рождения он подарил Мишке пушистого сибирского котенка со словами: – Не забывай иногда его погладить, помни: он тоже сын благородной кошки Муськи и солдата Степанова.

Мне казалось: Джон прожил бы еще много спокойных лет, если бы не занялся литературой, вернее, если бы о нем не заговорили знаменитые критики и писатели – лауреаты сталинских, ленинских и государственных премий. Правда, кто-то пустил слух: печатать его не будут, чутье у кого-то верное было. Джон расстраивался, жаловался, говорил, не может жить...

Действительно, через пару лет, после того, как о нем заговорили в литературных кругах, он разбил себе голову о стенку на станции метро "Маяковская» и попал на несколько

месяцев в больницу для душевнобольных с диагнозом – шизофрения. После больницы, он еще пытался жить, ходил по редакциям, сочинял серьезные письма, которые зачитывал нам и нескольким другим его слушателям, прежде чем отослать их очередному адресату. Чаще он писал в них о природе творчества. Ему казалось: творчество – выход из строя, прорыв. Он уверял нас: все они, эти профессора и редакторы, все понимают, а если понимают – должны...

Выйдя из его крохотной комнатки на улицу, мы пускались обсуждать эту бескомпромиссную позицию Джона. Конечно же он прав, но у тех – семьи; он же вырос в детском доме и никакой собственности у него никогда не было. Допустим, из-за Джона кого-нибудь уволят, что изменится? На место уволенного, возьмут другого, пример предшественника будет для него прекрасным напоминанием, как не надо делать, в этом вот вся наша жизнь.

Джон двигался в одиночку к станции метро "Маяковская". Мы с Мишкой даже как бы радовались: не нам адресованы его разоблачительно-обвиняющие письма – не нас он зовет на прорыв. Мы, к счастью, никаких таких мест не занимали.

Один из вечеров я запомнила с множеством разных подробностей, позже этот вечер стал мне казаться началом того страшного пути, который привел его так быстро к станции метро.

До нас дошла новость: в магазинах стали продавать вещи в кредит, прямо, как за границей. Мы тут же решили купить одеяло и несколько простыней: если у нас останется кто-нибудь ночевать, будет, чем укрыться. Мы отправились в ДЛТ за простынями и одеялом, деньги за покупки будут высчитывать прямо с зарплаты. Приобретенья нам удалось оформить быстро, Мишка предложил зайти к Джону – раз уж мы так близко от его дома. Джон, действительно, жил в пяти минутах от магазина.

Чем выше мы поднимались по узкой, крутой лестнице черного хода, тем яснее был слышен голос Джона; дверь его комнаты была явно открыта. Я сказала Мишке:

– У него много народу, он всегда открывает дверь, когда к нему приходят.

Жил Джон в кладовке бывшей барской квартиры. В самой квартире было десять комнат, все жильцы пользовались парадной лестницей, а к Джону можно было пройти, как в отдельную квартиру, не попадаясь на глаза соседям.

Поднимаясь по крутой лестнице черного входа, мы увидели клубы синего дыма, выходявшие из его комнаты, будто там наверху, на пятом этаже, топилась по-черному баня. Мы вошли, остановились возле двери. На постели, на двух табуретках, на полу сидели люди. Джон, стоя посреди комнаты, размахивая руками, кричал:

– Здесь все живое давно убито. Я должен жить среди этих мертвецов!

Все молчали. Мне казалось, Джон нас не заметил. Но внезапно он обратился к нам и своим приятным мягким голосом рассказал (видимо, сегодня уже не в первый раз), что утром сходил в редакцию, где до сегодняшнего дня лелеяли надежду: рукописи будут напечатаны. Собраны прекрасные отзывы, теперь только все зависит от очень порядочной и хорошей писательницы, лауреата всех премий, которая его ценит. Она несколько раз высказывалась о нем в печати и по радио, даже по телевизору. Ей-то и решил хитроумный редактор издательства, тоже ценя замечательные рукописи Джона, передать их на редактуру, чтобы она несла за них ответственность. Если что-нибудь будет не так – с нее взятки гладки. Она нигде не служит, казалось бы, уволить ее неоткуда. Но у нее оказались какие-то свои интересы, она конечно разгадала план редактора и вышла из положения с изяществом опытного дипломата:

– Кто я, чтобы прикасаться к рукописям человека, который талантливей меня, – сказала она, возвращая рукописи в редакцию.

Джон, дойдя до этого места своего повествования, начал громко кричать, волноваться. От крика кожа на его лице показалась на миг клочком смятой пожелтевшей бумаги. Он внезапно смолк. С пола поднялся Ванечка, растирая затекшие ноги, произнес: – Да, человеку надо было

совершить не очень большой гражданский акт... Он хотел еще что-то добавить, но Джон, как бы не заметив его слов, продолжал. Ему передали ее разговор с одним из старых друзей, перед которым она, оправдывалась: на подвиги она не способна, что же касается ее гражданского долга – она всегда стремилась к отражению правды в своем творчестве. И, как ни странно, – проговорил Джон, – я верю ей, у нее особый дар, она так развилась – видит в жизни то, что может пройти цензуру.

Ночью, когда все разошлись, Джон достал с полки между двойной дверью бывшего черного хода баночки с едой и бутылочку со спиртом. Спирт ему приносил его друг-химик, тоже, как и Джон, «одарик» – так они называли друг друга. (Оба они провели детство в детдоме для особо одаренных детей). В бутылку Джон набросал сушеных апельсиновых корок, каких-то специй, добавил кипяченой воды, настоял; из спирта получилась у него «чудесная настойка с витаминчиками». Пока он бегал от двери к столу, доставая все что у него там было, я переложила его бумажки со стола на постель, стараясь не перепутать. Пишущую машинку я поставила под кровать. Мишка открыл консервную банку с бычками в томатном соусе, нарезал хлеб, расставил все это на столе. Втроем за разговорами мы выпили настойку, съели его припасы, у меня неудержимо начала клониться голова, закрывались глаза. Джон, взглянув на меня, вспомнил – у него на кухне заваривается чай. Осторожно, чтобы не скрипнула дверь, вышел, принес чайник, мы попили крепкого чайку, приободрившись, с тюком, в котором били купленные днем одеяло и простыни, отправились домой. Был четвертый час утра. После темной лестницы ясный свет слепил глаза, от холодного свежего воздуха начало лихорадить. Мы ускорили шаги, на канале Грибоедова Мишка предложил пойти к Неве, мы свернули налево. Перед нами возникли освещенные розовато-оранжевыми лучами утреннего солнца золотые луковки Храма на Крови. На само же здании падали длинные тени деревьев Михайловского сада. Поровнявшись с храмом, мы увидели женщину, стоящую на коленях перед мозаичным распятием. Мы приостановились, она целовала

свою руку, вытягиваясь пыталась ею достать до ног Христа, затем низко кланялась, касаясь лбом земли. Я тихо сказала:

– Интересно бы знать, о чем она просит Бога?

Мишка, зевнув, произнес:

– Тоже надеется на прекрасное будущее. Может, сумасшедшая: чего бы ей ночью тут...

– Мы здесь тоже ночью, – пробубнила я.

Дальше мы шли молча по направлению к Летнему саду по берегу Невы. Всю дорогу я думала: – А что если у меня будет мальчик? И вообще уже надо бы сказать Мишке. Мы спустились по гранитным ступенькам к воде, на дне шевелились мохнатые темно-зеленые водоросли. Я наклонилась, потрогала рукой воду, она была холодная, меня передернуло, подошла к Мишке. Он сидел на ступеньке, положив под себя тюк с одеялом. Я положила ему руку на плечо:

– Мне кажется странным – мы меньше года знаем друг друга. И добавила: скоро нас будет трое. Мишка обнял мои ноги, поднялся, поцеловал меня и закурил, – я потянулась за сигаретой, он отвел мою руку и назидательным тоном проговорил:

– Надо будет отвыкать. Тебе не трудно будет, ты куришь не очень много. Я попросила дать мне спокойно выкурить последнюю сигарету. Мы решили: скорей всего, будет девочка; начали рассуждать, на кого она будет похожа, у нас получалось – она непременно будет красивая; если же будет мальчик, совершенно непонятно, что из него может получиться – так трудно стать мужчиной в наше время...

Мимо черных силуэтов поднятых мостов по розовой зеркальной воде медленно и бесшумно плыли большие белые корабли с гирляндами зажженных лампочек – послезавтра День военно-морского флота. Мишка прокомментировал:

– К празднику готовятся, днем толчея здесь будет.

В тот вечер, когда я впервые увидела Мишкиного дядю Краснопольского, мы вышли на улицу раньше обычного. В магазинах исчезло мясо. Можно бы на это

время стать вегетарианцами. Но нам казалось: мясо обязательно должно быть в магазинах, чтобы по каким-нибудь идейным или этическим соображениям от него отказаться. Получалось опять не по убеждению, а по принуждению. Овощи и фрукты тоже не очень-то достанешь, к тому же их долго чистить, придется дольше на кухне торчать. В общем, это не для нас, простых советских граждан переходного периода.

Обо всем этом мы рассуждали, двигаясь по Невскому, перебирая места, где можно было недорого поесть что-нибудь мясное. Перед нами так же медленно шел высокий гражданин в чесучовом летнем костюме, несколько театрально размахивая сучковатой полированной палкой с серебряным набалдашником. Мишка заметил, что я рассматриваю идущего перед нами человека, наклонился ко мне и шепнул:

– Хочешь, я тебя познакомлю с ним?

Я отказалась: не знаю, о чем с ним говорить.

Мы пошли побыстрее. Обгоняя его, я увидела профиль: голова была чуть откинута назад, клинышек бородки был острым, на крупном носу он гордо нес большие, вошедшие недавно в моду очки в тяжелой роговой оправе. Его можно было принять за не разгримировавшегося актера. Он не заметил Мишку, поскольку смотрел далеко вперед, никого и ничего не замечая. Обгнав его, Мишка шепнул:

– Этот человек когда-то спас меня.

Я оглянулась назад: – От чего он тебя спас?

– Это длинная история.

Мы зашли в пельменную – там было битком народу. Мишка предложил пойти в ресторан «Чайка» на канале Грибоедова. Мы направились в сторону Адмиралтейства.

В крохотной прихожей «Чайки» стояло человек пять-шесть в ожидания столиков. Мы спросили, кто последний, встали возле открытой двери. Мишка прислонился к косяку, закурил. Взглянув на меня, скрылся за дверью туалета.

Ресторан этот в подвале. Если встать у двери, видны лишь ноги прохожих.

Когда-то в детстве я жила с мамой в подвале. Мне вспомнилось: я подолгу просиживала у окна и рассматривала идущие по асфальту ноги.

Возле самой лестницы в ресторан, остановились две пары ног, переминаясь, они поворачивались то в сторону Невского, то к входу в ресторан. Наконец на верхнюю ступеньку ступила вначале одна, затем вторая женская ножка в узконосых туфельках на шпильке. За ними осторожно, по-стариковски, спускались мужские, обутые в желтые летние туфли. Рядом с ними встала сучковатая полированная палка. Со скрипом открылась дверь туалета, я оглянулась – это был не Мишка. Я повернулась обратно: передо мной стоял Краснопольский с дамой, одетой в обтягивающее ее полноватые формы синее летнее платье в мелкий горошек с большим вырезом на груди. Оглянувшись на своего спутника, она быстро проговорила: «Подожди секундочку», и, подойдя к зеркалу, оглядела себя, потыкала своими пухленькими белыми пальчиками с ярким маникюром в высокую прическу. Не обращая внимания на очередь, они направились в зал. Стоявший впереди молодой человек завозражал: сейчас его очередь, он перед собой никого не пропустит. Ни Краснопольский, ни его дама, не взглянув на него, с достоинством двинулись вперед. Возражавший бросился за ними вдогонку. К разволновавшемуся человеку подошел метрдотель и объяснил: – товарищ заказал себе место утром по телефону. Парень пробурчал:

– Никогда не слышал, чтобы места в ресторане заказывали по телефону, это проверить надо!

В этот момент освободилось несколько мест. Вся очередь бросилась в зал, оставив метрдотеля в прихожей. Я заняла два стула, на один села, второй придвинула к себе поближе и положила на него сумочку, чтобы никто не сел. Пришел Мишка, мы начали изучать меню, прикидывать свои возможности. Подошла официантка, убрала грязную посуду и надолго исчезла. Чтение меню распалило наши аппетиты и несколько ухудшило настроение. Появилась официантка. Расставив приборы, приняв заказ, опять надолго ушла. Мы молча продолжали крутить в руках ножи

и вилки. Наконец, она появилась с нашими половинками солянки. Доев первое, мы одновременно вздохнули. Тут подбежала наша официантка, сунув нам под нос тарелки с пожарскими котлетами, убежала, шевелия ягодицами, обтянутыми узкой черной юбкой. Покончив с котлетами и выпив нарзан, мы устало откинулись на бархатную спинку дивана. Мимо нас прошел Краснопольский со своей дамой. Мне ужасно захотелось узнать, что у Мишки могло быть с этим странным старомодным человеком.— Слушай, расскажи, что у тебя с ним?

– Потом. Не здесь.

Хотелось еще посидеть, отдохнуть, но из вестибюльчика на нас смотрели выразительные глаза голодных. Нам пришлось отправиться. Поднимаясь по крутой лестнице из «Чайки» на улицу, я почувствовала, будто к моим ногам подвесили чугунные утюги. По улице я тащилась, тяжело опираясь на Мишкину руку. Придя домой, бухнулась на тахту и тут же заснула.

Проснулась я от сильного сквозняка. Мишка вышел куда-то, плохо закрыв дверь, окно он в последнее время не закрывал даже на ночь – для свежего воздуха. Мне что-то интересное снилось.

Сперва я будто очутилась на улице, ведущей к площади Труда. Навстречу шел трамвай, там по обеим сторонам сплошные красные кирпичные стены морских казарм. Действительно, если идти по этой улице, когда идет трамвай, от грохота может заболеть голова. Мне показалось: у меня болела голова. Я чуть пошевелилась – сильно кольнуло в висок. Видимо дети опять ездили на самокате по коридору. Я вытянулась, легла поудобнее, вспомнила: сон был цветной. Прежде чем появился трамвай, по улице бежала без хозяина ярко малинового цвета болонка. Пробегая мимо, она, как человек, посмотрела на меня. У нее были удивительно чистые голубые глаза. Я держала в руке черную кожаную сумку. Появился трамвай, я бросила сумку на рельсы, чтобы колеса проехали по ней – хоть бы на миг перестало грохотать. Вспомнила: у меня в сумке паспорт – я бросилась на рельсы, выхватила сумку из-под колес. Каким-то образом оказалась между колесами трамвая. Я поднялась.

Была полная тишина. Собачка исчезла. Ветер крутил песок на улице. На площади Труда я собиралась сесть на пятый троллейбус. Было какое-то непонятное время суток, небо было голубое, чистое, солнце не светило, на улице не было ни людей, ни транспорта. Была странная, легкая пустота. Я стояла на троллейбусной остановке, смотрела на большой желтый дом напротив. На одном из подоконников первого этажа, рядом с большими зелеными листьями фикуса, сидела белая, пушистая сибирская кошка с большими зелеными глазами, взгляд ее глаз был такой же ясный и пустой, как у той малиновой собачки.

Кто же мне говорил, будто цветные сны снятся не то сумасшедшим, не то людям с неуравновешенной психикой? Мне они часто снятся.

Вошел Мишка, заметил, что я не сплю, предложил сварить кофе. Я спросила, был ли шум в коридоре?

– Ты же знаешь, в квартире остались одни старухи, все в отпуске.

Значит, шума не было – как жутко грохотал трамвай! – выходит, просто это мне приснилось.

– Слушай, – обратилась я к Мишке, – ты помнишь, кто это нам говорил про цветные сны, или мы где-то читали? – Будто они снятся сумасшедшим? Мишка ответил:

– Ничего подобного не слышал, все это чушь. Тут же попросил меня пересказать сон. (Он очень любит слушать сны. – А сам их не видит или не запоминает).

Мишка разлил кофе. В мою чашку он последнее время стал добавлять молоко. За столом я пересказала ему сон. Он в тот вечер начал свой рассказ про адвоката Краснопольского. Правда, начал он эту историю издалека.

Сначала он рассказал про своего отца, который в первой половине тридцатых годов был главным по культуре в городе Ленинграде, Краснопольский в те годы был его другом. Мишкиного отца посадили в тридцать четвертом. Оказалось, отцу просто повезло: его выпустили перед посадками тридцать седьмого года. Мишка сделал предположение: тогда освобождали помещения для более «важных преступников».

Мы просидели за столом, пока не привели Виктора

Борисовича. Он в тот вечер был сильно не в духе, уже в дверях, сильно заикаясь, повторял:

– Гелиотроп его в душу мать!

В тот вечер, когда Мишка начал рассказывать свои истории, Виктор Борисович никак не засыпал, он ворочался, громко икал, мычал что-то невнятное, лежа на своем обычном месте в коридоре. Мишка предложил пойти погулять. Мы вышли на Невский, он спросил, знаю ли я что-нибудь про «золотую лихорадку». Я ответила: был такой фильм у Чаплина, я его не видела. Он протянул:

– Да, действительно был такой смешной фильм. Это совершенно не про то и уж совсем не смешно. Он начал рассказывать, как ЧК выпаривала золото. По-моему, это называлось «золотухой», перебила я его. Мишка предложил пойти на улицу Дзержинского, посмотреть на дом, в котором он жил до войны. По дороге он пересказал мне содержание Чаплиновского фильма. Когда мы подошли к его дому, он указал на окна пятого этажа:

– Теперь посмотри на дом напротив. Видишь эти ворота? Вон туда входили с повестками. Тогда наша улица называлась Гороховой.

Я спросила у Мишки, не знает ли он, с какого года ЧК разместилась здесь, на Гороховой? Мишка подумал: в восемнадцатом, в девятнадцатом, здесь перебивали многие петербургские писатели, вплоть до Блока. Еще он рассказал, будто два человека, выслушав вопросы следователя, начали хохотать, это были писатель Замятии и тесть Краснопольского, отец Мишкиной тети Эстер. Хотя между этими допросами прошло пару лет, да и смех старика был, видимо, другой, он наслушался, чем тут занимаются. Замятину, этот визит помог разобраться в ситуации – он вовремя смотался за границу. Я сказала Мишке: никогда не слышала про такого писателя.

– Я тоже не читал его книжек, да и вообще у нас, наверно, мало кто читал, хотя, говорят, перевели его на разные языки и читают там. У отца моей тети Эстер, как говорил Краснопольский, эмгешные алхимики так «выпаривали» золото – он еле улицу перешел, в том же год и умер. Перед смертью он повторял: «Если бы они хоть

просто бандиты были, так можно было бы и откупиться – просто отдать им все. Этим покажи монетку – ты и буржуй, и вредитель, и саботажник – того и гляди, под расстрел поведут за свои же денежки».

Была полночь. Мы перешли улицу и вошли в ворота – теперь здесь обычный двор, в этом доме какие-то мастерские, может, наручники и кандалы куют? Дом, видимо, им принадлежит. Они свое хозяйство на Литейный переправили. Во дворе было темно и холодно. Мы вышли обратно на улицу, еще раз остановились: на грязновато-бежевом фасаде дома при сумрачном освещении резко выделялось большое белое пятно – мраморный барельеф Дзержинского. Мы отвернулись и молча направились в сторону Адмиралтейства – невольно приостановились – опять барельеф. На этот раз ничего особенного, просто в те же годы здесь жила знаменитая преподавательница балета Агриппина Ваганова. Прочли надпись, рассмотрели ее портрет и пошли дальше. Перед нами в нереальном освещении белой ночи неподвижно, как театральная декорация, стоял Александровский сад. Вошли в ворота, присели на сырую, холодную садовую скамейку. Мишка заговорил:

– Не знаю, кем бы я стал, если бы не было в моей жизни того года. Я многое знал, мне просто не хотелось слышать, о чем говорилось шепотом. В пятнадцать лет мне хотелось жить иначе, яснее что ли? Кончилась война, мы вернулись в Ленинград. В девятом классе меня выбрали секретарем школьной комсомольской организации. Я суетился, бегал, организовывал, может даже больше, чем это требовалось. Разговаривал с вышестоящими – доводил смысл разговоров до рядовых комсомольцев. Помню, мне было приятно чувство волнения, когда я стоял перед аудиторией. Это чувство делало мою речь взволнованно приподнятой. Меня прекрасно слушали и, странно, я бы сейчас – как бы мне ни захотелось вспомнить из тех речей хоть одно слово – ничего, кроме того состояния не могу припомнить. Правда, во мне довольно скоро возникло ощущение пустоты – чувство какой-то неполноценности,

что ли? У нас в школе было несколько человек, которые, как мне казалось, всячески избегали собраний, если и приходили, садились в последний ряд, пригнув головы к книжкам, которые обычно были у них на коленях. Вначале это меня раздражало, я постоянно их чувствовал в зале, уже не мог с прежней легкостью говорить. К тому же, среди них частенько сидел Марик Штейн, которого все считала самым умным у нас в школе. Кроме того, начались эти разговоры о технарях и гуманитариях – позже они стали называться «физиками и лириками». Мы спорили, кто важнее. Спорили, конечно, не на собраниях. Помню, я был за гуманитариев. Дело в том, что я писал отличные сочинения по литературе. Наш учитель зачитывал их перед классом, мне казалось, я буду писателем. Я завел блокнот, в который стал записывать понравившиеся мне мысли, пытался делать небольшие зарисовки характеров. Кое-что записал о Краснополяском, правда, под вымышленным именем.

В тот год вышло то постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором, как тебе известно, разнесли Ахматову и Зощенко. Я хорошо помню: мне хотелось услышать все, что говорилось по этому поводу; достал и прочитал несколько маленьких сборничков стихов Ахматовой. Разыскал и прочел много рассказов Зощенко. Вчитывался в Постановление, мне казалось, может быть и не надо было писать про всех этих людишек из коммуналок, хотя, когда читал, мне было очень смешно. Таких надо перевоспитать – думал я тогда: советская власть всего-то существует неполных тридцать лет. Про Ахматову я как-то не очень понял. Стихи мне ее нравились.

Видишь, – сказал Мишка, – какая убогая картинка получается, когда начинаешь пересказывать ту жизнь. Но ни у меня, ни у кого из моих товарищей, никакой другой жизни не было – вот такое своеобразное духовное существование.

В послевоенные годы, когда прошло напряжение первых военных лет, показалось: у нас есть будущее, мы, мальчишки десятого класса, просто должны подготовить себя к новой интересной жизни. Начать мы решили с изучения классической философии, долго спорили, с кого

начать? Я с моим другом Олегом в сентябре записался на лекции по истории западноевропейского искусства в Эрмитаж. Там начали с античности – мы и предложили начать с Аристотеля и Платона.

Но Марик возразил: нам сейчас важнее начать с немцев, мы закопаемся в древность и никогда не доберемся до сути дела. Новую-то философию кто начал? – И сам же ответил: Кант, с Канта надо начинать.

Ему возразил Герка: это в общем-то тоже старо. – Нам надо разобраться во многих современных явлениях, в том числе в природе фашизма, мы ведь не раз слышали: "один Гитлер ни при чём". Мы решили собраться и на первом нашем заседании обсудить, с чего начать.

Как сейчас помню ту вторую послевоенную осень. Стояла спокойная, теплая погода, ветры еще не сдули с деревьев разноцветных листьев, не все дачники вернулись в город, те же, которые должны были выйти на работу, ездили по воскресеньям загород, посидеть у моря или пособирать грибов. Хотелось на время забыться, стряхнуть паутину навязчивых мыслей, подышать легким, прозрачным воздухом бабьего лета. Насладиться мгновением, стряхнуть тяжесть недавних утрат, которая ноющей грустью спадала с сердца, уводила в воспоминания о тех немногих счастливых днях, которые были когда-то давно.

Наш город и сейчас еще печален, ты присмотришься к лицам, прислушайся... Тогда, после войны, те, кто остался жив, ходили в отрепьях темного цвета, будто носили траур по умершим. Ленинградцы одевались – тщательно скрывая прорехи, как это обычно делают бедняки. Нам же, ученикам десятого класса, хотелось сбросить эту давящую печаль нашего города, в нас были развиты инстинкты самосохранения. Не припомню, чтоб кто-нибудь из ребят хоть раз упомянул об этом постановлении. Никогда мы, в наших разговорах, не упоминали имен Зощенко и Ахматовой. По радио и в газетах в том году, только и толковали об этом.

Мы собрались у Сашки Нефедова, его отец был генералом, у него была отдельная квартира, родители его тоже уезжали по воскресеньям на дачу.

Пришло нас семь человек. Герка принес какую-то толстую книгу и объяснил:

– Это дореволюционная энциклопедия, у нас все тома есть, но дед не разрешает выносить их из дома. Я утащил вот этот том – тут статья про Канта, правда жутко трудная, я мало что понял. Попробуем?

– Надо будет найти словарь иностранных слов, – сказал Ким. – А вообще не надо никаких статей, с первоисточников начнем.

Я, помню, попросил посмотреть, кто эту статью написал. Герка открыл книгу, прочитал: «Вл. Соловьев». Вдруг Костя Афанасьев, сидевший все время молча, в черном глубоком кожаном кресле, протянул:

– Интересно, надо будет прочесть статью. Владимир Соловьев – поэт и русский религиозный философ.

Он хотел еще что-то добавить, его перебил Марик Штейн, он почему-то заорал, будто кто-то спорил с ним:

– Мы что базарить сюда пришли? Давай Герка читай! Надо прочесть, там разберемся: подходит это нам или нет?

Герка читал громко, внятно; вскоре все явно заскучили, начали крутиться, я увидел на столе толстый однотомник Маяковского, стал листать его. Марик все это время сосредоточенно ковырял спичкой в щели подоконника. Вдруг он весь покраснел, встал и прокричал:

– Вам чью-нибудь бабушку надо пригласить, чтобы она вам сказки рассказывала, не про философию Канта читать! Он энергичным шагом направился к двери. После его ухода мы помолчали, Герка закрыл книгу, начал оправдываться:

– Мне, кажется, я внимательно читал, все равно мало что понял, разве что Кант, несмотря на свой слабый голос, всю свою жизнь читал лекции и прожил безвыездно в Кенигсберге. Марксен смотался – сам тоже ничего не понял".

Тут я спросила у Мишки: «Это Штейна так звали?» – «Да, его полное имя Марксен, расшифровывается: Маркс-Энгельс. Я же тебе уже говорил, о наших отцах: старый мир разрушали до основания – новые имена придумывали.

Сашка предложил всем прочесть статью самостоятельно дома, собраться в следующее воскресенье – поговорить. Но Герка сказал, что боится дать книгу и предложил приходиться к нему всем по очереди. Алик, которого прозвали Путятей за его белые лохматые волосы, спросил: сколько там страниц? Герка сосчитал, получилось что-то около пятнадцати мелкого, убористого текста. Путятя с напускной серьезностью (может быть я позже приписал ему эту напускную серьезность) заметил: чтобы запомнить, надо законспектировать. Герка согласился дать книжку каждому на одну ночь. Пока они препирались, я продолжал листать Маяковского. Помню, я несколько раз прочитал стихотворение "Послушайте!" – мне ужасно захотелось прочесть его вслух, только я приготовился, Сашка предложил чаю, все задвигались, заскрипели стульями, он вышел, принес стаканы, сахар, пачку печенья; разлил из большого заварного чайника душистый чай. Герка наклонился к своему стакану, понюхал, шепнул мне: – Вот бы моему деду такого чая.

Все приумолкли, был слышен хруст ломкого печенья и легкое позвякивание ложечек о тонкое стекло стаканов. Я раскрыл книгу и прочитал, как мне показалось, выразительно, во всяком случае, была полная тишина. Я кончил. Путятя попросил повторить конец, я снова прочитал:

Послушайте!
Ведь, если звезды
Зажигаются –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Я замолчал, он проговорил тихо: «Я этого не знал». Ким рассердился, его видимо раздражала нерабочая атмосфера. Он прошипел:

– Тебе надо в девчоночьей школе организовать кружок, они все разом тебя полюбят или лучше, читай

стишки наедине со своей Наденькой. Поднялся общий гвалт. Я с Геркой орал что-то о необходимости гуманитарных наук: философии, литературы, искусства, о жизни духа и о воспитании чувств, без чего, по моему и Геркиному мнению, получается фашизм...

Герка крикнул Киму: – Хотя ты и отличник, у тебя отсутствует чувство прекрасного и историческое мышление – из таких можно каких угодно фашистов состряпать. Ким обозвал Герку дураком, который скрывает свою глупость демагогией. После этих слов он направился к двери. Мы молча допили чай и разошлись по домам.

В понедельник утром меня с урока физики вызвала школьная секретарша и повела за собой в комнату комитета комсомола. Там сидел человек в военной форме без погон. Я открыл дверь, он, улыбаясь, встал мне навстречу, будто мы давно знакомы и очень рады встрече, указал на стул возле себя. Я сел. Он хлопнул меня ладонью по колену:

– Ну, что секретарь комсомола, политический кружок решили организовать? Что ж, выходит уроков истории недостаточно? Подпольщиной решили подзаняться?

Его серые прищуренные глаза смотрели на меня в упор, у меня пересохло во рту, в голове крутилось «майор со стальным взглядом серых глаз». Странно, я не читал детективов. Кстати, не помню, существовали ли в то время вообще советские детективы. Он начал меня утешать, как больного, будто прекрасно понял мое состояние. Он похвалил меня: ты единственный отвлек всех от ненужных разговоров и занятий чтением стихов Маяковского. Еще он сказал: доверяет мне полностью, поскольку мне доверяют и товарищи, избрав меня секретарем школьной комсомольской организации. Вообще он мне много говорил в тот раз о доверии и особом ко мне отношении, я все это время сидел молча, как пристукнутый. Это от неожиданности и из-за страшных слухов, которые ходили об этой организации, о работе этих людей – я просто онемел. Да и сказать мне было нечего. Наверно для него в моем таком состоянии не было ничего необычного, он не требовал

от меня в тот первый визит, чтобы я говорил ему что-нибудь. Позже я подумал: он кажется был вполне доволен мною. Закончил он нашу первую встречу словами, которые произнес повышенным тоном, серьезно: «Нам такие люди нужны». Протянул мне бумажку с адресом: «Придешь в четверг, в час дня». После этих слов он встал из-за стола, дружески хлопнул меня по плечу, сильно, по-мужски пожал руку и вместо «до свиданья» с нажимом в голосе: – Надеюсь, ты понимаешь – никому ни слова.

На уроках я ничего не слышал, в голове была какая-то мешанина из слов и фраз этого типа. Постепенно до меня дошло: меня начали вербовать в осведомители. Я вспомнил – от мамы слышал это слово «осведомитель». В голове мелькнуло: – Должно быть, среди нас уже кто-то работает: откуда бы им знать про вчерашнее, меня вызвали со второго урока, вчера было воскресенье. Я посмотрел – все ли вчерашние в классе? Никто не отсутствовал. Я стал вспоминать, не опоздал ли кто? Никто не опоздал. Неужели по ночам и по воскресеньям работают? Может по телефону перед уроками?

Во время перерыва я не вышел в коридор, сказал дежурному – голова болит. Прозвенел звонок, вошла учительница истории, наклонилась над журналом. Я решил: если вызовет, скажу, голова болит. Она вызвала Путятю. Я подумал: может он? Неслучайно же попросил книжку на дом. Я начал вспоминать, что говорил вчера Путятя? Говорил ли я когда-нибудь ему чего-нибудь такого? Потом я повернулся к окну, увидел Герку, подумал про него, наконец, решил не думать больше об этом. Надо сначала рассказать маме.

Дома как всегда была бабушка. Она обычно вставала с кресла, произносила одну и ту же фразу: « Помой руки и садись за стол». Я не помню ни одного случая, чтобы она забыла сказать эту фразу. Тут же шла на кухню разогревать мне обед. После обеда не мог сидеть дома, решил сходить к Марику, но бабушка как всегда, когда я направлялся к двери, спросила: «Куда?». Не дождавшись ответа, занудно произнесла: «Уроки сначала выучи, потом погуляешь!» Я

огрызнулся, хлопнув дверью, вышел. Спускаясь по лестнице, все еще сердился на бабушку: она, как шпионка, следит за мной, на улице стало стыдно. Вспомнил маму, ей постоянно приходилось утрясать отношения между нами.

Марик тоже жил в одной комнате с бабушкой и мамой. Я пришел к нему, дома была одна бабушка. Она сообщила: "Марик еще не вернулся из дворца пионеров". Его бабка была совсем выжившая из ума, ей казалось: ее внучек еще пионер и ходит в кружок во Дворец пионеров. Марик же, когда я ему об этом рассказал, рассмеялся: я никогда не ходил ни в какой кружок, в те годы, когда мог ходить, жил в эвакуации в Средней Азии. Просто у нее есть подруга, у которой внучек ходит во Дворец пионеров в какой-то там кружок.

Не застав Марика, я направился к Герке – так просто посидеть, не хотелось идти домой. Войдя в подъезд Геркиного дома, повернул обратно. На улице я подумал: мама придет только после девяти, она дает после работы частные уроки английского и французского языков. Я вспомнил о Наде, решил пойти к ней, но мне показалось – а вдруг проговорюсь, я твердо решил ничего никому не рассказывать, пока не поговорю с мамой. В те годы было раздельное обучение. Мы были абсолютно уверены: девчонки не умеют хранить тайну. Правда, мне в тот момент показалось, Надя бы удержала, если бы поклялась. По дороге к ней я все же засомневался: она может рассказать своей подруге Нинке Лупановой. Я эту Нинку не выносил, вспомнив про нее, повернул обратно...

Дома я вынул из портфеля книжки, чтобы бабушка не смогла заговорить, открыл учебник по физике. Никак не мог сосредоточиться, даже не мог вспомнить, что нам задали. К тому же моя шея совершенно не держала головы – она у меня болталась, как на резиновом шланге. Глаза бабушки следили за мной. Она заметила: со мной что-то происходит. «Ты что заболел? Приляг на диван». Протянула мне градусник, открыла шкатулочку с лекарствами. Она всегда от всех недугов лечила аспирином. Таблетку положила рядом со мной на стул, сказав: «Погоди – воды принесу», ушла на кухню. Я заснул не дождавшись воды,

бабушка меня разбудила, во дворе было темно. Она сообщила: «Температуры у тебя нет. Садись за уроки!». Я сел за письменный стол, вытащил расписание, подобрал книги и странно, будто все забылось, мне стало казаться, – все дневное произошло когда-то давно и будто даже не со мной. Я разбирал задачку по физике. Вошла мама, – все вспыхнуло в голове. Помню, мне хотелось взять себя в руки и спокойно по порядку все пересказать ей. Как только бабушка вышла на кухню, я начал:

– Мне надо с тобой поговорить, я бы не хотел при бабушке, подождем пока она ляжет.

Мама как всегда, когда я говорил, что хочу с ней поговорить, встревожено спросила: что случилось? Вошла бабушка, я промямлил:

– Да ничего особенного, просто так. Бабушка тоже весь день ждала маму. Ей тоже надо было пересказать: о чем говорили сегодня в очереди за сахаром, рассказать про свою подружку Еву Исааковну, с которой стали происходить странные явления, – она снова начала сушить сухари, прятать сахар, выключать радио, боялась – объявят тревогу. Бабушка еще долго докладывала бы о всяких своих делах – я не выдержал и предложил ей пойти спать – мне надо уроки готовить. Она нервно загремела посудой и отправилась на кухню, мама опять напомнила: ты уже взрослый, надо же и бабушке дать поговорить.

Вернувшись с кухни, бабушка тихонько улеглась, я выключил верхний свет, зажег настольную лампу, мы с мамой перебрались в другой угол комнаты. Она устало опустилась в бабушкино кресло:

– Ну, что у тебя?

Я пересказал ей о нашем намерении создать кружок по изучению философии. Мы собрались для этого у Герки в воскресенье. Сегодня меня вызвали к эмгебешнику, тот дал мне адрес и велел придти в четверг. Она попросила назвать всех, кто там у Нефедовых был. Выслушав, она прошептала:

– Страшная история, кто-то из вас осведомитель, сейчас надо быть очень осторожным: никому ни слова. Я завтра пойду на работу попозже, с утра позвоню Якову Моисеевичу Краснопольскому, он адвокат – свой человек,

что-нибудь посоветует. Я, когда меня вызывали, тоже к нему ходила и даже когда меня хотели завербовать во второй раз, во время войны в эвакуации, я повторила все, что он в первый раз советовал. Отвертелась, обошлось.

Мама в тот вечер вспомнила много разных историй об ее вызовах, говорила о беседах с ними. Ты знаешь, – прошептала она, – у меня нет ни одной близкой подруги, которую бы не вызывали в органы, двоих из них я послала к Якову Моисеевичу, их он тоже знал с юности. Она посмотрела на часы: «Мне надо проверить к завтрашнему дню контрольные работы».

Я вытащил и разложил свою раскладушку, вынул из портфеля недавно вышедшую книгу Фадеева «Молодая гвардия» – у меня в школьной библиотеке на следующей неделе должна быть читательская конференция; начал читать. Прочитав несколько страниц, я задумался о молодогвардейцах: их хотя и предали, они все же что-то успели сделать.

Постепенно мои мысли снова вернулись к эмгешнику. Подумал: вот бы узнать – с ними кто-нибудь пробовал бороться? Превратили же они кого-то из моего класса в предателя и доносчика; если уж всех маминых друзей вызывали... Видимо, невероятное количество людей ими обработано. Еще я подумал: интересно бы спросить у мамы – она кого-нибудь из своих друзей подозревает? Не может же быть, чтоб прямо никого так и не завербовали... Мама вышла в коридор покурить, мне тоже захотелось курить, я еще стеснялся это делать при ней, пришлось подождать пока она ляжет. Мне пришла в голову мысль: надо что-нибудь сделать – нечестно молчать, если понимаешь... Я вообразил: Марик, Герка и я договорились взорвать Большой дом и все их районные отделения. Будто мы обнаружили взрывчатку в лесу. Нас конечно поймали, допрашивали, пытали, как молодогвардейцев... Я видимо вздремнул. Вошла мама, от нее пахло табаком, мне нестерпимо захотелось курить. Надо было дожидаться, пока она ляжет. Я вытащил из ее сумочки папиросину, пока она курила в коридоре.

Она обычно перед сном долго возилась, я никак не

мог понять, зачем женщины протирают и мажут свои физиономии, кто их ночью видит? Отдыхала бы больше, – думал я. Засыпала она, как только опускала голову на подушку, видимо, уставала здорово: она кроме частных уроков давала уроков тридцать-сорок в неделю у себя в институте. Как только я услышал ее ровное дыхание, я встал и направился в туалет покурить. Возле двери увидел нашу соседку Щукину и понял: завтра она непременно наябедничает.

Утром я просыпался с трудом, бабушке приходилось меня толкать и громко шипеть в ухо, чтобы не разбудить маму. Правда, несмотря на все бабкины ухищрения, мама приподнимала голову, прятала ее под подушку и снова засыпала.

Я вскочил, проглотил бутерброд, не допив чай, выбежал на улицу. Было сыро. Исаакий показался тяжелым, почти черным, ветки на деревьях Александровского сада обвисли. На желтых листьях висели прозрачные капельки. Я дернул веточку клена – на меня посыпалась холодная вода. Я отряхнулся, вышел к трамвайной линии и подумал:

– Шла война, были герои, до войны людей хватало – никто не плакал. Может, в живых-то остались одни болтуны и трусы, герои погибли в революцию и на Гражданской. Может, этим так и надо: разводят контру своей болтовней. Подумаешь, каких-то стариков трясли за золото – нечего было золото хапать. Буржуев, может быть, надо было трясти. Мало ли что они наши родственники или знакомые... Если бы они нам чужими были, может о них у нас и не упоминали? Да и бабка моя с дедом во время революции хотели убежать к себе в Вильну, к белым, там у их родственников заводы какие-то были, брат деда где-то в Америке живет, тоже богач какой-нибудь, чего бы ему туда было бежать? Тут революция – ему наплевать на нее.

Мишка помолчал, чуть понизив тон, продолжал.

Видишь, какой ахинеей была моя голова забита в те годы, они не сумели воспользоваться таким материалом – уроды им требовались. Хотя мне сейчас кажется, без уродов все это невозможно... Возле Астории я увидел Марика Штейна, на часах было без пятнадцати девять. Хотелось

остановить его, договориться о встрече на сегодня. Но мне показалось, заметив меня, он ускорил шаг. Возможно ему неприятно после позавчерашнего видеть меня. Я начал вспоминать, не вызывали ли его с уроков? Поднимаясь по школьной лестнице, я обдумывал: кого, когда вызывала с урока секретарша. То ли от шума в коридоре, то ли от большого количества суетящихся учеников, я так ничего и не мог вспомнить.

На перемене ко мне подошла наша завучиха, напомнила: скоро перевыборы в комитет комсомола и секретаря комитета. До выборов необходимо провести заседание комитета, надо наметить новых кандидатов в комитет, за которых собрание должно проголосовать. Мне пришла в голову мысль назначить заседание на четверг, после уроков, под этим предлогом отказаться от встречи с этим типом. Тут же понял: так легко от этого дела не отвертеться, пусть будет как будет...

В тот день я еще раз встретился с завучихой, которая вызвала меня к себе в кабинет. Она у нас была секретарем школьной партячейки, ее партнагрузкой был школьный комитет комсомола. Войдя в ее кабинет, я заявил: не только не могу в этом учебном году быть секретарем, но и из комитета намерен выйти, поскольку хочу серьезно подготовиться к экзаменам. Она возражала: у Вас почти целый год до выпуска. Я придумал: у меня, может быть, не очень хорошо со здоровьем, если нужно, я принесу справку. Она ответила: хорошо, справка не нужна. Мы вместе обсудили кандидатуру будущего секретаря. Было как-то странно: она все больше интересовалась теми, кто был у Сашки Нефедова в воскресенье. Возможно, мне уже многое начинало казаться-мерещиться. Но я помню, она ничего не говорила о Путяте, опять же: он неважно учился, секретарем он не мог быть.

Я вошел в комнату, бабушка передала мамино поручение – протянула бумажку с номером телефона, чтобы я сейчас же позвонил. Моя бабушка была хорошей секретаршей. Еще в дверях я заметил, она была явно не в духе, ее губы крепко сжаты, к тому же она забыла

напомнить, чтоб я помыл руки. Наконец она не выдержала:

– Что это за такие секреты у вас?

Я не ответил. Она взяла газету и с независимым видом прошла к своему креслу возле окна. Я подумал: она считает, будто, мы с мамой не хотим ей ничего рассказывать. В этот раз я действительно не мог ничего рассказать – она бы испугалась.

Я позвонил Краснопольскому, он был дома и ждал меня. Крикнув бабушке, – скоро вернусь! – выбежал из комнаты. Краснопольский жил на Майорова, я добежал до него за пять минут. К косяку его входной двери, возле звонков, была прикреплена табличка с фамилиями жильцов, всего их там, помнится, было семь. Возле фамилии Краснопольского стояла цифра «4» и буква «р». Я нажал на звонок четыре раза. Ждать пришлось довольно долго. Наконец услышал шарканье шлепанцев по коридору. Дверь отворилась, передо мной оказалась высокая фигура в полосатом халате с трубкой в руке. Он громко, как-то старинному произнес:

– Ба, да неужели у Шурки такой сын! Проходите, молодой человек!

Я вошел, он взял меня под руку и повел по длинному полутемному коридору. Возле большой двухстворчатой двери, он вытащил из кармана ключ, повторил:

– Проходите, молодой человек!

Комната его была большая, с тремя высокими окнами, выходившими на проспект Майорова. Он усадил меня на старый, со скрипучими пружинами и высокой спинкой диван. На спинке дивана была полка с массой всевозможных мелких безделушек, я боялся шевельнуться – казалось, с полки на голову что-нибудь свалится. Сам он взял с заваленного бумагами письменного стола электрический чайник, сказав: – погоди, воды налью – вышел. Вернувшись, он поставил чайник на толстую кафельную подставку на письменном столе, сел в кресло напротив меня:

– Ну, рассказывайте!

Я как-то растерялся, не знал, с чего начать, спросил, что ему говорила мама. Он ответил: – Она просто сказала:

одному молодому человеку нужна юридическая справка, – ты его узнаешь. Мать у тебя грамотная, лишнего не скажет. Я тебя сразу узнал, – продолжал он, – ты вылитый отец, хотя твой отец был выше. Потом утешил: ты еще подрастешь. Посмотрел на меня внимательно, спросил!

– Слушай, сколько тебе лет? Должно быть пятнадцать-шестнадцать. Что-то рановато к юристам обращаться. Я промямлил: может, это не совсем то. Он, жестикулируя трубкой и кивая головой, начал уверять: то-то, я же не говорю, тебе нужна справка по какому-то там уголовному делу, я просто хочу сказать, в любом случае рано.

Еще он спросил, в каком классе я учусь? Я ответил, – в десятом, он как-то многозначительно протянул: вот оно что! – и чуть помолчав, снова спросил: – Как же ты в пятнадцать лет в девятом классе оказался? Мне пришлось ему рассказать, что меня дедушка подготовил прямо во второй класс. Он начал вспоминать моего дедушку, бабушку; рассказал о его дружбе с моим отцом, о молодости, когда вместе за девушками ухаживали. Я сидел и глупо улыбался, он вспоминал, какие красивые были мои родители, какая это была необыкновенная пара, что моя мать и сейчас еще очень красивая женщина. Тут я не выдержал:

– Меня в ЭМГБ вызывали.

Помню в тот момент на письменном столе закипел чайник, из носика полетели брызги на бумаги, он вскочил с кресла, выдернул шнур из розетки, сел обратно и долго молчал, двигался в кресле, будто хотел поудобнее усесться.

Мне стало неприятно: он, взрослый человек, и так испугался. Сейчас я понимаю, любой бы на его месте испугался, конечно же, он понял с чем я к нему пришел. Он поднялся, накрыл телефонный аппарат диванной подушечкой, сел снова в кресло и сухо по-деловому проговорил:

– Что ж, давай рассказывай все по порядку, когда тебя вызывали и что тебе там наговорили?

Я рассказал все, что было в воскресенье и в понедельник. Я кончил, он покачал головой:

– Плохи наши дела, Миша, работу будут предлагать, будешь отказываться – из-за этого кружка пятьдесят восьмой статьёй будут пугать. Слышал что-нибудь об этом?

Я отрицательно покачал головой. Он встал и протянул: да, рановато тебе знать. Подошел к книжной полке, достал потрепанную книжонку, полистал, протянул ее мне, держа палец на нужном месте. Я прочитал и что-то ничего не понял: причем тут мы, у нас и кружка-то еще не было, не только какой-то антисоветской агитации и пропаганды, да и вообще все это никакого отношения к нам не имеет, здесь ничего не написано про занятия философией. Я про все это хотел сказать Якову Моисеевичу. Он опередил меня:

– Вы конечно же ничем таким не собирались заниматься. Но учти, – кружок-то был, вы собрались, чтобы выработать программу занятий – этого достаточно!

– Ты слышал такое слово «сексот»?

Я кивнул.

– Вообще в русском языке существует много слов для выражения этого понятия, и я уверен, мы не скоро остановимся в своем развитии. Это как у первобытных народов, которые давали страшным и непонятым явлениям природы или хищным животным, которых они боялись, множество разных названий.

Он постоянно во время нашей той первой беседы перескакивал, как мне тогда казалось, на что-то постороннее. Я не улавливал связи между его рассуждениями о первобытных народах и моим делом. Он сбивал меня с толку. Дома, когда я перебирал в памяти весь этот разговор, я злился, обзывал его про себя, старым болтуном и дураком. Помню, он придвинул свое кресло близко, наклонился ко мне и прошептал: – Ну дорогой, суть твоего дела вот в чем. Если ты не сумеешь отказаться, будешь подслушивать, о чем люди говорят, докладывать им. Первым, возможно, донесешь на меня, то есть перескажешь им эту нашу беседу. Я таких случаев много знаю. Постепенно он успокоился, откинулся назад в кресле и продолжал:

– Будем все же надеяться на лучшее, но учти, понять, что в этом деле лучшее, трудно. Они непременно предложат тебе много прекрасных вариантов, даже разведчика из тебя пообещают сделать и мало ли еще что.

Он начал ходить по комнате, дважды спросил, на какой день мне назначено явиться, попросил показать бумажку. Потом рассказал, что ему во время войны приходилось с ними частенько сталкиваться, поскольку из-за плохого зрения его не отправили на передовую, всю войну он просидел в прифронтовой прокуратуре. – Можешь поверить: как я изучил их замашки, кадры свои они уберегли, хотя новеньких они и тогда вербовали. Говоря все это, он ужасно волновался: садился, вскакивал со своего кресла. На его лбу сверкали капельки пота. Я не мог смотреть на него. Он подошел ко мне, положил свои большие теплые руки мне на плечи. Помню, я вздрогнул. Он сказал:

– Надо постараться не бояться. Ты должен твердить, я уже выбрал себе специальность и ничем другим заниматься не могу. Ни в коем случае не давай никакой расписки о сотрудничестве. Они будут говорить: она тебя ни к чему не обяжет. Говори, без всякой расписки придешь к ним, если увидишь врага или вредителя – расписка ни к чему. Можешь сказать: выходит, будто они тебе не доверяют. Я с детским гонором произнес: – Я секретарь школьной комсомольской организации и как секретарю мне действительно оскорбительно их недоверие, никаких расписок я не дам! Он перебил меня и удивленно произнес: – Ты секретарь? Может, ты веришь – они за правду борются? Может, ты сам веришь – они сделают из тебя какого-нибудь работника прессы и даже отправят за границу, то ли еще наобещают? Он как-то ненатурально засмеялся. Мне опять стало неприятно смотреть на него. Я перевел взгляд за окно, там дул сильный ветер, облака быстро неслись мимо. Пока я глядел на облака, он молчал, видимо, думал о чем-то своем. Я взглянул на него. Он совершенно спокойно повторил, чтобы я ни в коем случае не давал расписки о сотрудничестве, и добавил тем же спокойным, ровным голосом:

– А вот расписку о неразглашении твоих бесед с этим майором надо дать и молчать.

Сейчас мне кажется: он так настаивал на даче этой расписки о неразглашении – он меня боялся. Размахивая трубкой, продолжал:

– Ты себе представить не можешь, сколько таких вот дел я знаю, когда человек, поверив им, или просто струсив, давал расписку о сотрудничестве... Самое страшное – их уговорили доносить и следить за своими же согражданами, с которыми живем вместе одной жизнью. За теми, которых ты знаешь и, кажется, прекрасно понимаешь, часто это твои друзья, чтобы они стали для тебя подозрительными... Если же, скажем, донесешь на друга, для самооправдания – не любить его будешь или больше дружить не сможешь... Может, даже возненавидишь.

Он уселся обратно в кресло, снова наклонился ко мне и полушепотом, четко произнес:

– Мы, молчащие орудия труда – строители прекрасного будущего, если что-то и понимаем, при слове «органы» костенеем от страха. Вот я поговорил с тобой – думаешь, я теперь буду жить спокойно? Да, меня не раз в ночь будет бросать в холодный пот, буду прислушиваться к шагам в коридоре, буду ждать звонка оттуда.

Он зажег погасшую трубку, молча начал ходить вокруг круглого стола, стоящего посередине комнаты. Мне хотелось его как-то успокоить, сделать что-нибудь, чтоб он не боялся, я никак не мог придумать ничего, во что бы он поверил. Помню, у меня в голове крутились разные глупости: как это раньше, когда-то в древности, люди давали разные там клятвы, вспомнил братьев Горациев, разных там рыцарей. И подумал: теперь любые такие слова показались бы дико фальшивыми и глупыми. Я так и не сумел придумать, как его успокоить, стало тяжело сидеть у него, захотелось выйти на улицу. Мне показалось, ему тоже больше не хотелось говорить, он предложил чаю, я отказался и стал прощаться, протянул ему руку и промямлил: Вы все же не бойтесь меня, я постараюсь... Он вышел проводить меня на лестничную площадку, мы снова протянули друг другу руки, он прошептал:

– Я буду в четверг в это время дома – приходи.

Мы шли по набережной, подул прохладный ветер, Нева покрылась мелкой рябью, по коже пробежали мурашки, я чуть задрожала, Мишка накинул мне на плечи свой пиджак, я заметила, он тоже весь посинел. Я предложила пойти побыстрее домой.

Следующий день был у меня выходным. Я как обычно проснулась раньше Мишки. Он вставал позже, ему на работу во вторую смену. Вылезать из теплой постели не хотелось. Вспомнился Краснопольский, в голову пришла странная мысль: неужели так бывает? Кажется, знаешь в человеке все, каждую родинку на теле, но в то его прошлое, когда наши жизни шли отдельно, никогда до конца не заглянуть, никогда невозможно всего узнать. Но если любишь, обязательно должен верить, любишь-то до тех пор по-настоящему, пока веришь. Многих, безусловно, очень многих им удалось завербовать. Интересно, что сексоты, рассказывают своим женам и мужьям про свои дела с 'ЭМГБ? Неужели молчат всю жизнь? Договариваются ли в какой-то момент? Я вспомнила – у меня ничего не куплено к обеду, да и кофе осталось чуточку на дне баночки. Пришлось бежать в магазин. Я вернулась, Мишка сидел на тахте с книгой. Я дала ему пакетик с кофе, он отправился заваривать. Вернувшись, он прямо с порога произнес:

– Я не предполагал, что это все у меня в голове; я же никогда никому этого не рассказывал. Я отодвинула к стенке вынутые из сумки пакетики, он поставил кофе на стол. Мы молча позавтракали, пересели на тахту, Мишка продолжил свою историю.

– Выйдя в тот день от Краснопольского, я пошел по Майорова до Исаакиевской. С площади мне надо было свернуть налево, я повернул направо по улице Герцена, дошел до Невского, остановился у кинотеатра «Баррикада», там шел фильм «Рим – открытый город», я подошел к кассе, купил билет. Было рано, фильм долго не начинался, я вздремнул. – Тут Мишка немного отвлекся, спросил, видела ли я этот фильм. Я кивнула, мы начали вспоминать разные страшные эпизоды, поговорили о неореализме, представили

себе, сколько разных ужасов можно было бы показать из нашей жизни. Мишка сказал: это уже сделалось бы не страшным и вообще... Я перебила его: сидели бы в кино, как древние римляне в цирке на гладиаторских боях.

– А, в общем, я все что-то не про то говорю, заносит меня что-то. Сейчас, когда я задумываюсь над всеми событиями и делами, та осень мне кажется невероятной, какой-то решающей в моей жизни. Я тебе уже рассказал: мне надо было подготовить отчет о работе комитета комсомола за истекший учебный год, организовать учащихся нашей школы на сбор металлолома, к тому же меня направили на городскую комсомольскую конференцию, где я должен был выступить с докладом об успешном сборе металлолома учащимися нашей школы. Только под вечер, сев за уроки, я вспомнил про мои разговоры с эмгешником и с Краснопольским: пытался разгадать, кто из наших доносчик, хотелось понять, чем это дело может кончиться. Садясь за стол, я забывал вытаскивать учебники из портфеля, открывал книгу – смотрел в сторону. Бабушка, видя, что я не работаю, говорила:

– Ты бы сделал сначала уроки и шел бы себе гулять. Какой толк в потолок смотреть?

Я много раз давал себе слово не реагировать на бабкины замечания, мне это редко удавалось, да и вообще, это невозможно в том возрасте. Чаще всего я гавкал: я же не мешаю тебе смотреть в потолок или в окно, смотри хоть целый день! Она в таких случаях пыталась сохранить достоинство и замолкала. Эти стычки с бабушкой, приводили меня в чувство, после них я обычно начинал заниматься уроками.

Туда мне было назначено явиться в четверг. Все дни той недели, я толком не занимался, нахватал четверок и даже тройки появились. Я был круглым отличником, хотел получить во что бы то ни стало медаль. Помню, я позже удивлялся, как быстро мне все стало безразличным, меня вышибло из прежней жизни. В те дни я, в основном, занимался сочинениями всевозможных диалогов. Сперва мне казалось: я сумею ему что-то доказать, если все хорошенько обдумаю и подготовлюсь. Но по мере

приближения того дня я все больше думал о парне, который, по словам моей матери, пошел на первое свидание с эмгешниками и никогда не вернулся. Мне становилось страшно, я возвращался к началу своих размышлений – лучше держаться, как советовал Краснопольский. Больше всего мне хотелось заболеть. Я знал много способов нагнать температуру и прикинуться больным, какое-то смешанное чувство страха и любопытства заставляли меня крутиться, как мусор в проруби.

Я должен был явиться туда к часу тридцати, в тот день у меня были занятия до двух, мне надо было отпроситься с последнего урока. Не знаю почему, я не стал отпрашиваться у классного руководителя, пошел прямо к завучихе, она ничего не спросила, просто посмотрела на меня понимающим взглядом:

– Идите. Я передам вашему классному руководителю.

На улице я взглянул на часы: у меня было с полчаса времени. До Крюкова канала, где был этот дом, идти всего минут пятнадцать. Я вспомнил: на большой перемене забыл съесть бутерброд. Открыл портфель, вытащил его, он показался сухим, захотелось газировки, поблизости, никаких ларьков не было. Побрел по Мойке к тому дому, увидел пивной ларек, купил маленькую кружку пива. Помню, продавщица заметила: "Рановато, мальчик, начинаем". После пива закружилась голова. Я перестал волноваться, хотелось пойти домой спать, но я медленно тащился туда. У подъезда вынул бумажку с адресом, посмотрел на номер квартиры, не торопясь, начал подниматься вверх, рассматривая чугунный узор лестницы. Заметил на больших окнах лестничных площадок, как и в моем доме, сохранившиеся остатки разноцветных витражей, двери, как и у нас, были выкрашены коричневой половой краской. На той двери был звонок без списка фамилий, там висела маленькая красная табличка, на которой золотыми буквами было написано: «Районное деление э'МГБ». Я нажал на белую кнопку. Вышел пожилой человек. Я протянул ему бумажку. Не приглашая войти, он надел очки, взял бумажку, прочитал и буркнул: "Входи". Он повел меня по длинному

коридору в полутемную прихожую, в которой стояли тумбочка и два стула по обеим сторонам. На тумбочке стояла настольная лампа без абажура. Он указал на стул: "Посиди". Снова направился к началу коридора. Там он осторожно постучал в дверь, подождал, не переступая порога, просунул голову в комнату. Было тихо, я услышал: "К Вам, товарищ майор". Вернувшись, он указал мне на оставшуюся открытой дверь: "Иди".

Я вошел в большой кабинет. Человек, который приходил ко мне в школу, сидел за письменным столом. Не отрываясь от бумаг, он проговорил:

– Садись, я вот сейчас, сию минуту кончу.

Я сел на стул, стоявший перед его письменным столом. Сидеть перед ним, пока он копался в бумагах, было неудобно.

Сейчас, – сказал Мишка, мне кажется – это у него был такой приемчик, каждый раз, когда я приходил, он повторял его. Помню, пока он рылся в бумагах, я разглядывал кабинет. Такие места рисуются воображению какими-то необычными. Во всяком случае, мне казалось, человек в таком кабинете должен быть обязательно в начищенных сапогах и скрипучих, пахнувших свежей кожей ремнях. Здесь, в помещении, во всяком случае, было все обычно для того времени, кроме стен, которые были обиты толстым, мягким войлоком – для изоляции. Слева возле стены лежали рулоны дерматина, которым вероятно собирались обтянуть стены поверх войлока. Я заметил в углу под потолком амурчика, этот осколок былой жизни – вполне привычное явление у нас. Во многих жилых комнатах можно и сейчас увидеть на потолках остатки самых невероятных изображений. Единственное, почему я заметил этого амурчика: его пухленькие с мягкими складочками ножки болтались над головой генералиссимуса. Как я уже говорил тебе, там все было очень привычным: портреты вождей висели, как везде, во всех кабинетах, над письменным столом, в строго-каноническом порядке – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – слева направо. Амурчик болтался в правом углу. Портреты были большие, тот, кто их вешал, выполняя привычную

работу, не заметил ни амура, ни вождей. Он знал точно, где кому висеть и в каком порядке. Для того, кто занимал кабинет, все было привычным и в обычном порядке. Амурчик был выполнен в высоком рельефе, напрягаясь, он поддерживал часть тяжелой гирлянды. Гирлянда тянулась до перегородки слева от меня там, где перегородка соединялась с потолком, она была отбита, чтобы не было щели возле потолка. За моей спиной оказалась пристроенная стена без всяких украшений. Она обрывала вторую часть гирлянды, которая шла вдоль стены над окнами. Письменный стол с сидящим за ним хозяином, был обращен к обитой войлоком стене. Кабинет этот, мне показалось, был частью большого зала, в котором когда-то танцевали какие-нибудь аристократы. Когда я туда приходил, там вершились судьбы людей нашего Октябрьского района и только пухленький амур да отбитые гирлянды напоминали о забытом, разрушенном старом мире.

В тот первый раз, как впрочем и во все последующие, майор с шумом захлопнул попку, в которой он рылся, ударив энергично по ней ладонью произнес:

– Ну что, секретарь комсомола?

Он изучающе пристально глядел на меня. Через внушительную паузу произнес:

– Нам сейчас очень нужна помощь таких вот, как ты. Сам понимаешь, во время войны все силы страны были мобилизованы на борьбу с внешним врагом, только сейчас мы начинаем восстанавливать нашу прежнюю идеологическую борьбу, которую мы никогда, пока существует капиталистическое окружение, не прекратим вести. В этой борьбе мы в первую очередь опираемся на вас, на передовую часть советской молодежи – нам нужна преемственность. В наших рядах безусловно были тоже потери. Ты должен понимать – наша работа чрезвычайно сложна, требует полного доверия и конечно нам нужны свои доверенные и подготовленные люди. Безусловно, у нас есть свои правила, одним из таких правил является дача расписки о неразглашении наших бесед.

Пока он говорил, у меня в голове перепутались все фразы, которые я собирался ему сказать. Помню, в висках

стучало, я чувствовал, у меня вспухают уши. При слове «расписка» в моей голове будто что-то прояснилось, я тихо проговорил:

– Не могу. Я хочу поступить на филологический факультет.

Он заулыбался:

– Прекрасно, в случае чего – мы поможем при поступлении. Не мне тебе рассказывать, какое внимание партия и правительство на данном этапе уделяет вопросам литературы и искусства. Сам наверно вел занятия с комсомольцами по постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград»? Вот и будем работать вместе. Поступишь на отделение журналистики, может даже спецкором будем тебя направлять за границу или, если критиком захочешь стать, опять же нам нужны политически грамотные люди в журналах, чтобы в нашу печать не попадала пустая и безыдейная литература. Ты понимаешь, особенно теперь, когда мы победили силой своего оружия, мы не можем допустить, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности!

Когда я "прорабатывал" это постановление, мне показалось смешным слово "наплевизм", он произнес всю эту фразу точно, как там, в той брошюре было написано. Я невольно улыбнулся. Не представляю, о чем он подумал, он тоже улыбнулся:

– Ну вот, теперь и расскажи подробно, что там у вас было в воскресенье? Кто предложил идею кружка?

Я довольно долго молчал, наконец, выдал:

– Зачем же пересказывать то, что вам уже известно?

Мой голос повысился. Потом, когда я вышел от него, мне стало не по себе за, срывавшийся на петушиный крик голос. В кабинете я орал:

– Не хочу иметь никаких дел с Вами, не хочу ничего рассказывать про моих товарищей, они все такие же честные комсомольцы, как я, зачем это вообще надо? Я сказал ему, что сам предложил заниматься философией и другими гуманитарными науками более глубоко, поскольку считаю важным высказывание Маркса о том, что коммунистом

можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память всеми теми знаниями, которые выработало человечество! Если мне попадетсЯ какой-нибудь шпион, я обязательно приду к вам, помогу его поймать. После этой моей фразы он хлопнул ладонью по столу и тоже крикнул:

– Молодой человек! Ты не хочешь меня понять! Я тебе говорю о вещах значительно более серьезных, нежели ты себе это представляешь. Мне, кажется – ты просто прикидываешься! Еще раз повторяю: вы организовали политический кружок и если ты недопонимаешь серьезности своего поступка, тобой придется подзаняться.

Тут же он положил передо мной лист бумаги и сказал: «"Распишись!" Я прочитал и каким-то чужим голосом спросил:

– Что это? Расписка о неразглашении нашей беседы или о сотрудничестве?

Думаю, там было точно написано, что от меня требовалось, я как-то перестал соображать, помнил – Краснопольский говорил о двух расписках.

Капитан при этих словах аж привстал со стула и закричал:

– Это кто тебя научил? Откуда ты знаешь про расписки? Кто тебе о них говорил?

Перед глазами всплыло лицо Краснопольского, я вспомнил его слова: "Думаешь, я теперь спокойно спать буду... Ждать звонка оттуда буду". Я видимо слишком долго молчал. Он крикнул:

– Что, придумываешь, как выкрутиться? Что наврать?

Я отвел глаза от бумажки, в которой разобрал слово: "расписка», – посмотрел на него. Лицо его было в красных пятнах, желваки выступили на скулах. Я оцепенел. Он еще что-то крикнул, я опять посмотрел на расписку, в моей голове будто что-то прояснилось. Я очень просто сказал:

– Вы же сами видите – здесь написано "расписка", слово "неразглашение" и еще что-то такое вы сами мне несколько раз повторили. Я не понимаю, как же тогда говорить с вами?

Я почувствовал облегчение: что-то же сумел сказать. Я продолжил:

– Вы меня совершенно запутали, – ничего не понимаю, что я сделал или что должен буду делать? Главное, я не понимаю, почему вы так разговариваете со мной.

Он долго молчал, наверно обдумывал, как со мной быть? Лицо его стало спокойным, мне показалось: он отвлекся от нашей беседы, будто размышлял о чем-то постороннем.

Пока он молчал, я обдумал все сказанное мною – опять испугался. Я никак не мог вспомнить: – Говорил ли капитан слово: "сотрудничать". В висках снова застучало. Мне казалось, он вот-вот откроет рот и скажет: "Я этого слова не произносил" Тут-то он меня и поймает. На мое счастье, зазвонил телефон, он взял трубку: "Я сейчас занят, – перезвони через полчаса". Пока он говорил, я посмотрел на амура: "Толстый идиот – тебя бы так". Он положил трубку; спокойно, как бы извиняясь, проговорил:

– У меня, видишь ли, работа нервная, погорячился, но я уверен – мы договоримся. Мне сдается, ты кое-что из нашей беседы усвоил. Теперь тебе только надо все хорошенько обдумать. Встретимся в понедельник, я перебил его:

– У меня первые три дня следующей недели заняты на городской комсомольской конференции. Он вынул из папки бумажку, позвонил по телефону, пришел пожилой человек из коридора. Он протянул ему бумажку и приказал перепечатать, сказав: надо исправить на четверг. Тут же посмотрел на календарь, лежавший перед ним на столе, и проговорил: – "Нет, в четверг не могу, на пятницу исправь". Коридорный вышел, он встал из-за стола, протянул мне руку, глядя на меня в упор, произнес: «Я в тебе не сомневаюсь, хотя ты и недопонимаешь важности и сложности вопроса. В твоём распоряжении неделя времени, обдумай все хорошенько, прислушайся, присмотришься повнимательней к товарищам, сам заметишь – они все очень разные, говорят и думают по-разному. Тогда, в воскресенье, все вы расходились во мнениях. Ты должен понять: нашей

обязанностью является воспитать политически устойчивых людей. Это наша конечная цель!» После этих слов он крепко пожал мне руку. Странно, я вышел из его кабинета в приподнятом настроении. Помню, я даже подумал: может он прав, ведь существует капиталистическое окружение и борьба идей. Надо же нам стоять на своем. Если бы на фронте начали размышлять и сомневаться, а не воевать – безусловно победил бы враг.

Возле моего дома вспомнил: я же обещал прямо пойти к Краснопольскому. Я постоял у подъезда. Он ждет меня. Вместо того, чтобы повернуть обратно, я вошел в лифт и поднялся к себе домой. После обеда хотел сесть за уроки, бабушка спросила:

– Что у тебя за дела с этим Яшкой Краснопольским? Звонил перед твоим приходом, тебя спрашивал. Я уж и голос его забыла, одно время чуть ли не каждый день заходил.

– Ты знаешь, – сказал Мишка, – у моей бабки была чудесная особенность, она любила спрашивать, ее совершенно не интересовал ответ. Она задавала вопрос, чтобы самой поговорить. Она долго рассказывала про Краснопольского, называя его Яшкой, про мою тетку Эстер, которую я терпеть не мог за постоянное кривляние. Бабушка говорила и говорила, я слушал забывшись, не связывая эти бабкины байки с тем Краснопольском, к которому я должен был пойти прямо оттуда. Она называла его, как мальчишку, Яшкой. Это у нее была такая манера называть маминих знакомых не по имени и отчеству – так слегка пренебрежительно, свысока, как бы давая понять, – все это не серьезно, не то, что было когда-то раньше. Она еще долго бы говорила, я слушал. Но она вспомнила: ей надо в аптеку и только, когда она ушла, стало тихо, я даже вздрогнул:

– Яков Моисеевич сидит и ждет. Он должно быть волнуется. Я схватил со спинки стула пиджак и выбежал на улицу.

Краснопольский усадил меня на тот же диван против себя, сам, как в прошлый раз, с трубкой в руке, сел в кресло. На нем был тот же полосатый ковровый халат. Я рассказал

ему все по порядку, стараясь ничего не упустить, я кончил, он покачал головой:

– Чувствую, – твои отношения с ним затягиваются. Может это и к лучшему. В этом деле очень важно уметь отступить, чтобы не было больших потерь. Твое счастье, тебе так мало лет. Будем надеяться, по молодости лет обойдется. Надо постараться быть не глупее их – это шахматная партия, которая может оказаться с очень плохим исходом. Он встал с кресла, начал ходить по комнате, внезапно остановился передо мной, чуть покачиваясь, продекламировал:

"Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь".

– Да – вот Ахматова, ее казнить, пытать ее будут. – Чуть повысив голос, обратился ко мне: "Ты же секретарь комсомольской организации школы, из таких они выращивают свои кадры, Ждановых из таких делают!". Последние слова он прокричал, весь покраснев.

Я не мог уловить связи между, произнесенными им словами. Его высокая, худая фигура вся изгибалась. Он никак в тот раз не мог усидеть на месте, от этого было ужасно неудобно. Меня раздражало его старомодное пенсне, которое он беспрерывно поправлял. Он удивительно был похож на тех трусливых интеллигентишек, которые всегда всем недовольны. После войны этот тип человека стал практически редкостью. Только те из них, кто случайно оказался где-нибудь далеко в отъезде в лето, когда началась война, или кто сумел эвакуироваться, уцелели. Про них после войны говорили: они первыми в городе начали умирать с голоду, и все же, несмотря на малочисленность, после войны их еще продолжали называть хлюпиками, нытиками. Чувствуя свою никчемность и ненужность, эти интеллигенты, частенько, сами себя определяли подобными уничижительными эпитетами. Казалось, эти неловкие люди в своих потертых длиннополых пальто, в старых шляпах, с портфелями подмышкой, в очках, иногда в довоенных пенсне, путаются в ногах простых советских граждан.

– Ты заметила, – спросил Мишка, – теперь, когда этих людей почти нет, они начинают вызывать все больший

и большой интерес. Они для нас становятся более привлекательными, им уже кое-кто подражает... Я добавила: покойников любят.

– С Яковом Моисеевичем... Я до сих пор не могу понять, как он остался жив и почему его даже с работы не выкинули. Это длинная и сложная история. – Мишка прервал свой рассказ: "Я что-то голоден, давай пообедаем". Мы молча сидели за столом. Я обдумывала его последнюю фразу про Краснопольского, уже собиралась задать ему вопрос, что же он сделал с этим Яковом Моисеевичем? Он опередил меня, задав мне гипотетический вопрос: можно ли считать преступником человека, который не осознает что делает? В какой мере, в таком случае, вина ложится не только на него, но и на общество, в котором он воспитывался, в какой мере виноваты те конкретные люди, которые оказали на него влияние. Помню, мы оба решили: этот вопрос или подобный ход мысли, видимо, свойственен не только нам. Не случайно об этом так много нынче говорят. Вопрос этот, решили мы, возник в результате сравнения культа личности с фашизмом или даже точнее (страшно произнести вслух), с нашим социализмом, который оказался живучее фашизма...

– Я тебе, по-моему, уже как-то рассказывала про мою приятельницу, которая работает в Москве, в Ленинке, – сказала я Мишке, – она говорит: никогда еще не было такого интереса к идеологии, к культуре, искусству времени фашизма в Германии, который появился теперь, спустя несколько лет после двадцатого съезда. Она даже составила рекомендательный список книг, связанных в какой-то мере с этой темой, книги из ее списка читаются с большим усердием. Она рассказывала: в последнее время часто спрашивают сценарий к кинофильму Ромма «Обыкновенный фашизм». Откровенно говоря, я не знаю, чем руководствовался Ромм, поставив этот фильм. Возможно, всего лишь как художник, уловил нынешнюю атмосферу, хотя очень вероятно, думал в том же направлении. Скорее, нынешняя атмосфера подтолкнула. Ты помнишь, какое там сходство: толпа на демонстрациях, митингах и в факельных шествиях. А мастерские

художников? Там у них так много молодого энтузиазма. Ораторы, подбадривая и подбивая собравшихся совершить такое, чего они в своей мирной, обывательской жизни не делают и даже вряд ли понимают, что с ними происходит. Тут что-то животное. "Животные так не ведут себя, – перебила я Мишку, они приходят в возбуждение при половом акте или в погоне за пищей, ни от чего другого. Вот бы куда-нибудь уехать", – мечтательно заключила я. Он как обычно ответил: "Некуда, везде хуже. В большом городе хоть можно чуть затеряться, нет-нет, да и удивисься чему-нибудь, человека быстрее встретишь, в провинции все яснее, проще и грубее. Разве только вот в Москву, да кто нас туда пропишет? А жить где? Здесь у нас есть надежда получить свою комнату.

Колька-таксист громко постучал в дверь, позвал меня к телефону. Я вернулась, Мишка спросил: Кто? – Римма.

– Какая Римма?

– Моя сослуживица, я о ней как-то говорила. Красивая благополучная женщина, – мне она нравится, у нас кое-какие дамские дела. Между прочим, она на днях рассказала довольно любопытную семейную историю. Тебе может быть интересно. Хотя, в общем-то, ничего особенного: современное наставление отца сыну. Риммин муж кончил военно-медицинскую академию, проработал в госпитале пару лет, в должности никак не продвигался, ставка его, естественно, не повышалась. Тогда его отец, старый питерский рабочий, дал совет сыну, наказ: "У тебя жена и сын, за твою зарплату твоя красотка тебя долго любить не будет, да и не к чему нищенское существование в коммунальной квартире. Вступай-ка, как все умные люди, в партию. На твой век их власти хватит. У тебя все анкеты чистые: русский, сын потомственного рабочего". Сын спросил у отца, почему же он не вступил, тот ответил: ему это не надо было. Задарма на собраниях портки протирать.

– Риммин муж действительно полковник, работает в Военно-медицинской академии, и живут они в центре города в отдельной двухкомнатной квартире.

Мишка обычно при разговорах об удачливых мужьях начинал, оправдываться: – У меня это не получилось бы, хотя жена есть и ребенок будет. Я перебила его:

– Ты давно виделся с Ванечкой?

– А что?

– В последнее время его что-то занимают гении, которые ничего не создали. Мы, кому повезло быть знакомыми с ними, знаем, например, Джона, и другие есть... В Древней Греции тоже такой был – Сократ, ничего не написал, если бы не Платон, никто бы о нем и не знал. Он то забредает в древность, то приплетает разговор об исторических фактах: будто они нужны только каким-нибудь благополучным скандинавам, англичанам или немцам, нам что с фактами делать, говорил он. Во-первых, их слишком много, во-вторых, мы вообще занимаемся не тем. Мы просто любим задушевно поговорить. Нам необходимо успокоиться от дурных фактов – душу отвести за чашкой чая, еще лучше за рюмочкой водки, да с грибочками маринованными или с селедочкой, – тогда никакие факты не страшны. Все бы было мило, весь этот бред и туман, если бы не уходила жизнь в мечтах и, что самое странное, он кажется здоров, не какой-нибудь там двинутый. Мишка засмеялся:

– Ты просто его недолюбливаешь. Таких много. Надо же о чем-нибудь человеку поговорить. Это он с юмором.

Я убрала посуду со стола, подошла к окну, поставить масленку на подоконник, взглянула на небо, нет ли солнца, не растает ли масло. Небо затянулось тонкой пеленой неподвижных туч, как жаль в такой день сидеть дома – за грибами бы поехать? Мишка подошел ко мне, тоже взглянул в окно:

– Поехали в Павловск; ты говорила, – хочешь посмотреть на места своего раннего детства. Мы отправились на вокзал. На перроне прошли вдоль электрички, выбрали вагон, в котором было мало народу, сели возле окна друг против друга.

За окном, медленно двигались грязные, темно-красного кирпича заводские здания. Мы молча ожидали зеленых полей, серых, деревенских домов и темного леса на горизонте. Проехали заводы и большие дома Купчина, Мишка вернулся к своей истории.

– Ты знаешь, Краснопольский конечно чувствовал: это дело со мной плохо для него кончится. Я часто думал: к чему он тогда рассказал мне длинную историю про профессора, она не имела никакого отношения к моему делу. Сейчас я думаю, он ничего другого не мог придумать, ему, видимо, хотелось меня приручить, заговорить, что ли? У него не было детей, он не привык разговаривать с людьми моего возраста. Я как сейчас помню: он то обращался ко мне как к ребенку, то говорил со мной, как со своим другом. Порой мне казалось – он говорил сам с собой, забывая о моем присутствии. Мне хотелось спросить у Мишки, что это за история, что произошло с этим Краснопольским? Появились первые деревенские домики, забывшись, мы начала смотреть в окно. Проезжая по этим местам, я искала бугорки, воронки от бомб и снарядов, заросшие травой и кустарником. Недалеко отсюда рядом с железной дорогой была деревня, в которой родился мой отец. Я помню, я маленькой девочкой приезжала сюда в гости к папинуму брату, который погиб здесь от бомбежки. Он был болен, не смог встать с постели, уйти в бомбоубежище, его жену и дочь немцы угнали в Германию, о них с тех пор никто ничего не слышал. Мишка смотрел в окно, тоже о чем-то думал. Я попросила его рассказать все про Краснопольского.

– Я тебе, по-моему, как-то говорил, – моя тетка Эстер была первой женой Якова Моисеевича, – начал он, – потом года три-четыре он был женат на дочери своего бывшего профессора, вся эта длинная история об этом профессоре. Краснопольский рассказывал мне: он слушал в университете его лекции по истории европейского права, называл тогда его фамилию, я забыл ее, помню только, она мне показалась какой-то литературной, старинной, дворянской, что ли? Имя и отчество его я помню, звали его Лев Борисович. До революции он у них в университете считался одним из самых либеральных профессоров, его

любили студенты. Близко свела их судьба после революции, точнее где-то в конце тридцатых. Яков Моисеевич разошелся с моей теткой Эстер и женился на его дочери. Жили они, даже для нас, ко всему привыкших, в довольно странных квартирных условиях. Во-первых, там жила бывшая служанка профессора и ее родственники, приехавшие откуда-то из деревни. Во-вторых, там жила бывшая профессорская жена с другим мужем и, в-третьих, Краснопольский: разойдясь с моей теткой, оставив ей жилплощадь, сам поселился у своей новой жены, дочери профессора. У отца с дочерью были две сугубо-смежные комнаты, молодоженам досталась проходная.

Профессора в двадцатые годы за какие-то грехи уволили из университета. Он поступил на работу в публичную библиотеку, оттуда, по непонятным причинам, сам уволился и вскоре после этого исчез из дома. Вера Львовна отыскала отца в Москве. Оказалось, ему, как и многим другим в те годы, начало мерещиться, будто его должны непременно арестовать. Он сбежал в Москву и прожил там всю зиму у своего бывшего студента, того самого весной арестовали. Профессор, непонятно на какие деньги, снял себе в пригороде комнатку и жил как дачник, пока Вера Львовна в конце концов не отыскала его. Все то время, пока профессор жил в Москве, он ходил в Ленинку и чем-то там занимался. Осенью Лев Борисович вернулся в Ленинград. Вера Львовна рассказала Краснопольскому: она дала обещание, никогда не вмешиваться в жизнь отца, какой бы странной она ей не казалась. Вскоре профессор лег в психиатрическую больницу на обследование, как он ей объяснил. Из больницы принес медицинскую справку, по которой получалось – он болен и состоит на психиатрическом учете. Вера Львовна рассказала мужу: вообще-то его уже давно многие считали не совсем здоровым, будто бы ее мачеха Валентина Аполлоновна, первой начала распространять про своего бывшего мужа такие слухи.

По приезде из Москвы профессор попросил дочь, продать библиотеку, картины и старинные рукописи, которыми он в своей прежней жизни, необычайно дорожил.

В то время это все ничего не стоило. Вера Львовна никак не могла придумать, кому бы это можно было предложить, чтобы успокоить отца, она куда-то запрятала все, сказав отцу – продала.

Вера Львовна несколько лет занималась древнегерманскими языками, защитила диссертацию, ее назначили зав. кафедрой в Инязе. Одновременно она начала давать частные уроки по английскому и немецкому языкам, денег на скромную жизнь им хватало.

Мишка опять повторил, его много лет занимала эта история: он решил все что слышал, записывать, хотел написать об этом пьесу или повесть, но понял: это будет смахивать на работу самого профессора, и бросил эту затею. Самое главное, это нынче не пойдет. У его родителей оказалось много знакомых, которые тоже слышали о сумасшедшем профессоре, некоторые из них, были хорошо знакомы с Верой Львовной. В то время, когда Яков Моисеевич женился на Вере Львовне, он был близким другом Мишкиного отца; его отец, как бы шутя, говорил Мишкиной матери: Яша женился из любопытства, хотел быть ближе к отцу этой особы. Мне же, – Мишка говорил, – сам Яков Моисеевич, в мои визиты, уже после истории с эмгешником, признался: он не верил в болезнь профессора. Он знал: тот ежедневно ходит в публичную библиотеку. Ему было так интересно, чем он там занимается, что однажды отправился в зал общественно-политической литературы, где профессор обычно работал, сел за его спиной, дабы рассмотреть заглавия книг, лежавших у него на столе. Перед профессором была подшивка газет: разные брошюры, постановления, указы, материалы партийных конференций и съездов. Он делал выписки в толстую с черной клеенчатой обложкой тетрадь. Тогда же Краснопольский рассказал: жизнь этого человека превращалась для него в настоящую загадку. Он даже встретился со своим другом-психиатром, чтобы выяснить симптомы разных психических заболеваний. Сам начал изучать литературу по психиатрии и в конце концов пришел к окончательному выводу: профессор не болен, ему просто эта болезнь нужна для ведения исследовательской работы –

меньше вероятность ареста. В начале своей женитьбы на Вере Львовне, Краснопольскому казалось: он сумеет разговорить старика. Он упросил жену пригласить его на чашку чая в честь их женитьбы, кончилась эта затея нехорошо – старик раскричался:

– Меня всю жизнь травят и преследуют, теперь родная дочь напустила моли в комнату, которая испортила мою единственную шубу.

На Веру Львовну эта сцена произвела ужасное впечатление. Она со слезами говорила – теперь отец снова попадет в больницу. Краснопольский же был убежден: она все знает про отца, скорей всего, сама участвует в его затее, в то же время верит в его заболевание. Иногда Краснопольскому казалось, будто они оба не совсем нормальны, как бы заигрались.

– Сейчас, – сказал Мишка, – я думаю, Яков Моисеевич обиделся на жену и тестя, поскольку те, как ему казалось, не допускали его в свою жизнь. За два года, что он прожил по соседству со Львом Борисовичем, в комнату профессора имели доступ два человека: его дочь и бывшая его служанка Анна Петровна, которая всю жизнь прожила у них в доме. У той и у другой были свои ключи от комнаты, которая всегда была заперта.

Анна Петровна была малоразговорчивой особой, она добросовестно ухаживала за своим бывшим баринном. Конечно же, Вера Львовна платила ей за услуги. Главное, за что Анна Петровна была благодарна Верочке – она устроила её на казенную службу вахтершей в свой институт. Когда она стала получать получку, практически все деньги – от Верочки, как она считала – тратила на Льва Борисовича. При этом она говорила: убогим надо помогать бескорыстно, за это Бог грехи отпустит. Окромя того, говорила она, он же не чужой, всю жизнь вместе под одной крышей прожили. Иногда она жаловалась Вере Львовне: ее племянница, которую она взяла к себе из деревни, ругает ее за Льва Борисовича, говорит, он всю жизнь эксплуатировал ее, поэтому у нее рабская душа выработалась. Анна Петровна, действительно, приходила убирать комнату профессора, когда племянницы не было дома, она содержала в

образцовом порядке все его хозяйство: чинила и штопала его одежду, крахмалила воротнички рубашек, отдавала своему знакомому сапожнику чинить его обувь и всегда, когда пекла пироги, приносила ему кусочек на тарелке, покрытой белой салфеткой. Краснопольский говорил, если бы в то лето, когда началась война, она не уехала в деревню к сестре сажать картошку, очень возможно, рукописи профессора сохранились бы. Во-первых, рассуждал он, Анна Петровна точно бы выжила, может и Веру спасла бы. Буквально через несколько дней после ее отъезда у Льва Борисовича случился инсульт, его отвезли в больницу. Через несколько дней началась война, Вера Львовна привезла его из больницы домой. У него была парализована речь, при этом его глаза очень внимательно следили за входившими в его комнату людьми. К нему приходил лечащий врач и медсестра, делавшая ему уколы. Его друг Николай Иванович из психиатрической больницы, который сам перенес инсульт – правая его рука была подвязана, ногу он волочил – приходил к нему теперь чаще обычного. Когда тестя привезли домой, Краснопольский впервые вошел в его комнату. У него в то время уже был на руках вызов в военкомат. Они с женой решили привести в порядок не спрятанные и возможно, недописанные рукописи. Кроме того, Вера Львовна решила показать мужу место, где находились спрятанные рукописи – никто не знает, кто выживет, рассуждала она. Они вошли в комнату Льва Борисовича, тот спал, вернее: сначала вошла Вера Львовна и дала мужу знак. Как только вошел Краснопольский, профессор открыл глаза, посмотрел на них, отвернулся к стенке. Утром Льву Борисовичу стало хуже. Его лицо больше покраснело, в глазах появился неестественный стеклянный блеск. Врача из поликлиники не удалось вызвать, выхода не было – надо было позвать Николая Ивановича. Он пришёл довольно быстро, научил Веру Львовну делать уколы, дал таблетки, сказав, больному нужен полный покой, ушёл.

Кое-что о рукописях Вера Львовна всё-таки рассказала мужу в первые месяцы их совместной жизни, хотя уверяла его: она не знает, о чем пишет отец, с её точки

зрения, он занимается всем этим только из-за болезни. После этого разговора Краснопольский прекратил всякие попытки говорить на эту тему. Теперь она, впервые призналась: сама перепечатала и откорректировала две части рукописи. Первая часть была посвящена соблюдению правопорядка на Новгородской Руси и исследованию влияния татаро-монгольского ига на развитие русской законности. Она говорила: последние главы были для него особенно важными и оказались наиболее сложными, поскольку у отца уже не было доступа к архивным материалам и ему приходилось пользоваться услугами молодого московского архивариуса, бывшего своего студента, который почти до конца тридцать седьмого года работал в Центральном архиве СССР. После того, как профессор вернулся, он завел картотеку на всех своих знакомых. В основном, это были бывшие его коллеги по работе, большинство из которых тоже вскоре исчезли. С семьями многих из них Вера Львовна продолжала поддерживать связь. Самыми интересными источниками для него стали: его собственная квартира и открытые материалы в библиотеке. Кстати, о жителях квартиры он иногда беседовал с Анной Петровной, которая хоть и считала его убогим, но только потому, что он такой умный и нонче не может сам себе заработать. Она Краснопольскому как-то сказала: нет уж таких ученых господ, его за большого считают, а он умнее всех.

Для заполнения карточек, рассказывала Вера Львовна в последнее время совместной супружеской жизни с Краснопольским, ее отец составил анкету. Его интересовали конкретные вопросы из жизни людей, на которых он завел карточки. Во всяком случае, вопросы он всегда задавал одни и те же и в одном и том же порядке. Вера Львовна знала эту анкету наизусть. Помимо обычных анкетных данных его интересовало, менял ли человек работу, почему он уволился или его уволили? Спрашивал о рабочей дисциплине, куда девался уволенный работник, какими деловыми качествами обладал новый человек в сравнении с ушедшим или уволенным? Обо всем этом он, видимо, много говорил с Николаем Ивановичем – тот тоже

выучил эту анкету наизусть и поставлял профессору материалы. Делал ли он по этим материалам какие-нибудь выводы, Вера Львовна не знала, поскольку последних глав она не читала. Вместе с Краснопольским они решили собрать все бумаги, записки, карточки и спрятать туда же, где были готовые рукописи.

Наша электричка прибыла в Павловск. Сначала мы решили посмотреть дворец. В вестибюле нам указали на корзину с тапочками. Мы привязали их шнурками и пошли волочить ноги по анфиладам новеньких, после реставраций, залов. Говорили что-то о красоте, которая мертва без человека, приказавшего все это построить и пользовавшегося всем этим.

Из музея мы ушли довольно скоро и направились в парк. По-прежнему было пасмурно: казалось, никогда не было ни солнца, ни дождя, будто время остановилось. Мы прошли через Висконтиев мост, дошли до пруда, он казался стеклом, потемневшим от времени зеркалом в золотой оправе осенних листьев, не хотелось ни о чем говорить. Откуда-то издали слышались звуки гитары и пьяные голоса. Мишка предложил пойти в сторону от дорожки. На холмике, под большой березой виднелась скамейка. Мы сели, чуть съежились, приготовились... Подвыпивший голос запел: "Сижу на нарах, как король на именинах". Какие-то голоса пытались встрять. Певший выругался, прокричал: "Рожи, прислушайтесь, нас товарищ увековечил!" – снова попытался запеть, остальные продолжали шуметь, ничего не было возможно понять.

Они прошли мимо, я с облегчением вздохнула:

– Слава Богу, пронесло.

– Что ты, это же почти интеллигенты, слышала песенку...

Мы посидели, я попросила Мишку дорассказать про Краснопольского.

– Я тебе уже говорил, на передовую его не отправили из-за плохого зрения, он попал в военно-полевой суд фронта. К осени немцы приблизились к Ленинграду, он оказался недалеко от города и несколько раз в ту осень приезжал домой. Последний раз он был в декабре. Жена его

тогда уже была в очень плохом состоянии, тесть умер в ноябре. Она старалась кормить получше больного отца, к тому же в ту осень ездила под Пулково, рыть окопы. В свой последний приезд в город, Яков Моисеевич все же обследовал его комнату и убедился – бумаги профессора на месте.

Зимой Яков Моисеевич получил письмо от бывшей жены профессора с извещением о смерти Веры Львовны и что Валентина Аполлоновна ждет его похоронить падчерицу – у нее нет сил сделать это без него. Еще она писала: в городе такой холод и голод, покойников много, некому хоронить. Краснопольский в это время лежал в госпитале с воспалением легких и не мог поехать хоронить жену. Он говорил: таких известий из города боялись, никто открыто не писал о положении в Ленинграде – ходили слухи, за такую информацию могли посадить и отправителя и получателя – за распространение клеветнических слухов.

Конец этой истории Краснопольский узнал уже после войны. Он снова поселился в той же квартире. Валентина Аполлоновна старалась быть с ним ласковой, приглашала на чаек. На этих чаепитиях она говорила: в квартире в живых из интеллигентных людей они остались вдвоем, все приезжие из деревни. В первую же их встречу она рассказала: ее второй муж и падчерица, жена Краснопольского, умерли почти одновременно, в конце января. Оба трупа, она прямо так и выразилась, она перетащила в кладовку, там они в замёрзшем состоянии пролежали до марта, пока в квартире не появилась Зоя, племянница Анны Петровны, которой удалось похоронить их в общую могилу. Рассказывая, она повторяла: "Что здесь было – не передать".

Зоя же рассказала эту историю несколько иначе: она говорила, будто Валентина Аполлоновна не случайно не заявляла об умерших – она пользовалась их продуктовыми карточками и таким образом выжила. Зое удалось устроиться поварихой на буксир, курсировавший из Ленинграда в Кронштадт. Когда Нева замерзла, она поступила на работу в ЖАКТ Куйбышевского района и

жила у своей подруги, вместе отапливались мебелью из пустующих квартир.

Со своей стороны, Валентина Аполлоновна говорила: главная работа Зои состояла в том, чтобы возить на санках по Литейному и по Неве, по проторенной в снегу дорожке на Финляндский вокзал людей, которые отправлялись по «дороге жизни», через ладожский лед в тыл. За эту работу она брала хлебными карточками, иногда приносила из этих вояжей драгоценности; она показывала их Валентине Аполлоновне, которая могла определить, не обманули ли ее. Между этими двумя дамами произошли какие-то недоразумения. Это Яков Моисеевич почувствовал, как только вернулся домой. Кроме того, Зоя, во время отсутствия Краснопольского, переселила его в комнату умершего мужа Валентины Аполлоновны, сама с мужем-инвалидом заняла те две сугубо-смежные комнаты, в которых жили Яков Моисеевич со своей женой и тестем. Зоя же побаивалась адвоката: – мало ли какие законы отыщет? Хотя их и было двое, а он жил один, площадь умершего мужа Валентины Аполлоновны тоже была вполне достаточна для двоих, можно было в ней жить на более законных основаниях, не переселять человека без его ведома. Она видимо надеялась, что Краснопольский с войны не вернется и у нее будут две комнаты. Яков Моисеевич решил не обращать внимания на это вынужденное его переселение из своей комнаты в чужую, решив: эта Зоя на многое способна, еще Анна Петровна предупреждала Веру – Зою по ночам брали понятой на обыски. Пока обе дамы старались ему наперебой услужить, у него с ними сложились вполне добрососедские отношения. Но ему казалось, Валентина Аполлоновна чувствует себя неловко: она одна в квартире из приличных и интеллигентных людей, как она любила выражаться, осталась жива, даже Анна Петровна и та погибла при бомбежке железной дороги, пытаясь в начале войны вернуться из деревни в Ленинград.

Помимо любопытства к работе профессора, у Краснопольского была уверенность – старик завел и на него карточку. Его естественно сильно волновала судьба рукописей, он никак не мог понять, которая из дам может

знать о них и как начать разговор. Конечно, если бы Зоя не переселила его, он мог бы проверить, на месте ли рукописи? В своих размышлениях он все же склонялся в сторону Валентины Аполлоновны, та в свою очередь почувствовала – адвоката что-то связывает с ее первым мужем, сама часто заводила о нем разговоры. Как правило, она рассказывала о своей счастливой жизни с Львом Борисовичем, когда тот был профессором университета и когда с ним никаких "странных явлений" не было. Обычно она доводила свой рассказ до момента, когда она привела в квартиру своего второго мужа-бухгалтера. Чем больше Краснопольский с ней разговаривал, тем больше убеждался – безусловно, она знает о рукописях. Он не мог понять, почему она избегает разговора о них. В то же время камин, куда они были вмурованы, стоял в Зоинной комнате, иногда ему казалось, она тоже что-то знает. Ведь сказала же она однажды, глядя ему в глаза и, как ему показалось, с многозначительной улыбкой, что намерена сломать и вынести камин: "Больно уж много места занимает, я собираюсь привезти к себе из деревни сестру с сыном". Каминном этим не пользовались с зимы семнадцатого года. В первую зиму нашей новой эры, появились в комнатах и в перегороженных залах буржуйки, попозже – обитые жестью круглые печки. Вообще-то, большинство каминов было вынесено на свалки в годы индустриализации – комнаты перекраивались на коморки. Да и непонятно было, для чего такие громадины существовали на свете.

Краснопольский однажды зашел к Зое за какой-то мелочью и заметил: изразцы, за которыми были спрятаны рукописи, сняты. У него был записан в блокнотик порядковый номер от стенки и снизу – их-то теперь и не хватало в камине. Он сделал вид, будто ничего не заметил, хотя ему показалось, Зоя перехватила его взгляд. Он сказал для отвода глаз: да, теперь эта громадина с финтифлюшками только место занимает. Зоя повела себя более определенно, она прямо указала на выломанные изразцы: "Вон видите, буржуи в печки драгоценности прятали вынуть, видать, сумели". Он на это никак не отреагировал, решил ничего больше не предпринимать: будь что будет.

В один прекрасный день все случайно прояснилось: как-то после работы Краснопольский завозился в коридоре в поисках ключа от своей комнаты. Из кухни послышался громкий Зоин голос. Она кричала Валентине Аполлоновне:

– Ты вон стенку от камина разворотила, говоришь, сил не было. Кому бы врала! Я, думаешь, не знаю, что ты там искала? Ко мне цепляешься из-за золотого полтинника, которого я в глаза не видела. Сама, небось, нагребла себе на всю жизнь, – и не только в нашей квартире – у подружек своих барынек, которые померли! Так я тебе и поверю, из дружбы к ним ходила. Не раз видела, домой с узлами возвращалась – эксплуататорша чертова, привыкла жить на нагребленном, тетка Ньюша рабой у вас в доме жила. Вера Аполлоновна повторяла: "Замолчи ты, грубиянка!" Зоя не замолкала:

– Как только вас всех не пересажали! – Хитрые! Тот вон старый – идиотом прикинулся, золотишко в камин припрятал!

Наконец-то Краснопольскому стало абсолютно ясно: только Валентина Аполлоновна могла знать о судьбе рукописей. Как выяснить, что она с ними сделала? Обдумав и взвесив все обстоятельства, он решил: она никак не могла отнести их в ЭМГБ, побоялась бы, там была заведена карточка и на нее, и на ее мужа, и на многих её друзей. Вернее всего, она их уничтожила. А вдруг, Вере удалось упросить сохранить их? Мало ли, решила исполнить волю покойницы?..

– Валентина Аполлоновна уничтожила рукописи? – не вытерпела я.

– Да, ответил Мишка.

Мишка обратился ко мне:

– Могли ли такие рукописи храниться, если о них знает больше одного человека?

– По-моему, ни хранить, ни тем более писать сейчас вообще никто не мог бы, – все это гораздо сложнее, чем мы можем себе представить.

Стемнело, был уже шестой час, дождь начал собираться. Мы поднялись и пошли по лужайке. Я сняла

туфли, шла босиком. Мягкая трава приятно холодила ноги. Хотелось есть, мы подошли к буфетной стойке. Мишка, посмотрев на тарелочках выставленные продукты, покачал головой: тебе придется подождать, этими отравиться можно. В буфете были засохшие бутерброды и сморщившиеся жареные пирожки с мясом. Я шепнула: не могу терпеть, можно попросить пирожок снизу, там они помягче. Мишка поддался, купил два пирожка с мясом и бутылку лимонада. Лимонад был сладким и теплым, пирожки резиновыми. Подошла электричка, недопив лимонада, мы побежали к вагонам, снова уселись возле окна напротив друг друга. За окном были сумерки. Поезд тронулся. В вагоне зажглось электричество.

Мишка вернулся к своей истории:

– Теперь мне кажется, только несоветский или "бывший" что ли человек мог затеять такое безнадежное и опасное дело. Кроме того, я не понимаю, на что он надеялся, для кого он писал? России свой личный опыт не нужен. Я перебила его: у этого профессора было другое образование и помни – он был не советским человеком. Мишка продолжал. – Сейчас бы обмещаниться и наесться до тошноты, без этого, какое там обобщение опыта! Философы рождались в бургерской Германии. У нас же лучшие годы жизни человека проходят в очередях, в прогуливании ребенка, на коммунальной кухне. Отсутствие своего угла. Даже если приличные жилищные условия, чаще всего муж и жена живут в одной комнате и самое главное, система нашего воспитания и образования направлена на то, чтобы лишить человека своего мышления и мировоззрения. Если же кому-нибудь и удастся контрабандой приобрести свой взгляд на жизнь, еще надо запастись мужеством, хитростью и терпением, жить с этим.

Я перебила Мишку:

– А как же летописцы? Жили себе, писали.

Он ответил:

– Что ты сравниваешь! Они просто в своих кельях писали из «лета в лето». Кто их читал? Нынче всеобуч: прочтут – донесут. Мишка замолчал. Я посмотрела за окно: там было темно, по стеклам плыли быстрые дорожки дождя.

Мы подъезжали к городу. Городские огни дробились на множество маленьких лучащихся огонечков. Поезд медленно проехал под черную крышу вокзала, – надо было выходить на улицу под дождь.

Помню, на работе на следующее утро я не могла ни на чем сосредоточиться: думала над Мишкиным рассказом. Вернее, мне начало казаться, что Мишка сделал что-то ужасное с этим Краснопольским: почему он так много говорил об этом профессоре? Чем же кончилось его дело с ЭМГБ?

В тот день я хотела попасть как можно быстрее домой, решила не заходить ни в какие магазины. "Надо скорее спросить, как это получилось: Краснопольский жив?" На улице я столкнулась с Риммой, она попросила меня пойти с ней в «Пассаж» – там ей какой-то продавец обещал оставить импортный подкладочный материал на демисезонное пальто. По дороге она описывала фасон и материю своего нового пальто, она хотела со мной посоветоваться, годится ли подкладочный материал, который ей обещали по блату в «Пассаже». Я устала, в магазине душно, в это время обычно много народу – все забегает посмотреть после работы, не выбросили ли чего? Я пыталась отделаться от Римминого предложения, она настояла, я поддалась. Сначала она потянула меня в парфюмерию: там давали польскую губную помаду. Римма встала в очередь, я присоединилась к ней и тоже купила помаду. Затем мы отправились в отдел тканей. Она долго говорила с продавцом, я гуляла рядом в отделе постельного белья, рассматривала всякие ненужные мне вещи, чтобы не мешать Римме купить по блату подкладку. Она вышла вся раскрасневшаяся, улыбка еще не успела сойти с ее полных накрашенных губ. Тут же она сказала по-деловому:

– Все в порядке, всего пятерку пришлось переплатить. Заглянем на второй этаж, в обувь, там тоже что-то дают. В обувном была жуткая давка, Римма испугалась: на ней был новенький плащ-болонья – порвут. Мы пошли к выходу. На улице она вытащила свою попку из сумки, чтобы разглядеть и показать ее при дневном свете.

Она еще хотела затащить меня в кафе, но я твердо сказала, не могу, побежала домой.

Наша первая с Мишкой коммуналка, была на втором этаже. Подойдя к лестнице, я увидела: наша парадная дверь открыта, в дверях стоит милиционер. Я поднялась на лестничную площадку и услышала откуда-то сверху голос моей тети. Я подняла голову: она энергично махала рукой с лестничной площадки третьего этажа. Милиционер вошел в квартиру, я поднялась к тете. У нее было белое от страха лицо, она прошептала: не ходи, может за тобой. Я взяла ее под руку повела в комнату. Мишки не было, на столе лежала записка – он вышел в магазин за сигаретами. Я посадила тетю на тахту и спросила, долго ли она простояла на лестнице. Я не раз пыталась ей объяснить: милиционеры ловят бандитов, за что же меня? Я попросила ее подождать: мне нужно посмотреть, что на кухне? Там была только Люба. Она сказала, за Виктором Борисовичем пришли. Я вернулась в комнату, начала опять успокаивать и убеждать тетю: я ничего такого не делаю и не говорю, чтобы за мной пришли. Тетя доказывала свое, ее было трудно сбить. Моя мать говорила ей то же самое, ее тоже не за что было брать. Она также говорила своей сестре: времена другие, теперь не 37 год. Но забрали и все – нет ее. Еще тетя говорила, будто у меня такой же характер, голова как-то не так, устроена... Всегда такой разговор кончался слезами. Я знала: мне надо было отвлечь ее какими-то посторонним разговором.

– Зачем сосредоточиваться на плохом. Никогда и нигде всем хорошо не бывает, надо как-то стараться жить.

Я знаю, как ответить на слова "нигде и никогда". Эти слова выводят меня из состояния равновесия. Я твердо уверена: нет, не везде можно посадить в тюрьму учительницу начальной школы, мать двоих детей за слова "ни за что", которые она сказала своей соседке на ее вопрос: "За что Вашего мужа посадили?". Она была права, через много лет прислали бумажку "Реабилитирован посмертно". Та учительница была моей матерью и родной сестрой моей тети, которая заменила мне мать. Тетя все знает и без меня, ей хочется, чтобы со мной не случилось той беды.

Мне трудно было начать говорить о чем-то

постороннем, хотя это обычно в таких случаях помогает. Я думаю, ее надо бы лечить, как-то изолировать, чтобы ничто не напоминало...

К счастью вошел Мишка, она при нем никогда не говорила про это. Для нее, для крестьянской дочери, слово тюрьма в любом варианте ассоциировалась с позором. Она отвернулась к окну, чтобы он не заметил ее заплаканного лица. Мы заговорили про Виктора Борисовича, тетя пришла в себя. Я вышла на кухню разогреть обед, вернулась. Миша рассказывал тете о продвинувшейся очереди на квартиру – мы скоро переедем в свою комнату, нам наша нынешняя хозяйка обещала отдать вот эту тахту, он хлопнул ладонью по тахте, на которой они сидели. Тетя отошла. Я присоединилась к Мишке, в наших планах у нас получалось все очень прилично, тетю это всегда успокаивало. Мы вместе пообедали, тетя начала собираться домой, к себе за город. У нее была сумка и сетка с продуктами. Мишка пошел проводить ее до трамвая. В квартире было тихо после ухода милиционеров. Мария Лукинична вслед за ними куда-то побежала. Я собрала со стола грязную посуду и понесла ее на кухню. Там было настоящее собрание. Выступала Люба, она говорила: ужасно жаль Марию Лукиничну, из такого, рассуждала она, человека не получится – пусть посидит. Для матери жуть в любом случае, нам спокойнее. Екатерина Александровна как настоящая коммунистка, свято верившая в прекрасное будущее и в высокое назначение человека, после Любиных слов нервно задвигалась на своем скрипучем венском стуле. Она готовила себе в большой алюминиевой кастрюле тефтели на пару, сидя спиной к обществу; тут она повернула к нам красное, распаренное лицо, стул сильно заскрипел:

– Мы все виноваты – не хотели помочь Виктору, брезговали черной работой, обмещанились, у всех хата с краю...

Всегда, при выступлениях Екатерины Александровны, мы погружались в свои дела и ей обеспечивалось наше полное молчаливое согласие, только вот эта наша молоденькая коммунистка, Элеонора Павловна, взяла себе в привычку строить на своем белом, гладеньком

личике ироническую улыбочку. При наступившей после разоблачительной речи тишине, она спросила, видела ли я новый фильм "Земляничная поляна". В ответ на мое «нет» она широко раскрыла свои чистые голубые глазки, начала пересказывать всякие новомодные трюки из этого фильма, несла что-то про подсознательное, я по-дурацки улыбалась.

Вернувшись из кухни, я пересказала Мишке кухонные новости. Мы потолковали о двух партийных поколениях, сделали небольшой вывод, из которого вытекало: от поколения Екатерины Александровны в живых остались в основном вот такие маразматика. Среди молодых появились нынче модники, толкуют о подсознательном; заодно, мы вспомнили, как Элеонора возила Екатерину Александровну к себе на работу к празднику Первое Мая выступить с воспоминаниями о гражданской войне. Она потом на кухне рассказывала: у старухи от волнения началась медвежья болезнь, партактивисты, сидевшие с ней рядом в президиуме, намучились, вытаскивая ее несколько раз из-за стола, она перепортила воздух во всем зале.

Так мы и просидели весь вечер дома, вспоминая и обсуждая разные, как нам казалось, невероятные истории из жизни наших соседей. Перед сном я попросила Мишку: расскажи все-таки, чем кончилась у тебя эта история с МГБ. – В итоге все утряслось, но это еще длинная история, тебе утром рано вставать.

Мишка устроился за столом, накрыв моим халатом настольную лампу – почитать. Джон дал нам "Миф о Сизифе" Камю. Я лежала и думала, как же это все-таки у Мишки кончилось с этим эмгебешником? Ведь ему было всего пятнадцать лет, тот уже был в чинах и уж наверняка не одного такого обработал. Неужели, действительно, Краснопольский спас? Мне он показался таким позером. Тогда, на улице и в кафе, он изображал из себя какую-то бывшую значительную личность. Во всяком случае, на него обращали внимание, видно было, ему нравилось внимание прохожих. Интересно, тот майор вовсе не добивался никакого внешнего внимания. На Невском его бы никто не заметил, он как все – понятный, простой советский гражданин, на которого никто не оглянется, в котором бы

часу он ни вышел на улицу.

Мишка заметил, что я не сплю: поди согрей молока – заснешь.

Наконец снова тепло, в часы пик никто не прогуливается, все торопятся домой с работы, на Невском суета. Я бегу к троллейбусу, проезжаю несколько остановок, мчусь к себе, радуюсь: сегодня мне не надо ничего изобретать к обеду – у меня борщ и сосиски в холодильнике у Элеоноры, я сяду читать. Мишка еще не пришел с работы. Иду на кухню. Мою кастрюлю на подоконнике кто-то передвинул на самый солнцепек, открываю крышку – в нос ударяет кислым. Борщ пришлось вылить, Элеонора куда-то ушла, говорят, хлопчет себе однокомнатную квартиру. У меня испортилось настроение – конец месяца, у нас нет денег на столовую. Опять придется пойти к Марии Лукиничне, попросить десятку до получки. Деньги занимать обычно ходила я, Мишка при этом всегда подбадривал, говоря: денег все равно бы не хватило, какая разница. У меня была навязчивая идея: прожить от получки до получки без долгов. Взяв деньги, мы отправились в молочное кафе «Ленинград», которое было рядом с нашим домом. После кафе мы решили немного пройтись, возле Дома Книги, встретили Краснопольского с его дамой. Он узнал Мишку, опять так же театрально вскинув руки, громко воскликнул:

– Ба, Михаил Алексанч! Сколько лет! – И немного потише: Как поживаем? Чем занимаемся?

Мишка стоял, огорошенный вопросами. Краснопольский продолжал, будто его вовсе не интересовали ответы: Как мама? Как бабушка? Все это время он тряс Мишкину руку, я и его дама понимающе улыбались друг другу. Наконец, прошло возбуждение от неожиданной встречи, Краснопольский и Мишка представились дамам, представили одну другой. Мы вышли из толпы, встали вплотную к согретой дневным солнцем каменной стене Дома Книги. Мишка вкратце ответил на вопросы, рассказал, как он поживает и чем занимается. Наконец им стало не о чем говорить, мы разошлись в разные стороны. Прошло минуты две-три, Мишка махнул рукой:

– Фу ты черт, забыл спросить, жива ли старушка Валентина Аполлоновна. Ей, должно быть, за восемьдесят.

Немного помолчав, он добавил:

– Я, кажется, тебе уже рассказывал, – это она во время блокады сожгла все рукописи профессора. Она говорила Краснополскому: «Я прочла такое... Если бы рукописи попали к «тем», мы бы все погибли». Годы его жизни совпали с величайшими в истории потрясениями, последствия которых непременно скажутся, может быть даже в большей степени, нежели татаро-монгольское иго, на потомках не только нашей страны, скорей всего, даже на судьбе всего мира – так о рукописях профессора говорила Вера мужу при последней встрече.

Валентина Аполлоновна призналась Краснополскому в том, что сожгла рукописи, хотя дала слово Вере сохранить их и передать мужу. При этом она всячески старалась выдать содеянное за благо. Она называла рукописи доносами сумасшедшего, опасными документами, из-за которых они все могли погибнуть и только, предав их огню, она спасла от гибели многих людей. Ей даже казалось: ее бывший муж имел какой-то злой умысел против тех, о ком он упоминал в своих записях. Так и говорила:

– Всех нас под вышку хотел подвести.

Краснополского я, действительно, здорово подставил. Как он только в живых остался, даже с работы не уволили, в общем, ничего не случилось. Получилось это во время зимних каникул. Как и в первый мой приход, все началось обычно: он расспрашивал про мои школьные дела (это была обычная разминка, он приручал меня), затем тоже, как обычно, заговорил о литературе, о ее задачах на данном этапе, опять упомянул имена Зощенко и Ахматовой, снова напомнил, о военных условиях, при которых у партии не было времени раньше заняться серьезно идеологической работой: «Война доказала нашу правоту. Это наша довоенная политика привела нас к победе. Теперь и в будущем мы будем исходить из опыта прошлого», – сказал он. В общем, все шло, как на прежних встречах. У меня, как и в предыдущие разы, шумело в ушах, в голове была путаница. Я еще после второй встречи вызубрил несколько

фраз на тот случай, если почувствую – засыпаюсь. Он в тот раз заговорил о моих литературных способностях. Я действительно писал хорошие сочинения по литературе, мой учитель иногда зачитывал их перед классом, говоря о моих несомненных литературных данных. Я не мог представить, что кто-то и про это доносил майору. Он пообещал мне поспособствовать при поступлении в Московский Литературный институт. Явно, у них в те годы послевоенной разрухи литература оказалась первоочередной задачей. Он весь был напичкан всевозможными высказываниями о литературе. Особенно часто он пользовался определением Сталина, называвшего писателей инженерами человеческих душ. Повторял избитые слова, о писательском назначении – воспитывать не только своим творчеством, оказывать повседневное влияние на людей, с которыми сталкиваешься в обыденной жизни. После этого довольно пространного введения он перешел к ребятам из нашего класса, сказав, что я должен помочь ему в воспитании молодого поколения: «Не случайно же тебе ребята доверяют». Дальше он опять начал про Герку. Он уверял меня: у него нездоровая атмосфера дома, на него явно, оказывает влияние дед. Помню, я хотел возразить: Геркин отец геройски погиб на войне. Он как бы угадал, – я хочу сказать что-то не то, сделал мне знак рукой, чтобы я не вступал, где не положено. После высказывания по поводу Герки он чуть посидел молча, барабанил по столу пальцами, видимо, что-то обдумывал.

– Вот ты дружишь с этим Штейном, начал он, знаешь ли ты, – его отец враг народа? – он говорил тебе об этом?

Я отрицательно покачал головой, отвел взгляд от его пальцев, которые сжались в кулак. У меня промелькнула в голове история с газетами, он больше ничего не говорил про Марика, – протянул мне бумажку с адресом Краснопольского. Я прочел и отвел глаза от бумажки, он, глядя на меня в упор, очень холодно и твердо произнес:

– Ну, а теперь говори правду: ты с ним консультируешься? Я кивнул. Он будто не ждал такого простого ответа, даже растерялся, плотно сжал губы и

вышел из-за стола, прошел несколько раз по кабинету, сел снова и спокойно, по-деловому, проговорил:

– Ну что ж, будем оформлять дело. Ты дал расписку о неразглашении наших бесед.

Он вынул из ящика стола папку, раскрыл ее, полистал бумажки, нашел мою расписку, положил так, чтобы я мог ее видеть:

– Что ж, давай рассказывай по порядку.

Я сказал, Краснопольский мой родственник, я решил пойти к нему. Он перебил меня:

– Он посоветовал тебе отказаться работать с нами?

Я кивнул. Он вынул из стола чистый лист бумаги и что-то довольно долго писал, я сидел и думал: вот так просто стал предателем. Внезапно у меня мелькнула мысль: может еще не все? Я же сказал, Краснопольский мой родственник, естественно, я пошел к нему. Надо только больше ничего не говорить. Главное, не говорить про расписку о сотрудничестве, будто он вообще про нее не говорил, будто мы говорили только о неразглашении моих бесед с эмгешником, – такую расписку Краснопольский действительно говорил, придется дать. Кроме того, он постоянно предупреждал меня: никому ничего не говорить.

Дописав свою бумагу, он вынул чистый лист:

– Теперь постарайся припомнить все подробно.

Я говорил очень спокойно, в голове не было никакого шума, все получалось очень логично. Кончив записывать, он сказал:

– Я хотел тебе добра, сам виноват. По этому делу тебе положено два года. Он протянул мне написанную им бумагу и велел расписаться, потом вскинул руку и крикнул:

– Иди, мне сейчас больше некогда заниматься тобой, жди повестки или звонка от нас.

В этот раз я не пошёл к Краснопольскому, хотя всю дорогу думал о том, как бы его предупредить, пойти же к нему не решился. Я понял, они следят за мной, иначе откуда бы им знать, что я хожу к Краснопольскому.

Вечером того же дня я должен был встретиться с Мариком, мы ходили с ним в наш жактовский красный уголок читать старые газеты. Получилось как-то

необдуманно, не надо было тогда осенью говорить Марику про эти газеты, кто мог знать, что у меня получатся такие дела. В то же время я успокаивал себя: всегда всего не предусмотреть. Я вспомнил: майор интересовался Мариком, надо будет ему обязательно это сказать. Про Краснопольского я решил никому ничего не говорить, даже Марику. Я понял: нам нельзя больше ходить в красный уголок. Я начал вспоминать, с чего эти чтения начались? Я их уже раньше читал, вообще, про это можно и не знать. Надо будет впредь наметить круг интересов и заняться своим конкретным делом, не прислушиваться, кто там что говорит, да и с этим кружком! Если бы мне было интересно, я мог бы пойти в Публичку и читать, сколько мне хотелось, теперь завелись дела. С этим Краснопольским да и с Мариком может плохо кончиться. С чего это началось? Я силился вспомнить. Видимо, просто из-за того, что все говорили про Марика – он очень умный, он старше меня на два года. А в общем, из-за амбиции, все это суета, с этим надо бороться в себе. Началось это так: как-то зимой Марик спросил у Герки, нет ли у него в доме подшивок старых газет. Я встрял, хотелось похвастаться.

Год тому назад, когда мы после возвращения из эвакуации получили комнату и обнаружили нашу мебель в жактовском красном уголке, я с мамой отправился перевозить ее домой. Мама ушла за машиной, я ждал ее довольно долго, тогда я и открыл книжный шкаф, вытащил оттуда старые подшивки газет. Листая их, я наткнулся на материалы троцкистско-бухаринского процесса. Имена Троцкого и Бухарина я слышал, их всегда произносили шепотом, видимо, поэтому мне захотелось узнать, что же про них писали в газетах того времени. Я и после приходил читать эти газеты. Помню, я никогда не задумывался над тем, были ли они виновны, меня мучил вопрос: почему, если они сами признались в своей виновности, люди говорят о них шепотом? Правда, после чтения у меня остался какой-то неприятный осадок, не хотелось больше вспоминать об этом. Когда Марик при мне заговорил о старых газетах, я был уверен – его интересуют именно те материалы. Я привел его в наш красный уголок, открыл ему шкаф, он

действительно сразу вытащил подшивку за 1938 год. Мы еще два раза приходили читать. После первого раза мы медленно шли по Бульвару Профсоюзов домой, я спросил у Марика:

– Интересно, существуют ли где-нибудь на свете троцкисты? Троцкий, кажется, бежал? Может быть, он организовал там свою партию?

Марик резко повернулся ко мне и заговорил очень быстро и уверенно:

– Троцкисты безусловно везде есть и будут всегда – Троцкий за революцию во всей мире, он настоящий интернационалист. У него просто не могло быть узконациональных интересов, он вместе с Лениным делал у нас революцию. Ты подумай сам, – сказал он мне, – если бы эти люди, о которых там написано, были предателями дела рабочего класса, они могли бы предать раньше или вообще могли не делать революцию, они прошли царские тюрьмы и каторги и вдруг – предатели! Я сказал ему: может они хотели заменить Сталина кем-нибудь другим. Он ответил: вполне возможно, но это никакое не предательство дела рабочего класса. Я хотел ещё что-то сказать, он поднял руку, чтобы я замолчал и продолжил:

– Знаешь, очень даже может быть, и я и мои родители, как и многие другие, тоже пытались бы этому найти более удобное объяснение, если бы не были уверены в моем отце, он был красным комиссаром, сражался на Гражданской, работал на первых стройках по восстановлению народного хозяйства, ездил по деревням с речами о преимуществах коллективного хозяйства и тоже вдруг – «враг народа».

Тут Мишка сказал: «Ты знаешь, только теперь, после крушения таких людей, каким был отец Марика, через четверть века, к ним можно отнести несколько иначе. О них жестокая шуточка, которую нынче часто можно услышать в их адрес: за что боролись...».

Незаметно, мы оказались в другом конце Невского, у Александро-Невской Лавры. Мы уходили от толпы и очутились здесь. Вошли в ворота Лавры, здесь тихо, нет

гуляющей публики, на песчаной дорожке оставались следы наших шагов. Отец Марика был из активно верующим. Такие часто становятся преступниками – продолжал Мишка. – Вообрази, если бы такой тип жил в нацистской Германии и верил бы в их идеи? Для нас было бы все ясно. Это какой-то биологический тип. Что они знали и видели в жизни, кроме погони за врагом? Кто враг?

Я предложила пойти на кладбище посмотреть на могилы знаменитых покойников. Мы деловым шагом направились вперед, вскоре заметили, – пришли куда-то не туда. Перед нами оказалось большое желтое здание. Я сказала: это, видимо, бывший архиерейский дом, Мишка предположил: здесь теперь должна быть психиатрическая лечебница. Подойдя ближе к подъезду, мы увидели голубую табличку, на которой было написано: «Родильный дом». Мишка покачал головой:

– Жизнь не перешутишь, – ты сюда не придешь рожать. Пошли домой!

На Старо-Невском мы сели на четырнадцатый троллейбус, доехали до дома. После ужина Мишка вышел в коридор покурить. Я собрала грязную посуду, поставила ее на тумбочку возле двери, накрыла кухонным полотенцем – не хотелось выходить на кухню, постелила постель, выключила верхний свет, включила настольную лампу и села ждать Мишку. Войдя в комнату, он спросил:

– Ты очень устала? Я хотел рассказать про последнюю встречу. Собственно, не только про встречу, про все, что было потом. Как я уже тебе говорил, в тот день, когда я «засыпался», я должен был встретиться с Мариком. По дороге к нему я решил сказать – им интересуются. Про Краснопольского решил никому не говорить. Я пытался успокоить себя, думал, а вдруг пронесет? Где-то в глубине души я понимал, что натворил. Помню, меня Марик удивил. Как только я сказал ему, что меня вызывали, он тут же задал мне вопрос:

– Расписку о сотрудничестве дал? Я ответил: расписался под бумажкой о неразглашении бесед. Он стиснул зубы, на его скулах выступили желваки, сдавленным голосом он проговорил:

– Спасибо. Ты уже второй. Следят...

Дальше он мне сказал:

– Ну, если расписки не давал, то во что бы то ни стало должен отказаться с ними разговаривать, о чём бы то ни было – они не дурней тебя. Меня удивило его «если». Выходит, он не совсем верит мне. В его голосе, я почувствовал высокомерие и даже презрение. Дома я подумал: если он не верит, я не должен больше ни о чем с ним разговаривать, позже мне показалось, он скорее всего, думает, я пришел к нему по заданию МГБ. Может поугагать...

После той встречи в МГБ я стал ходить под окна к Краснопольскому. Хотел увидеть свет в его окнах, набирал номер его телефона. Услышав его голос, вешал трубку. Все то время, до последнего вызова, я жил, как в бреду: каждый день, приходя домой из школы, я проверял почтовый ящик, спрашивал у бабушки, не звонил ли кто? Бабка на мой вопрос язвительно отвечала: нет, не звонит она тебе.

Он позвонил, я сам подошёл к телефону. Майор назначил мне встречу. Тех дней мне никогда не забыть, я был уверен: они заберут меня вместе с Краснопольским, устроят очную ставку нам... Я хотел немного подготовиться, взять с собой теплые вещи. Мама рассказала, о нашем соседе, которого вызвали по телефону, он больше не вернулся. Я так и не подготовился, пошел прямо из школы с учебниками в портфеле. Эта последняя встреча началась, как и все предыдущие: майор встал мне навстречу, указал на стул и уткнулся в свои бумаги. Не отрываясь от бумаг, он, как всегда, произнёс: «Как дела?». Я как всегда молчал, пока он рылся в бумагах, поскольку его первый вопрос не был рассчитан на начало беседы. Как и в предыдущий раз, он вынул с полки мою расписку о неразглашении наших бесед и положил так, чтобы я мог ее видеть. Снова он порылся в папке, достал еще одну бумажку и протянул ее мне: «На, читай!». Я конечно не запомнил ни номера статьи, которая там упоминалась, ни других тонкостей моего дела. Я только запомнил то, что я и раньше знал: я нарушил какой-то закон, рассказав Краснопольскому о моих разговорах в МГБ. Он приказал мне расписаться под отпечатанной бумагой. Я

расписался, он как бы успокаивающим тоном произнес:

– Ну вот, от тебя больше ничего не требуется, кроме правды. Так мы и будем работать. Тут я закричал: он может меня посадить хоть на два года, хоть даже на десять лет, я больше к вам не приду. Он сказал, дело не только во мне. Если я сейчас не буду делать глупостей, я спасу от неприятностей Краснопольского и что его судьба сейчас в моих руках. Он весь вытянулся ко мне через стол, прищурил глаза и прошипел:

– Ты же не хочешь, чтоб мы вызвали тебя сюда вместе с твоим дядей.

В этот момент со мной произошло что-то страшное: я схватил со стола подписанную мною бумагу, на которой он записал мои, как он выразился «показания»" на Краснопольского, я начал рвать ее и заталкивать клочки себе в рот. Пока он вылезал из-за стола, бумага была у меня во рту. Он заорал:

– Уходи! Вон отсюда! Учти: от нас не скроешься. У меня есть копия! Ты у нас попляшешь! Я этого так не оставлю! С нами такие номера не проходят!

Ночью у меня поднялась температура, утром мама вызвала неотложную помощь, меня отправили в нервную клинику. Там я пролежал две недели, на этом дело и кончилось. Всю ту зиму я мало выходил на улицу. По состоянию здоровья вышел из комитета комсомола, не встречался ни с кем из ребят, каждый день проверял почту, ходил под окна к Краснопольскому, по-прежнему набирал номер его телефона, услышав его голос, вешал трубку. Позже я узнал, моя мама ходила к завучихе в школу и рассказала ей о моем нервном расстройстве и, что я в бреду кричал про МГБ, про тюрьму, кроме того, я принес в школу из больницы справку. Помолчав, Мишка добавил:

– Это меня, видимо, спасло. Может быть то, что я был малолетним. Во всяком случае, меня больше не вызывали, хотя я часто думаю о них, мне до сих пор кажется, они интересуются мной.

Мишка посмотрел на часы:

– Тебе пора спать.

Я попросила дать мне несколько страничек «Мифа о

Сизифе». От чтения начало все путаться в голове, я заснула.

Прошло несколько лет. Я их будто проспала, хотя было много всяких событий. Мы давно получили свою восемнадцатиметровую комнату по реабилитации моих родителей. От инфаркта умер Мишкин дядя Краснопольский, нам достался его диван с высокой спинкой. Вышел из лагеря Мишкин соученик Марик. Он просидел четыре года за венгерские события. Взлетел в космос первый человек. Это событие сильно взволновало обитателей нашей новой коммуналки, в этот раз мы волновались вместе со всем миром. Но главное из-за чего совершенно изменилась наша жизнь: я родила дочку Катеньку. Пришлось много бегать и суетиться, быть по вечерам дома. Летом мы жили загородом у моей тети. Мы уже не выходили в белые ночи на улицу. В гости ходили редко, да и к нам редко кто заходил, наше новое жилье было на окраине города, в новом районе.

Катенька чуть подросла, нам удалось выбраться с окраины из маленькой коммуналки снова в большую. Жизнь за эти годы немного изменилась: крутом заговорили об искусстве, начали ходить к друг другу слушать магнитофонные ленты с записями новых песен. Начали рисовать, так для себя, не для городских или всесоюзных художественных выставок. В Москве произошло невероятное событие: посадили двух писателей, даже в газетах напечатали: они что-то передали за границу, это там перевели и напечатали. Мишка пообещал: скоро мы это тоже прочитаем, кто-то из наших приятелей уже читал. Я вспомнила про рукописи профессора:

– Вот бы труд профессора сохранился... Может быть, тоже переправили бы, начали бы изучать его материалы. Он был человеком другой, не нашей формации, писал он про послереволюционное время. Переправить было бы возможно: по городу уже несколько лет ходят иностранцы. Появились смелые люди – фарцовщики, говорят, их ловят; иностранцы же передвигаются совершенно свободно там, где им разрешают передвигаться.

Было начало ноября. Шли бесконечно нудные

ленинградские дожди, к нам в те вечера стал частенько заходить Ванечка, мы с ним познакомились у Джона. Мишка как-то встретил его на улице и привел. Я уставала за день, – больше не могла беседовать по вечерам, кроме того, из слов Ванечки, мне было трудно уловить смысл и суть. Возможно от усталости?

При нашей комнате была собственная маленькая прихожая с большим стенным шкафом, вешалкой и крохотным столиком под зеркалом. Хотя эта прихожая и была крохотной, всего три-четыре метра, в ней, если закрыть обе двери в общий коридор и в комнату, получалась уютная конура, в которой Мишка мог посидеть с Ванечкой, я же могла спокойно спать в бывшем будуаре французского посла. Действительно, одна наша старая соседка, прожившая в этой квартире с того самого времени, когда иностранные послы покинули Россию, рассказала нам, что в нашей квартире жил французский посол, наша маленькая прихожая перед комнатой была умывальней перед будуаром. В коридорчике был кафельный пол, в комнате у нас был совершенно роскошный сборный скрипучий паркет и большой красивый эркер – теперь это комнатка для Катеньки. Всем этим нам удалось обзавестись в результате трудных, многократных обменов.

Ванечка был человек ищущий. У него частенько заводились новые идеи. Однажды в холодной дождливый вечер он пришел к нам весь сияющий, растирая озябшие красные руки, он предложил создать передвижную выставку-продажу картин неофициальных, как их в последнее время стали у нас называть – левых художников. Он размечтался:

– Хорошо бы устроить такую выставку в квартирах порядочных и понимающих людей. Первым таким местом оказалась наша комната. Свой выбор, помимо всех перечисленных достоинств, он аргументировал:

– У вас большая комната, нет стариков-родителей. Помню, я гадала: то ли он глупый или до такой степени легкомысленный. Я начала втолковывать ему:

– Вместе с любителями прекрасного придут и специалисты, которых недавно прозвали: «искусствоведы в

штатском»).

– Вообще, – сказала я, – никогда не пушу к себе в дом людей, с которыми я лично не знакома. Он понес какую-то ахиною про необходимость неофициального искусства, – будто он и в самом деле живет в прошлом веке или на Монмартре. В заключение я просто сказала:

– Я ничего не хочу, устала.

Он только и ждал этого довода. Все предыдущее было для него несерьезным, устаревшим. Он заранее предусмотрел, как устранить это единственное, с его точки зрения, реальное препятствие, кстати, оно было единственным, которое он в состоянии был уладить. У Ванечки появилась новая приятельница, пару лет назад она кончила Мухинское училище. После утраты надежды стать театральной художницей, она поступила кочегаром в жактовскую кочегарку. Ванечка с восхищением говорил:

– Стены ее кочегарки увешаны совершенно прекрасными картинами, – там у нее есть даже фрески. Ее он предложил мне в помощь для устройства чаепития и уборки комнаты после гостей. Сам же он с Мишкой и с какими-то художниками устроят саму выставку. Пока он все это говорил, в моей голове мелькнула неприятная мысль:

– Не искусствовед ли он в штатском? Он и сам увлекся «этим радостный видом искусства», говорил о детском мироощущении и о том, что он не доиграл в детстве. Писание маслом уводит его в далекий мир солнечного детства. Я решительно возразила:

– Нет, если уж суждено будет пострадать, – не от, пусть даже самого передового, искусства.

Ванечка, не сказав ни слова, встал и пошел к выходу. Мишка вышел за ним. Они ушли, мне стало жаль Ванечку.

Прошла зима, с морозами, с мохнатым инеем на Александровской колонне. Чистый, сверкавший мелкими бриллиантками на морозе снег стал грязным, громадные сосульки грозили упасть с крыш на головы прохожих. В апреле действительно в городе распространился слух, будто, в самом деле, такая сосулька свалилась на голову какой-то прохожей дамочки. Но у нас ничего такого не печатают в

газетах, не сообщают по радио и тем более не показывают по телевизору, так что никак точно не узнать упала эта льдина, жива ли эта дамочка? Ну, так, в общем-то, может и спокойнее. В те весенние дни, когда в городе говорили об этой якобы убитой сосулькой дамочке, с Ванечкой стряслась беда. Вернее, беда стряслась сначала в Москве. Там опять посадили кого-то. Но в этот раз в газетах ничего не было. Говорят, в газетах ругают только тех, кто какую-нибудь литературу за границу переправляет. Эти же к какому-то памятнику подошли и что-то там успели сказать. Оказалось, Ванечка бросил живопись, всю ту зиму занимался писанием рассказов, когда тех в Москве посадили, он вместе с двумя начинающими писателями направил письмо, кажется, даже в само ЦК партии. В том письме все трое возмущались по поводу отсутствия свободы слова, митингов и демонстраций. Копию этого письма они направили за границу, Мишка слышал ночью, его читали по радиостанции «Свобода». Теперь Ванечка опять приходил к нам почти каждый вечер. Мы вместе обсуждали возникшие в связи с посланием этого письма в ЦК всевозможные сложные ситуации. Оказалось, Ванечка был членом партии, вступил в Германии, где он служил в оккупационных войсках офицером. Из партий после такого послания его единогласно прогнали на партсобрании. В вечер после собрания, он пришел к нам и подробно пересказал, как было дело, он еще много раз в другие вечера возвращался к разбору разных подробностей и, как он сам выразился «глупостей», которые были сказаны ему на партсобрании. Он смеялся над тем, как все устарело и только такие встряски, могут всколыхнуть это болото. Ванечку, то ли потому, что он не каялся, наоборот, ходил и чего-то добивался (ему хотелось удержаться на интеллигентной работе, оплачиваемой в сто двадцать рублей), то ли еще за что, стали тягать в МГБ. После посещения органов он совершенно сник, говорил: у нас никогда ничего не изменится, надо как-то просуществовать отпущенный срок. На работу ему удалось устроиться тоже в жактовскую кочегарку. Вечерами он по-прежнему заходил к нам, в нашей маленькой прихожей он рассказывал истории из

своей жизни. Иногда я, лежа в комнате на тахте, прислушивалась к их разговору. Как-то Ванечка сказал Мишке, если бы он не встретил в жизни Джона, он скорее всего был бы сейчас главным редактором в какой-нибудь районной газете. Он кончил факультет журналистики, анкетные данные у него были просто идеальные: сын питерского рабочего, русский, образование получил в вечерней школе рабочей молодежи, затем кончил военное училище. Был членом партии. Из армий демобилизовался по состоянию здоровья, вернулся в Ленинград безгрешным. Иногда он в своих рассказах вспоминал Германию, особенно после того, как они пропускали маленькую, которую Ванечка приносил в кармане своего громадного драпового пальто. Рассказывая, он рассыпался мелким смехом, краснел и закашливался. Он вспоминал, как вместе с товарищами, засидевшись в пивнушке, бежал к себе в казарму, громыхая железными подковами лейтенантских сапог по узеньким мощеным улицам маленького немецкого города. Как однажды, стоя в почетном карауле у полкового знамени во время октябрьских праздников, он «совершил грех» – вытащил из-за пазухи том Ленина (он решил самостоятельно изучить классиков марксизма-ленинизма), его за этим занятием застал дежурный офицер и снял с караула за чтение при исполнении служебного долга. За такое дело была положена гауптвахта – за Ленина простили. Иногда он рассказывал Мишке о приключениях своей юности. Как он чуть не умер от голода в блокадную зиму, как его мать прятала тело умершего отчима, они пользовались его хлебной карточкой. Он вспоминал: они жили в то время в большой комнате. Тело отчима лежало на подоконнике замороженным. Мать, когда ей удавалось натопить чуть побольше буржуйку, накрывала его ватным одеялом, чтобы оно не оттаяло, отчима обнаружили, отобрали хлебную карточку. Через неделю после того, как спустили по обледелой лестнице замороженный труп отчима, Ванечка опух и слег, его мать подняла сына, уложила на саночки и повезла в больницу. Несмотря на все возражения медперсонала, она втащила его в коридор больницы и закричала:

– Убейте нас вместе! Я его не возьму! Не могу видеть перед своей смертью, смерть сына! Ванечка остался в больнице, его выходили. Прорвали блокаду, его вместе с другими детьми, страдавшими дистрофией, увезли в Среднюю Азию. Ванечка уверял: там он страдал от голода не меньше. Он вспоминал:

– Я совершенно озверел от голода. Однажды ранней весной, пошел в степь накопать корешков и поймал там зайца, который, видимо, был болен, он не мог двигаться. Я зарезал его своим перочинным ножиком, содрал с него шкуру, собрал хвороста и каким-то невыносимым образом запек его и съел, без соли, всего зайца. Той же весной, вместе с другими ребятами сбежал из Средней Азии и несколько месяцев на крышах вагонов добирался домой в Ленинград, питаюсь тем, что удавалось стащить у очень бдительных пассажиров и на привокзальных рынках.

Я вспомнила, действительно, на любой станции, еще через несколько лет после войны, можно было видеть эту неармейского возраста одетую в грязные лохмотья шпану. Про них ходили слухи, будто, если увидишь, у какого-нибудь зазевавшегося гражданина тянут – молчи, иначе полоснут бритвой по глазам. При этом они непременно зададут вопрос: «Видел?» Полоснув: «Больше не увидишь!».

Наконец над Ванечкиной головой стихли бури, он стал реже появляться у нас. Оказалось, по ночам в своей кочегарке начал сочинять философские эссе. Когда он все же находил время придти, много говорил о немецких философах, завидовал им, по его рассказам получалось: они все были прекрасно устроены при университетах, никто их там не тревожил. Он полюбил этих философов и даже иногда, когда был в особо приятном расположении духа, грассируя, произносил немецкое слово Rabe. При этом он хихикал и довольно потирал руки. Но философию он скоро тоже бросил. Снова занялся писанием картин. Как-то я непочтительно отозвалась об увлечениях Ванечки. Мишка возразил: он теперь свободный человек – делает что хочет.

В мае сильно похолодало, по Неве шел ладожский лед, к тому же черемуха зацвела, и будто каждый год в это время холодно. Лед действительно плыл медленно, словно белые облака по спокойному небу, черемухи я в городе что-то не видала, да и листочки на деревьях только чуть-чуть начали прорезаться. Возможно, где-нибудь в лесу теплее – там, видимо, цвела черемуха.

Джон в ту зиму часто ночевал у нас, он говорил – не может жить без дома, хотя писательский профсоюз ему выхлопотал однокомнатную квартиру на окраине города. Он обозвал свое жилье человечником, жаловался: не может жить в квартире без подоконников. Вообще у него в последнее время появилось много разных странностей. Помню, как-то Мишка выяснил, что у него нет ни копейки денег, даже на транспорт, чтобы уехать в свой человечник. Мишка тайно от меня дал ему пятерку. Джон, получив деньги, отправился в магазин игрушек, купил себе детский лук и стрелы. С этим "оружием" он пошел в издательство «Советский писатель». (Там лежали рукописи его рассказов, сидели редакторы, которых он намеревался перестрелять). В Доме Книги, где это самое издательство располагалось, он поднялся на лифте на последний этаж. Возможно, просторная, с громадными окнами и широкими подоконниками лестница, сверкавшая золотом начищенных перил, с множеством завитушек, отвлекла его от «коварных» планов – он просто начал пускать стрелы в сновавших на лестнице сотрудников разных издательств. Те смущенно хихикали, прикрывали головы руками и скрывались за массивными дверями своих рабочих кабинетов. Видно, из своих убежищ они позвонили вахтерше, которая была посажена охранять их на лестничной площадке второго этажа. (В первом этаже был книжный магазин, и посторонняя публика могла забрести туда, где располагались разные издательства нашего города). В обязанность этой вахтерши, в основном, входило направлять публику к выходу. Вахтерша поднялась на последний этаж, чтобы прекратить «это». Пересказывая такое странное поведение писателя, она не смогла найти никакого другого

слова. Она так и объяснила: «Мне велели прекратить "это"» Джона она не поймала: – заметив надвигавшуюся угрозу в виде вахтерши, которая тоже прикрывая руками голову, бежала к нему, Джон быстро съехал по перилам вниз и прибежал весь в волнении и запыхавшись к нам. У нас он быстро пересказал свое героическое приключение с "расстрелом издателей", в том же взволнованном состоянии побежал еще кому-то рассказывать.

К вечеру еще больше похолодало. Пошел мокрый снег, набухшей ватой он облепил дома и деревья. Мои пожилые сердобольные соседки на кухне волновались: погибнут молодые листочки на деревьях. Уложив Катеньку, я рано улеглась. Мишка как всегда заперся в своей комнате. Посреди ночи раздался звонок, Мишка вышел открыть. Я услышала громкий, истерический голос Джона. Он все повторял «Смотри» и еще какое-то слово, которое я никак не могла разобрать. Накинув халат, я пошла посмотреть, что происходит? Приоткрыв дверь, я увидела большую с запекшейся на лице кровью голову Джона. Мишка начал меня выталкивать: «потом, потом». Джон как будто меня не узнал, на секунду замолчал и снова начал кому-то угрожать и повторил то слово, я опять его не расслышала, Мишка твердил свое: «потом, потом». Я присела на тахту и ясно услышала, он несколько раз будто провыл: «Оскопили, оскопили». Тут я вспомнила, – у него были расстегнуты штаны.

В прихожей послышалась возня, стукнула дверь в общий коридор. Я вскочила с постели – разбудят соседей. Они оба уже неслись по лестнице на улицу. Я закрыла входную дверь и вернулась ждать Мишку. Он вернулся довольно быстро, сказал: с милиционерами отправил его на скорой помощи в Бехтеревку.

В ту ночь мы долго не могли заснуть. Говорили: конечно, может быть, это у Джона наследственное. Детдомовское голодное детство в военные годы. Страшные неудачи, ему нужен был хоть один настоящий успех, возможно, болезнь проявилась бы не так рано. Ни на чью судьбу он больше не повлияет... Нет, говорил же Иван: если бы не Джон, его жизнь была бы тусклой, он никогда не

совершил бы никакого гражданского поступка. Да что Иван, а мы? Сам Джон любил повторять: "Я человек витаминный". Его витамины в нас, во всех, кто знал его, они в нашем городе.

1974-75 гг.



Борис Тененбаум

Хроники Шекспира с заметками на полях...

I



*, если б. муза вознеслась, пылая,
На яркий небосвод воображенья,
Внушив, что эта сцена – королевство.
Актеры – принцы, зрители – монархи!
Тогда бы Генрих принял образ Марса,
Ему присущий, и у ног его.
Как свора псов, война, пожар и голод
На травлю стали б рваться. Но простите,
Почтенные, что грубый, низкий ум
Дерзнул вам показать с подмостков жалких
Такой предмет высокий ...*

Таким вот впечатляющим началом открывается пьеса-хроника Шекспира под названием “Генрих V”, изображающая поход короля Генриха V во Францию в ходе Столетней войны и победу над французами в Битве при Азенкуре[1].

Эта пьеса популярна в Англии и сейчас, ее ставят в театрах, экранизуют – и конечно же, изучают в школах. Цитаты из “Генриха V” вошли в английский язык, и когда Черчилль начал свою “фултонскую” речь перевернутой наизнанку фразой из текста пьесы, он не боялся, что его аллюзии останутся непонятными[2].

Но сейчас мы популярность шекспировских текстов оставим в стороне и поговорим о содержании этой его хроники.

В конце пьесы Генрих обручается с дочерью побежденного им короля Франции, Карла VI, Екатериной. В

общем, это театральный прием - битва состоялась в 1415 году, мир же подписали только в 1420, и вот тогда-то королю Генриху V и досталась его невеста. В своем роде – добыча войны.

Вот как король Генрих Пятый, согласно Шекспиру, ухаживает за своей будущей супругой:

“...милая Кет, будь ко мне снисходительна, главным образом потому, что очень уж крепко я тебя люблю, прекрасная моя принцесса. И если ты станешь моей, Кет, - а я верю всей душой, что так будет, - то выйдет, что я возьму тебя с боя, и ты непременно станешь матерью славных солдат...”

Не правда ли, как-то очень уж по-солдатски? Ну, видимо, публика, что смотрела пьесу, находила этот стиль весьма достойным и подобающим великому герою.

В тексте пьесы, опять-таки, для достижения должного сценического эффекта обыгрывается то, что принцесса Екатерина, будущая английская королева, не говорит по-английски:

Король Генрих V:

Екатерина,

Прекрасная, прекраснейшая в мире!

Не откажите научить солдата

Словам, приятным слуху нежной дамы

И в сердце зажигающим любовь.

Екатерина:

“...Ваше величество смеетесь на меня. Я не умею говорить английский...”

Сцена обучения Екатерины Французской английскому языку и вовсе написана по-французски. Кроме того, обыгрывается несколько диалектов, свойственных уже Англии - в частности, валлийский, на котором говорили в Уэльсе. Запомним эту деталь – у нас будет случай поговорить о ней немного позже. Заметим только, что король твердо намерен действовать наступательно не только на войне, но и в браке:

“...Не смастерить ли нам между днем святого Дионисия и днем святого Георга мальчишку, полуфранцуза-полуангличанина, который отправится в Константинополь

и схватит турецкого султана за бороду? Хочешь? Что ты скажешь мне на это, моя прекрасная белая лилия?...”

Хроника Шекспира, если говорить об описании семейных событий в жизни короля, кончается на его обручении с принцессой Екатериной из королевского дома Валуа. Генрих и Екатерина поженились в 1420 году. И, верный своему слову, король Генрих Пятый действительно без долгих отлагательств смастерил своей юной супруге мальчишку, которого тоже называли Генрихом.

А потом вмешалась судьба.

Король Генрих Пятый в августе 1422 года в возрасте 34-х лет неожиданно умер, предположительно от дизентерии. После себя он оставил вдову – королеву Екатерину, плохо говорившую по-английски, с младенцем-сыном на руках и без всякой помощи и поддержки.

Ей тогда шел 22-й год.

II

Понятное дело, молодой и страстной женщине, которой была в 1422 году Екатерина Валуа, долго нести бремя вдовства было нелегко, но вступить в новый брак она не могла. Ее сын был будущим королем Англии - и мать будущего короля Англии, во-первых, должна была оставаться в Англии, во-вторых, не могла выйти замуж ни за кого, кто был бы ниже ее по социальному положению. Таких людей в Англии не было. Даже братья ее покойного мужа, будь они свободны, не могли бы на ней жениться. В конце концов, гипотетический новый муж королевы-матери становился отчимом короля Англии, со всеми вытекающими из этого факта политическими последствиями.

Так что в целях предотвратить даже и всякую попытку любого подданного повести под венец английскую королеву был принят закон, согласно которому всякий дерзнувший на это подлежал суду и опале. Конечно, формально все было обставлено не так грубо - просто в 1427 году герцог Глостер, брат покойного короля Генриха Пятого, инициировал принятие парламентом акта, по которому брак вдовствующей королевы должен был заключаться “...с согласия короля и его совета...”.

Под "...*королем*..." в данном акте парламента подразумевался шестилетний сын королевы Екатерины, он же - племянник герцога Глостера - а под "...*советом*..." – высшие сановники королевства. В первую очередь – сам герцог Глостер. В случае акта нарушения все имущество такого вот "... *мужа королевы-матери* ..." подлежало конфискации. Никто из знатных лордов не решился бы рискнуть потерей земли и собственности, так что все вроде бы было предусмотрено.

Но одна ошибка в этом замечательном плане все же была.

Возник человек, у которого не было никакой собственности, кроме его собственной головы – и как выяснилось, он был готов ей рискнуть. Человек этот носил невозможное для английского уха валлийское имя – Овейн ап Мередидд ап Тьюдоур (Owain ap Meredydd ap Tewdwr) - ко двору королевы попал непонятно в каком качестве - то ли солдата-стрелка, то ли оруженосца какого-то человека с рыцарским званием - и к 1422 году считался сквайром.

То есть лицом недворянского звания – но все же не конюхом.

Сам он говорил про себя, что он - уэльский землевладелец и солдат, потомок валлийского правителя Рис ап Грифида, Овейн, сын некоего Мередида, внук некоего Тьюдоура. Уэллс в те времена для англичан считался завоеванной скудной окраиной, населенной чуждым народом с чудным языком, так что к 1427 году Овейн ап Мередидд ап Тьюдоур счел нужным получше вписаться в окружающую его действительность и стал называть себя Оуэн Тюдор (Owen Tudor) - на английский манер.

Как раз к этому времени королева дала ему видную должность при своем дворе, назначив смотрителем за ее нарядами и всем ее гардеробом. Должность подразумевала частое общение владелицы нарядов со смотрителем за ними, и в данном случае общение это было весьма тесным. Екатерина Валуа и ее валлийский стрелок стали любовниками уже давно, не позднее 1423 года, а где-то к 1430 и вовсе тайно поженились. По крайней мере, это возможно - документов на этот счет нет никаких.

Однако Оуэн Тюдор всегда утверждал, что брак все-таки был заключен, и в доказательство этого ссылался на бесспорный факт: у него с Екатериной были общие дети, хотя и по сей день неизвестно, сколько их было. Разные источники указывают разные цифры - от четырёх до шести. Якобы первый их ребенок родился еще в 1425. Это была девочка, ее называли Тасинда Тюдор. Потом родился мальчик, Оуэн (или Томас). Про него известно побольше – он воспитывался при монастыре, стал монахом Вестминстерского аббатства. Потом подряд, в 1430 и в 1431, родились два мальчика, Эдмунд и Джаспер. В 1432 году Оуэн Тюдор получил все права англичанина – видимо, королева сочла, что он заслужил эту честь.

Потом наступает неясность – возможно, родились еще две девочки, Маргарита и Екатерина. Маргарита – якобы - впоследствии стала монахиней, но никаких точных сведений о ней нет. А Екатерине жить было суждено только два дня, потому что родилась она 1 января 1437 года, роды были неудачные, и ребенок не выжил. Вместе с девочкой умерла и ее мать.

Екатерина Валуа скончалась 3 января 1437 года, оставив своего второго супруга безутешным вдовцом. Если, конечно, они действительно были женаты, что сомнительно, потому что в завещании королевы не упомянуты ни ее второй супруг, ни дети от ее второго брака.

Но, несмотря на это такое ее небрежение по отношению к своей “...валлийской семье...”, отважный сквайр Оуэн Тюдор считается основателем династии Тюдоров.

Его внук, как это ни странно, стал королем Англии.

III

Конечно, в январе 1437 года Оуэну Тюдору было не до английского престола. Регентам Англии не было особого дела до нравственности королевы-матери, они знали, конечно, что у нее есть любовник - или любовники. В конце концов, сохранить в полной тайне несколько беременностей подряд было бы мудрено. Но когда Оуэн Тюдор начал говорить о том, что “...скончавшаяся королева Екатерина была его законной супругой...”, у регентов возникли

вопросы, и первым делом они засадили беднягу в тюрьму. Ну, на его счастье, дело обошлось - примерно после года заключения Оуэна Тюдора выпустили, а его сыновей, Эдминда и Джаспера, отдали в монастырь на воспитание. Что делать с ними, было непонятно - мальчики носили фамилию отца, они были Тюдоры, но, с другой стороны, они были сыновьями английской королевы и единоутробными братьями короля Англии, Генриха Шестого, которому к 1437 исполнялось уже 16 лет.

В общем, мальчиков решили воспитывать как подобает - не как принцев, конечно, но так, как если бы они принадлежали к знатному семейству. Скорее всего, сейчас, через пять с лишним веков, мы никогда бы о них бы и не услышали, но король совершенно неожиданно проникся к своим сводным братьям большим интересом.

Он осыпал их почестями, подарил значительные земельные владения, и даже дал им, валлийцам, титулы английского реестра высшего дворянства, что было событием беспрецедентным. Так вот старший из братьев, Эдмунд Тюдор, стал графом Ричмондом, а младший, Джаспер - графом Пембруком. Теперь они считались членами королевской семьи, хотя и боковой ее ветви. В этом качестве братья получили еще одно крупное одолжение - им обоим было даровано опекунство над Маргарет Бофорт.

Она была кузиной короля по боковой линии - у них был общий прадед. Юная Маргарет, кстати, была как бы замужем. В шестилетнем возрасте ее выдали замуж графа Саффолка. Брак носил чисто политический характер и по понятным причинам остался фиктивным – все-таки мудроно маленькой девочке и впрямь выполнять обязанности жены и супруги. В девять лет ее развели, аннулировав брачный договор, и она осталась сиротой на королевском попечении.

У королевской власти в Англии имелась важная привилегия – право на опекунство несовершеннолетних сирот, которые располагали наследством, на которое могли бы покунуться посторонние. Опекунство могло осуществляться как самим королем, так и передаваться им другому лицу, по его выбору. Иметь дело с управлением

состоянием Маргарет Бофорт было необыкновенно выгодным – она была богатейшей наследницей страны.

Эдмунд Тюдор мало что получил от отца в наследство - но его дерзкий дух он унаследовал вполне. И он решил, что глупо ограничиваться управлением того, чем можно завладеть. Эдмунд женился на своей подопечной, и тот факт, что ей было всего 12 лет, его не остановил. А чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений с аннулированием брака, оставшегося формальным, он свои супружеские права немедленно и осуществил. Поступок, что и говорить, был предусмотрительным – девочка забеременела, и родила ему сына и наследника.

Теперь уж законность брака – и следовательно, права Эдмунда на обладание состоянием жены - оспорить не смог бы никто. Но предусмотрительный Эдмунд до этого радостного события не дожил - он в 1456 году, в возрасте 26 лет, умер от чумы.

А его сын, Генрих, родился 28 января 1457 года. Вдова Эдмунда, 13-летняя леди Маргарет, графиня Ричмонд, перебралась в замок Пембрук, под защиту брата ее покойного мужа.

Главой семьи и опекуном племянника стал Джаспер Тюдор, граф Пембрук.

IV

В целом мире совершенно живых и реальных образов, который, соперничая с Господом, создал Уильям Шекспир, вряд ли сыщется более яркий персонаж злодея, чем Ричард Третий. Даже Макбет – и то лучше. Он все-таки знает колебания, угрызения совести...

Пьеса Шекспира "Ричард Третий" (содержание ее в кратком пересказе есть в Приложениях) начинается с того, что некий герцог Глостер, который еще только намерен побороться за то, чтобы стать королем Англии, Ричардом Третьим, говорит о великой победе дома Йорка, к которому он принадлежит:

Глостер:

Итак, преобразило солнце Йорка

В благое лето зиму наших смут.

И тучи, тяготевшие над нами,

*Погребены в пучине океана.
Победный лавр венчает нам чело,
Мы сбросили помятые доспехи,
Мы гул боев сменили шумом пиршеств
И клики труб музыкой сладкогласной.*

В общем – все как бы хорошо. Одно плохо – нет у герцога Глостера места в этом мире. Уж больно он нехорош собой – до того, что собаки лают ему вслед. Вот что он говорит о себе сам:

*Но я, чей облик не подходит к играм,
К умильному глядению в зеркала;
Я, слепленный так грубо, что уж где мне
Плечь распутных и жеманных нимф;
Я, у кого ни роста, ни осанки,
Кому взамен мошенница природа
Всучила хромоту и кривобокость;
Я, сделанный небрежно, кое-как
И в мир живых отправленный до срока
Таким уродливым, таким увечным,
Что лают псы, когда я прохожу, –
Чем я займусь в столь сладостное время,
На что досуг свой мирный буду тратить?
Стоять на солнце, любоваться тенью,
Да о своем уродстве рассуждать?*

Ну уж нет, он не будет рассуждать о своем уродстве. Он просто завоюет себе господство в том мире, который отвергает его уродство. Герцог Глостер, будущий король Ричард Третий – чистое персонифицированное зло. Единственное человеческое качество – храбрость. Он идет в бой, готовый сразиться насмерть, но не отступить ... А во всех прочих отношениях – злодей хуже некуда. Лжец, и предатель, он захватит власть своей силой, умом, коварством - и таким умением манипулировать людьми, что, несмотря на свое уродство, добьется даже расположения женщины, отца и мужа которой он убил. Зовут эту женщину леди Анна, и она была женой Эдуарда, сына Генриха

Шестого. Кстати – и король Генрих Шестой тоже убит. Вот как в пьесе описаны его похороны:

Входит погребальная процессия. Гроб с телом короля Генриха VI сопровождает эскорт, вооруженный алебардами, дворяне и леди Анна в трауре.

Леди Анна:

*Поставьте здесь свою честную ношу, -
Уж если честь покоится в гробу, -
Оплакать дайте мне, как подобает,
Ланкастера безвременную гибель.
Застывший лик святого короля!
Холодный прах Ланкастерского дома!
Прости, что твой я призываю дух,
Чтоб он услышал плач несчастной Анны,
Вдовы Эдуарда, сына твоего,
Заколотого тою же рукой,
Рукой, тебе нанесшей эти раны.*

Убийца же и короля Генриха Шестого, и его наследника, принца Эдуарда, и отца несчастной леди Анны - Ричард, герцог Глостер. И думает она о нем как о воплощении чудовищного, абсолютного зла:

*Жизнь улетела прочь сквозь эти окна, -
В них тщетно лью я слез моих бальзам.
Будь проклята злодейская рука!
И сердце бессердечного убийцы!
И кровь того, кто пролил эту кровь!
Да будет он, виновник наших бед,
Сам жертвою таких ужасных бедствий,
Каких я пожелать бы не могла
Ни паукам, ни аспидам, ни жабам,
Ни самым мерзким гадам на земле!
И если будет у него ребенок,
Пусть он родится жалким недоноском,
Пусть ужаснет он собственную мать
Своим нечеловеческим уродством,
А злым нравом пусть пойдет в отца!*

Но вот, Глостер подходит к ней, заводит с ней беседу – и, о чудо, он умудряется убедить ее, что все сделанное им

было сделано только во имя его любви к ней. И они расстаются так, что она чуть ли не обещает ему свою руку:

Глостер:

Ха!

*Нет, каково! Пред ней явился я,
Убийца мужа и убийца свекра;
Текли потоком ненависть из сердца,
Из уст проклятья, слезы из очей, –
И тут, в гробу, кровавая улика;
Против меня - бог, совесть, этот труп,
Со мною – ни ходатая, ни друга,
Один лишь дьявол разве да притворство;
И вопреки всему – она моя!*

Воистину, выражение "шекспировские страсти" имеет под собой почву.

Господи, но как же это все могло случиться?

▼

Генрих Шестой был неудачливым королем. Английские войска потерпели во Франции целую цепь поражений, все, что завоевал его отец, Генрих Пятый, было потеряно. В итоге он возбудил такое недовольство в самой Англии, что против него с оружием в руках поднялись недовольные. Началась гражданская война, получившая впоследствии название Войны Алой и Белой розы, борьба за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков. Название, прямо скажем, не вполне корректное - гербом Йорков служил белый вепрь, белая роза появилась позднее. А красной розы как герба Ланкастеров и вовсе не было - утверждается, что она возникла как зеркальная реакция на символ йоркистов, то есть розу взяли у Йорка, а красной сделали потому, что красный был цветом Ланкастеров. Название же - Война Роз - было придумано много позднее, скорее всего автором исторических романов Уолтером Скоттом, известным в России как Вальтер Скотт.

Незадачливый Генрих Шестой относился в ветви Ланкастеров, и был по счету третьим королем этой генеалогической линии Плантагенетов.

Война Роз началась в 1455, шла долго, но не слишком, и без особых жертв и разрушений. Население Англии в то время составляло около 2-х миллионов человек, из них – от шести до девяти тысяч "джентльменов" – рыцарей и сквайров, служившим, как правило, не непосредственно королю, а одной из пяти дюжин знатных семейств магнатов, вроде Перси, или Ховардов, или Стенли. Вот среди этих семей Война Роз вызвала истинное опустошение. Одной из жертв стал Оуэн Тюдор. Он на старости лет решил повоевать за короля, в 1461 году был взят в плен йоркистами и казнен - не за какие-то собственные грехи, и не потому, что был такой уж видной персоной, а просто так, мимоходом. Ну, и еще потому, что был отцом видного сторонника короля Генриха Шестого, графа Пембрука, уже знакомого нам Джаспера Тюдора.

Война Роз шла с переменным успехом буквально по принципу маятника: верх брала то одна, то другая сторона, побежденные скрывались на континенте Европы, где искали – и обычно находили – себе покровителей, возвращались с их помощью в Англию, и все начиналось сначала. Но наконец, 4 мая 1471 года под Тьюксбери Йорки, сторонники Белой Розы, одержали вроде бы окончательную победу. Королем Англии стал Эдуард IV Йорк. Как говорит нам энциклопедия:

...На поле сражения, названного Кровавый луг (Bloody Meadow), погибла половина войска Ланкастеров. Среди павших был и наследник короля Генриха VI Эдуард Вестминстерский. Эдуард Вестминстерский является единственным в истории Англии принцем Уэльским, павшим в сражении. Впоследствии все полководцы ланкастерцев, участвовавшие в битве при Тьюксбери, были арестованы и казнены. Королева Маргарита Анжуйская и её невестка Анна Невилл, дочь Уорика и вдова Эдуарда Вестминстерского, попали в плен к Эдуарду IV Йорку...

Генрих Шестой попал в плен и был без особого шума зарезан в Тауэре - публике было просто объявлено, что король скоропостижно скончался. То, что его убил лично младший брат нового короля, Эдуарда IV, герцог Глостер[3] – художественное допущение Шекспира. Он вообще, так

сказать, “... сгустил ...” события. Как-никак, мир длился 14 лет, вплоть до 1485. Но герцог Глостер действительно стал королем Ричардом Третьим.

На пути к трону он натворил немало.

VI

Хотя, положим, все-таки не все, что ему впоследствии приписали. Он действительно женился на леди Анне, вдове сына и наследника несчастного короля Генриха Шестого, но ее первого мужа он совершенно определенно не убивал, тот погиб в бою. И детально описанный Шекспиром в его пьесе план, по которому герцог Глостер погубил своего брата, герцога Кларенса, оклеветав его перед королем Эдуардом Четвертым, попросту вымышлен.

У Кларенса, право же, хватало грехов – он одно время бился против своих родных братьев на стороне свергнутого Йорками короля Генриха Шестого.

Но в 1478 его действительно обвинили в измене и казнили – не публично, а так сказать, частным образом. Утверждалось, что беднягу утопили в бочке с мальвазией – сладким итальянским вином. Во всяком случае, его труп не был обезглавлен, и действительно, был отправлен в аббатство к месту его вечного успокоения в бочке вина.

Глостер никакого рывка к трону тогда, в 1478, безусловно не замышлял. Шанс у него появился позднее, в 1483, когда внезапно умер его старший брат, Эдуард Четвертый. Вот тут он действовал быстро и беспощадно. Он присягнул своему 12-летнему племяннику как новому королю, Эдуарду Пятому, но дальше провел сложную интригу:

“...После того, как Роберт Стиллингтон, епископ Батский, сообщил Тайному совету о том, что он лично венчал Эдуарда IV с леди Элеонорой Батлер, и этот брак не был расторгнут к моменту венчания Эдуарда с его женой Елизаветой, парламент издал «Акт о престолонаследии», согласно которому оба их сына признавались незаконнорожденными.

Сын герцога Кларенса, среднего брата Эдуарда и Ричарда, тоже был исключен из линии престолонаследия из-за преступлений отца...”.

Поэтому престол переходил к Ричарду, герцогу Глостеру, как единственному законному наследнику. И Ричард, так уж и быть, 26 июня 1483 согласился стать королем.

Сыновей своего брата, Эдуарда IV он запер в Тауэре - и больше их не видели.

Ричард, герцог Глостер был коронован 6 июля 1485 года как Ричард Третий, король Англии, Франции и Ирландии и государь Уэллса.

Примерно через два года после коронации, где-то в июле-августе 1485 года, он узнал, что в споре за престол Англии ему бросает вызов некий граф Ричмонд. Этим “графом Ричмондом” был племянник Джаспера Тюдора, сын леди Маргарет, урожденной Бофорт.

Он же – Генрих Тюдор.

VII

Если бы вопрос рассматривался в суде, то никакого разбирательства даже и не было бы, ибо истец не имел ни малейших прав на английский престол. По отцовской линии он был внуком валлийского сквайра и французской принцессы. Какие тут могут быть притязания? Поэтому “иск” Генриха был основан на правах его матери, леди Маргарет. Она была правнучкой славного короля Эдуарда III, внучкой Джона Гонта, его сына, 1-го герцога Ланкастерского, от незаконной связи с леди Екатериной Суинфорд.

Он впоследствии женился на ней, но дело это не меняло – незаконные дети исключались из наследования, а уж из престолонаследия – тем более.

Но в роду Ланкастеров отпрысков законных браков уже не осталось, и ставка была сделана на Генриха Тюдора - не потому, что его права чего-то стоили, а потому, что такие дела решаются все-таки не в суде, а на поле боя. Сил у него было немного – из-за нехватки денег он сумел собрать во Франции не более трех тысяч человек, с которыми и отплыл в Англию. Это была его вторая попытка – он уже пробовал

нечто подобное в 1484, но тогда шторм заставил его отступить.

Однако 7 августа 1485 года высадка удалась - разумеется, в Уэллсе. К нему примкнули кое-какие силы на месте, и он сумел удвоить число своих солдат, доведя его до шести тысяч. Теоретически королевское войско должно было стереть его в порошок – расстояния в Англии были невелики, долгих переходов не требовалось, и английским королям удавалось собирать под свои знамена и 30, и 40 тысяч человек в составе ополчений своих вассалов.

Но летом 1485 года лорды что-то долго собирались в поход. Король Ричард Третий внушал им настолько противоречивые чувства, что торопиться идти к нему на помощь им никак не хотелось.

Мало того, что принцы, сыновья его старшего брата и предшественника на троне Англии, исчезли без следа, но и неожиданная смерть его жены, леди Анны, вызвала совершенно нежелательные толки. Лорды явно считали своего государя способным на все.

В общем, когда враждующие стороны сошлись на Босвортском поле в Лестершире, у Ричарда Третьего было не больше 10-11 тысяч человек. Но и этого должно было хватить с головой. Ричард разделил свои войска на три части и начал охват мятежников - его целью было истребить их всех до одного. Генрих держал свои силы вместе и поместил их под команду опытного Джона Де Вера, графа Оксфорда. О его потомстве мы еще услышим, а пока отметим только, что сражался граф Оксфорд храбро и умело, в отличие от многих сторонников короля Ричарда - они явно колебались.

Лорд Томас Стэнли и сэр Уильям Стэнли также подвели свои силы к полю битвы, но сдерживались, решая, какую сторону будет выгодное поддержать. Тогда Ричард III решил на прямой удар – со своей свитой он напал на ставку Генриха Тюдора. Ее было нетрудно опознать по знамени с красным драконом, символом Уэллса. Генрих был на грани гибели.

Но исход сражения неожиданно оказался решен совершенно по-другому.

Лорд Томас Стэнли, номинально сторонник Йорка, сменил стороны и пришел на помощь Генриху. Вообще-то у него были для этого хорошие основания - он был третьим по счету мужем леди Маргарет, матери Генриха Тюдора.

Охрана Ричарда III была перебита, а он сам сбит с лошади и убит на земле. После сражения, не теряя времени, победитель короновался на Эмбион Хилл, рядом с полем битвы.

Теперь он именовался Генрихом VII, первым королем из династии Тюдоров.

Примечания:

1. Битва при Азенкуре (фр. Bataille d'Azincourt, англ. Battle of Agincourt) — сражение, состоявшееся 25 октября 1415 года между французскими и английскими войсками близ местечка Азенкур в Северной Франции во время Столетней войны.

2. Черчилль для названия своей речи в Фултоне взял цитату из "Генри V" Шекспира, в которой молодой монарх перед битвой призывает своих солдат — "...stiffen the sinews, summon up the blood" — что означает в плохом дословном переводе: "напрягите ваши сухожилия и соберите кровь", а в переводе получше, передающем смысл сказанного: "... Врастите в землю, стойте насмерть, соберите волю в кулак ...". Отсюда, по-видимому, и пошла английская идиома "sinew of war" — "сухожилия войны" — которую Черчилль в своей излюбленной манере перевернул, сделав из нее название своей лекции: "sinews of peace" — "сухожилия мира". По-русски более естественно было бы сказать "мускулы мира".

3. Герцогские и графские титулы в Англии того времени носили характер не родового имени, а как бы должности. Скажем, Ричард Йорк, из рода Плантагенетов, герцог Глостер, был младшим братом короля Эдуарда Четвертого. А Хамфри, герцог Глостер, младший брат короля Генриха Пятого, провозглашенный «Поддержкой и Опорой королевства», был одним из двух регентов при несовершеннолетнем тогда Генрихе Шестом.



Артур Штильман

«В Большом театре и Метрополитен Опере»

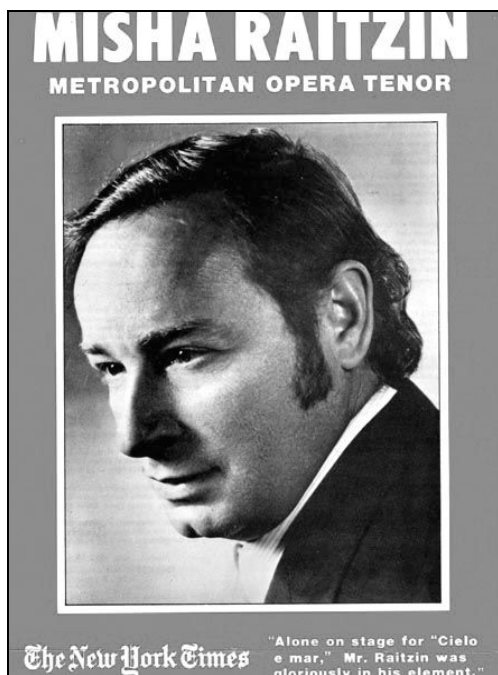
**Из книги воспоминаний
FLIGHT TWA ROME – NEW YORK**



оследние четверть часа «Боинг747» компании TWA летел довольно низко. В окно уже были видны тесно стоящие друг от друга частные домики Лонг-Айленда. Оставив позади почти десять часов полёта, огромная машина сделала два последних разворота и пошла на снижение. Наконец-то после семи недель пребывания в холодной, сырой, зимней Италии мы приземлимся в Новом Свете, где должна начаться наша новая жизнь. Действительно исторический момент для всех новых иммигрантов, которых на борту была добрая половина. Ещё несколько секунд и грохот колёс возвестил о благополучном окончании нашего путешествия.

Вышли все из самолёта довольно бодрыми, хотя мы понимали, что процедура прохождения иммиграционного контроля скорой быть не может – всё же прилетело разом около 400 человек! Понадобилось, однако не более часа с четвертью, как мы вышли со своими белыми иммиграционными карточками в кармане и голубым значком HIAS'a (Hebrew Immigrant Aid Society), приклеенным на пальто каждого иммигранта. Встречавший нас Миша Райцин был таким же, каким мы его помнили в Москве – добрым и заботливым другом. Он, казалось, совсем не изменился несмотря на прошедшие семь лет.

Миша быстро распорядился о погрузке наших двенадцати чемоданов в такси – чудом мы уместились в одной машине. В чемоданах было всё, что служило нам в Вене и Италии – постели, одежда, обувь, кухонная посуда и всё остальное – самое необходимое на первых порах для жизни. Эти чемоданы в Москве прозвали «еврейскими». Они были фибровыми, довольно крепкими, небольшими, и как раз подходили для кочевой жизни новых иммигрантов.



Misha Raitzin – Миша Райцин. Фото на концертной листовке. Середина 1970-х.

Дорогой мы успели поделиться с Мишей своими римскими опасениями в том, что HIAS, как нам казалось в Риме, хотел нас «сбросить» на личный гарант Миши, то есть «умыть руки» с нашим устройством в Нью-Йорке в первое время. Оказалось, что Миша лишь обязался взять нас к себе на время подыскания квартиры, а всё бытовое устройство и финансовая помощь оставались на ответственности HIAS`а

и его подразделения – Нью-Йоркской ассоциации новых американцев – NYANA.

Разговор был неожиданно прерван открывшейся величественной панорамой ночного Манхэттена. Сверкали башни Всемирного торгового центра, знаменитый небоскрёб «Эмпайр-Стейт билдинг», «Крайслер Билдинг», и другие, названий которых мы не знали. Весь путь не занял и тридцати минут, как мы подкатили к дому Миши на Вест 86-й стрит. Лифтёр вышел помочь выгрузить из такси наши чемоданы и доставил их вместе с нами на лифте в квартиру Райциных.

Мы уже знали все комнаты его квартиры по фотографиям, посланным лет пять назад их родственникам в Москву.

Едва мы успели приветствовать Милу Райцину и их 8-летнюю дочь Марину, как неожиданно раздался звонок – в дверь вошла соседка, которую Миша едва знал. Она принесла бутылку вина, приветствовала нас, новых иммигрантов в Нью-Йорке и пожелала счастья в новой жизни. Оказалось, что возвращаясь с работы в Университете, где она была профессором, и увидев нашу разгрузку, решила вот так просто зайти приветствовать незнакомых людей и пожелать им счастья и удачи! Это было очень трогательно. Так мы столкнулись впервые с истинным дружелюбием и добросердечием американцев.

Мишина жена Мила приготовила дивный обед, показавшийся нам совершенно экстраординарным. Позднее мы узнали, что многие компоненты обеда были приготовлены из того, что в Москве называлось «полуфабрикаты» – прекрасные котлеты из фарша индюшки; быстро растворимое картофельное пюре и т.д. Клубника (в январе!), свежие помидоры, огурцы – чудо в разгар зимы! Особенно невероятное на недавнем московском фоне. Впрочем, всё это никак не снижало кулинарного искусства хозяйки

Человек быстро привыкает к хорошему, но всё же изобилие любых продуктов – мяса, рыбы, птицы, овощей и фруктов – в первое время производило на нас ошеломляющее впечатление. Вскоре после обеда мы упали

без сил и проспали примерно до десяти утра следующего дня.

Миша был всегда удивительным другом, но теперь мы попали в новую обстановку, новую языковую среду, и его руководство нашими делами было бесценным.

На следующий день я позвонил Марине Яблонской-Марковой. Она и её муж – известный концертный скрипач-виртуоз Альберт Марков – уже знали о нашем прибытии. В тот же день, Марина, работавшая в оркестре Нью-Йоркской Сити-Оперы привезла мне прекрасный французский смычок, которым я мог пользоваться неограниченное время, пока не обрету собственных достойных смычков (из Москвы мне разрешили вывезти смычок, который мог стоить максимум 20 долл. – деревянный, а не фернамбуковый – не пригодный для профессиональной работы. На смычке «отыгрались», так как разрешили вывезти отличный современный инструмент работы Юрия Малиновского).

Марковы, как и Миша, приняли самое деятельное участие в нашем устройстве в Нью-Йорке.

Прежде всего они пригласили меня принять участие в концерте Камерного оркестра через несколько дней. Этим оркестром руководил Альберт Марков. Концерт был организован в Линкольн-Центре в «Аллис Талли Холл» Андреем Седых (владельцем газеты «Новое русское слово») для сбора средств в «Литературный фонд» - организации помощи старым русским литераторам. Заболевшего тенора Николая Гедда заменил Миша Райцин. Концерт прошёл с большим успехом. Ещё до концерта у касс я встретил отца Марины - Михаила Павловича Яблонского. Это он в 1942 году добыл для моей мамы и меня пропуск в Москву, чтобы мы могли вернуться из эвакуации.

Внезапно произошло что-то странное - мне показалось, что какая-то «машина времени» перенесла все знакомые лица из Москвы сюда, в фойе концертного зала. Я увидел моего соученика по школе, когда ему было 18 лет! Конечно, это был не он. Это был его сын. Другие лица казались виденными совсем недавно...

Михаил Павлович тут же выразил свою уверенность в том, что я, конечно, буду работать в Метрополитен Опере!

Я смотрел на вещи здраво, и не строил себе никаких иллюзий в трудностях устройства на работу в Нью-Йорке. На станциях метро я видел целые взводы и роты скрипачей. Только скрипачей! Вообще, публика в метро, или как это называется в Нью-Йорке – сабвее – сильно отличалась от московской, Прежде всего - полное отсутствие военных. В Москве их всегда было очень много и в метро и на улицах. Вторым впечатлением было большое количество музыкантов всех специальностей. Все куда-то спешили. Неужели все они работают? Всё-таки город не резиновый – где же взять работу для всего этого количества музыкантов?

Но пока что, стоя в фойе концертного зала, я сказал Михаилу Павловичу, что при таком количестве музыкантов хорошо бы устроиться хоть как-то, неважно где, и что он, как мне кажется, сильно идеализирует положение, если думает, что меня ждут в Метрополитен Опере. Он же повторил с полной уверенностью, что именно там я и буду работать.

После концерта за кулисы пришёл Андрей Седых поблагодарить участников концерта. Я слышал его голос по радио в передачах «Голоса Америки» не один раз. Миша Райцин меня представил и я сказал, что знаю о нём давно и читал даже в Москве многие газеты «Новое русское слово», каким-то образом всё же попадавшие в Советский Союз. Он сказал, что не сомневается в том, что одним из нескольких подписчиков на его газету в Москве является КГБ. Я спросил его, не опасается ли он за свою жизнь? Ведь его газета публикует часто сенсационные материалы. На это он ответил: «Знаете, если они захотят, то «достанут» кого угодно и где угодно. А так...Я думаю, что им даже интересно и в какой-то мере полезно знать, что мы здесь пишем. Так что опасаться, в общем, нечего».

Почти все вновь приехавшие иммигранты в первые месяцы смотрели в окна в поисках какого-нибудь подозрительного человека. Всем казалось, что КГБ будет, конечно, наблюдать за ними и здесь и притом самым пристальным образом. Не могу понять, как подобная параноидальная идея может овладеть множеством людей, но я и сам часто открывал занавески в вечернее время на нашей

первой квартире на первом этаже в поисках такого персонажа. Конечно я, как и все, никого и никогда не видел...



Слева направо: Татьяна Штильман, Альберт Котель, Геннадий Рождественский и автор. 1991 год, Нью-Йорк

Мы прожили у Миши Райцина 16 дней. В первые же дни на квартиру к Мише пришёл друг Марковых, которому они меня рекомендовали. Звали его Альберт Котель. Он был исключительно колоритной личностью. Родом из Вильны, в начале 20-х годов переехавший с семьёй в Варшаву, он был не только отличным солистом-виолончелистом, но и первым концертмейстером группы виолончелей Палестинского Симфонического оркестра (так оркестр называли англичане, а на иврите он назывался Симфоническим оркестром Эрец Исраэль - *ha-Tizmoret ha-Simfonit ha-Eretz-Yisre'elit*), организованного в 1936 году всемирно известным скрипачом Брониславом Губерманом. Он пригласил Котеля в качестве концертмейстера группы виолончелей в основанный им оркестр (с 1948 года - оркестр Израильской филармонии (ИПО) – один из лучших симфонических оркестров мира). Оркестр дал работу и возможность спасти жизни многих музыкантов из нацистской Германии и Европы. На первых скрипках оркестра играли семь

концертмейстеров крупнейших германских оркестров! Так что его состав с самого начала был уникальным.

Котель был живой энциклопедией истории музыкально-исполнительского искусства XX века в Европе и Америке. Трудно себе простить, что его рассказы не были записаны на магнитофонную плёнку. Он был близко знаком с такими всемирными знаменитостями, как виолончелисты Григорий Пятигорский, Эммануил Фейерман; скрипачи Айзик Стерн, Миша Эльман, Натан Мильштейн. С Леонардом Бернштайном он был знаком ещё с 1948 года в Израиле. Во время Войны за независимость они дали концерт в только что освобождённой Беэр-Шеве, где Бернштайн играл «Голубую рапсодию» Гершвина и дирижировал оркестром Палестинской филармонии. Через несколько дней Бернштайн вёл джип по Старому Иерусалиму и около Дамасских ворот они с Котелем попали под обстрел иорданских снайперов, стрелявших со стен Старого города. Они пролежали несколько часов под машиной, пока израильские снайперы не «сняли» иорданцев со стены.

Естественно, что Котель был знаком и с прославленным Артуро Toscanini, который дирижировал на открытии оркестра в Тель-Авиве и Иерусалиме в 1936 году, причём безвозмездно!

Мы близко познакомились и подружились с Альбертом на многие годы, хотя он был старше меня на 25 лет.

Котель пробыл в Израиле до 1949 года. После чего уехал в Америку. Здесь он организовал фортепианное трио, работал в оркестрах Бостона, Чикаго, но больше всего любил играть камерную музыку и дирижировать камерным оркестром. Как раз в это время он получил грант на несколько концертов и пригласил меня сыграть с ним эту серию концертов. Я спросил его, желает ли он меня прослушать? Он сказал, что раз меня рекомендовали Марковы, то в этом нет никакой надобности.

Так что я был пока обеспечен несколькими выступлениями в камерном оркестре.

В это время мы, вернее Миша, нашёл для нас квартиру в районе северного Манхэттена, где селились многие американские музыканты и иммигранты. Квартира наша стоила в месяц смехотворную сумму – 187 долларов! Даже по тем временам это было потрясающе дёшево. Мы бы никогда не получили этой квартиры, если бы не Миша Райцин. В те годы его знали в Нью-Йорке все, кто имел хоть какое-то отношение к миру еврейских общин. В каждом большом районе Нью-Йорка - Манхэттене, Бруклине, Квинсе, Бронксе или Ривердейле было большое количество еврейских общинных центров при местных синагогах. Вот там-то и не было, пожалуй, человека, который бы не слышал имени Миши Райцина. Приехав в Нью-Йорк только шесть лет назад, он вскоре выступил на торжественном обеде организации «Объединённый еврейский призыв» (UJA) в честь Голды Меир. Пел он во время еврейских праздников в синагоге при ООН и в других крупнейших синагогах города. А вскоре он дебютировал в Метрополитен Опере в роли Самозванца в опере Мусоргского «Борис Годунов». Это была новая постановка в MET Опере с участием знаменитого финского баса Марти Талвела. Миша тогда имел превосходные рецензии, что открыло ему путь в MET в качестве солиста на долгие годы.

Итак, тринадцатого февраля 1980 года мы перебрались на новую квартиру и начали самостоятельную жизнь. Как это ни странно, но это была наша с женой первая *своя* отдельная квартира! Мне было 44 года, а жене 39, когда мы, наконец обрели полную самостоятельность от родительской опеки. Многие из нас хорошо знали этот жизненный «жанр» - каждый по своему собственному опыту – но при неперменной общей квартире – будь то с соседями или с родителями.

2

НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В НЬЮ-ЙОРКЕ И НЕОЖИДАННЫЙ ДЕБЮТ В МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРЕ

Первые несколько месяцев, до устройства на работу, организация для новых иммигрантов NYANA оплачивала квартиру и выдавала около 200 долл. в месяц на семью. Кроме того, она помогала в оформлении документов –

получении карточки социального обеспечения, что давало право на работу, получении водительских прав и т.д. Во время первого собеседования мы услышали довольно странную для нас новость. «Если вы устроитесь на работу, - сказала наша ведущая миссис Шёнфельд, - то мы будем вам помогать ещё несколько недель после того. Но если в течение трёх месяцев вы не устроитесь на работу, то вашу жену мы пошлём либо на курсы бухгалтеров, либо на работу на ювелирную фабрику, и помогать вам больше не сможем». Это казалось удивительно нелогичным, но как оказалось было общим принципом приёма иммигрантов в Америке.



Первый трубач оркестра МЕТ Мэл Бройэлс

Как бы то ни было я пока решил сыграть на конкурсе на вакантные места в Симфонический оркестр штата Нью Джерси, базой которого служил близлежащий город Ньюарк. В это же время начался праздник еврейской Пасхи - Pasover. Он продолжается десять дней. NYANA в эти дни не работала, так как большинство служащих было на каникулах.

Я доехал до Ньюарка и без приключений добрался до концертного зала «Symphony Hall» (как выяснилось впоследствии в нём выступали в своё время Рахманинов, Крейслер, Артур Рубинштейн, Иосиф Гофман и многие другие мировые знаменитости).

Город был в развалинах, как после боёв Второй мировой войны: выгоревшие небоскрёбы, брошенные на произвол судьбы целые городские кварталы – результат негритянских волнений 1967 года.



Таким был Ньюарк в начале 1980-х

Сыграв на конкурсе требуемые оркестровые отрывки из различных пьес, увертюр и симфоний, (что потребовало солидной подготовки - всё же работал я 13 лет в оперном оркестре Большого театра и симфоническую музыку мы играли не часто), мне казалось, что я в основном благополучно прошёл этот этап прослушивания и ожидал следующего – игры сольной программы.



Ньюарк сегодня. Здание с золотым куполом – Симфони-Холл после реставрации

Ко мне подошёл инспектор оркестра и что-то мне сказал, как я понял, что я на второй тур не прошёл. Я кратко выругался, сложил скрипку и уехал обратно в Нью-Йорк.

Пока у меня было впереди ещё два концерта с Котелем в камерном оркестре, но потом - ничего.

Закончились пасхальные каникулы. Мне позвонил Миша Райцин и сказал, чтобы я немедленно звонил миссис Шёнфельд в НАЙАНУ. Я позвонил, и она попросила приехать к ней в офис. Там она спросила, почему я уехал с конкурса? Я ответил, что как я понял – это было для меня всё. «Нет, – сказала она, – вы должны теперь приехать и сыграть главному дирижёру Томасу Михалаку свою сольную программу. Вы просто не поняли». Это была уже приятная новость. Но ещё до этой новости произошло то, что определило мою музыкальную, да и жизненную судьбу на следующие двадцать три года.

После одной из репетиций с Альбертом Котелем, он пригласил меня на ланч в свой любимый близлежащий ресторан «Бар Американа» на Бродвее. Это был превосходный ресторан, специализацией которого были мясные стейки и морские продукты. Альберт сыграл роль доброго вестника судьбы. Накануне он встретил своего старого приятеля – виолончелиста и инспектора оркестра МЕТ Оперы Эдди Со'деро и узнал от него, что оркестру МЕТ срочно требуется скрипач с оперным опытом, чтобы заменить на несколько недель заболевшего члена оркестра. «Я подумал сразу же о вас, – сказал Альберт, – и попросите Мишу Райцина завтра же поговорить с кем-нибудь там в театре...»

Всё как-то случайно совпало: именно в тот момент в МЕТе кто-то заболел и срочно понадобился скрипач с оперным опытом, именно в это время Котель встретил Содеро, именно в это время я уже был в Нью-Йорке, и именно в это время в МЕТе работал Миша Райцин. Это последнее обстоятельство было важнейшим звеном. На следующее утро у Миши была репетиция в театре. Он увидел одного своего знакомого, и спросил его - не знает ли он кого-нибудь из оркестра? «Знаю, – ответил его знакомый. Я – персонэл-менеджер оркестра». Это был Эйб Маркус, бывший ударник оркестра, а теперь его директор. Услышав обо мне, он сказал: «Завтра же скажи ему придти сюда к 11

утра и взять свою карточку «сошиэл-секьюрити». Больше ничего». Назавтра я явился со *скрипкой*, но как и сказал Эйб Маркус, он только записал номер моей карточки и попросил придти на следующий день для прослушивания. Утром я снова был в МЕТ и встретился со вторым концертмейстером оркестра Джино Кампионе. Это был милейший и доброжелательный человек. Он, недолго послушав в моём исполнении Фугу Баха для скрипки соло и кусок Концерта Моцарта, сказал, что ему всё ясно и дал мне сыграть начало увертюры к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» и увертюру к опере Пуччини «Мадам Баттерфляй». Он наговорил мне много комплиментов и повторил их в моём присутствии в офисе Маркуса. Мне велено было придти на репетицию оперы «Парцифаль» Вагнера через два дня - 28 марта.



1991 года. За пультом германский дирижёр Кристиан Тилеман, Справа от него за первым пультом виден Реймонд Гневек и Джино Кампионе

Понятно, что я никогда не играл этой оперы в Большом театре и просидел два дня, тщательно разучивая новый материал - пока только 1-го акта.

Когда через два дня я впервые сел за пульт, какой-то очень озабоченный скрипач вошёл в оркестр. Оказалось, что это был первый концертмейстер Рэймонд Гневек. Он был американцем польского происхождения. Как я понял, Маркус не совсем ему доверял и потому препоручил моё прослушивание человеку, в котором был уверен – Кампионе. Через некоторое время Гневек подошёл ко мне,

вполне дружелюбно поговорил, расспросив у кого я учился, где работал. А потом я сам ему сказал, что хотел бы поиграть также и ему, чтобы он имел обо мне представление. Через неделю мы остались вдвоём после репетиции и вошли в маленькую комнату, где в шкафах оркестранты оставляли свои инструменты и пальто. Там я ему сыграл лишь соло - то же самое, что и для Кампионе. Я заметил странные искры в его глазах после полного исполнения Фуги Баха.



Концертмейстер оркестра МЕТ Оперы Реймонд Гневек
(концертмейстер с 1958 года по 2000-й)

Он даже сделал любезный жест, как бы поаплодировав. Сказав «спасибо» и выйдя из комнаты, он увидел в открытой напротив двери офиса сидящих там Эйба Маркуса и Эдди Содеро. Они всё слышали через дверь и Рэю Гневеку ничего не оставалось, как дать мне также самые лучшие отзывы. Но, как видно, он из-за моей игры на меня сильно обиделся. Во всяком случае расстроился и недели две старался меня не замечать, а потом всё как-то пришло в норму. Он увидел, что я вёл себя всегда скромно, но с достоинством, и стал относиться ко мне вполне дружелюбно все годы совместной работы до самого его ухода на пенсию в 2000 году.

Во время первой репетиции Левайн довольно часто смотрел в мою сторону, но всегда встречая мой ответный взгляд, понял, что я не новичок в этом деле и, как мне показалось, вполне успокоился на мой счёт. Он, конечно знал, что меня рекомендовал Миша, но теперь он хотел ещё раз посмотреть, как я ориентируюсь и в других операх и разрешил Маркусу пригласить меня на две недели тура с театром - в Вашингтон и Кливленд.



Майкл Парлофф – бессменный первый флейтист оркестра МЕТ

Первый спектакль «Парцифаль» в МЕТ я играл также со скрипачом, так сказать «со стороны». Это был Оскар Вайзнер (он сам был иммигрантом из Вены и жил в Нью-Йорке с 1939 года), член оркестра Нью-Йоркской Филармонии и бывший скрипач МЕТ. В первом же антракте он пошёл в офис и наговорил обо мне массу комплиментов Эдди Содеро. Во втором антракте Содеро спросил, как мне нравится мой партнёр по пульту. Я сумел ему сказать, что вопрос не в том, как **он** мне нравится, а в том, насколько **я** ему нравлюсь? Содеро тогда сказал, что Оскар дал обо мне самые прекрасные отзывы и что в будущем сезоне они будут меня занимать максимум времени. Он добавил также, что они рады встретить меня в самый нужный для них момент.

Всё это было очень приятно и исключительно важно в долгосрочном плане, но жизненных вопросов пока не решало: нужна медицинская страховка на семью, нужно где-то работать летом – ведь мы приехали практически без

денег – обмененные «московские» триста долларов были наполовину проедены в Италии. Так что пока нужно было иметь хотя и скромное, но постоянное место работы.



Первый гобой оркестра Метрополитэн Оперы - Илэйн Дукас

После одной из репетиций в МЕТ, в тёплый апрельский вечер я приехал в один из колледжей Нью-Джерси, где до концерта меня должен был прослушать дирижёр Томас Михалак.

Он меня встретил очень любезно. Оказалось, что он хорошо говорит по-русски и прослушав меня спросил, где я сейчас играю? Я ответил, что начал работать в МЕТ, что конечно произвело на него впечатление. Он сказал, что мне позвонят. Я решил спросить о его решении сейчас, объяснив это тем, что уезжаю с МЕТ в тур в ближайшее воскресенье. Тогда он сказал уже по-английски – «Вы имеете работу здесь». Так произошло чудо - я начал работать в МЕТ и у меня была перспектива работы на большую часть лета в Нью-Джерси.

3

ВАШИНГТОН И КЛИВЛЕНД

Весна 1980 года в Нью-Йорке была исключительно тёплой. В последнюю неделю апреля в Вашингтоне было уже почти что жарко. Мы прилетели туда на самолёте компании «Бранифф», обанкротившейся в следующем году. Оказалось, что такие банкротства всегда происходят в Америке внезапно. Пока же мы получали удовольствие от часового перелёта в Вашингтон с шампанским и лёгким

завтраком. В ту пору у «Бранифф» с Метрополитен оперой был постоянный контракт на перевозки труппы во время гастролей по Америке, и компания старалась каждый раз создать максимально комфортные условия для своих клиентов.



Сцена Метрополитен оперы

Нас поселили в недорогой гостинице примерно в 40 минутах езды от города. В тот же вечер состоялся первый спектакль - «Любовный напиток» Доницетти. В Большом театре в мои годы не шла ни одна опера Доницетти, и теперь всё приходилось схватывать налету - никакого времени для даже краткого ознакомления с репертуаром не было.

В тот вечер пели Лучано Паваротти и Джудит Блейген. Они были прекрасной парой, и их исполнение даже было записано на видеофильм. Джудит Блейген была женой концертмейстера Реймонда Гневекка и, как оказалось, была также бывшей скрипачкой!

Голос Паваротти звучал исключительно красиво и мягко, но мне казалось, что ему многого не хватало до исполнения этой оперы Беньямино Джильи, знакомого по записи на пластинке. И не только великого Джильи, но и Карло Бергонци, который хотя и перевалил в это время за

свои пятьдесят, но оставался изумительным представителем классического итальянского бельканто.

Опера оказалось довольно трудной - очень часты были внезапные отклонения от темпа из-за «капризности» исполнения тенора, а кроме того партитура была скорее сродни партитурам Моцарта - такой же прозрачной и «открытой», из-за лёгкости инструментовки Доницетти. Словом, этот уже настоящий рабочий дебют оказался делом непростым и нелёгким. Сам ансамбль оркестра звучал исключительно слаженно и гибко реагировал на любые неожиданности со стороны певцов. Дирижировал опытный дирижёр Николая Ришиньо. Он был очень скуп в жестах, но зато совершенно ясен и понятен.



МЕТ Опера – 1982 год

Вторым спектаклем совершенно новым для меня была опера Бенджамена Бриттена «Билли Бадд». Партитуры Бриттена очень сложны и, хотя у меня и было полтора дня на ознакомление с материалом, всё же приходилось напрягать всё внимание, чтобы держаться в ансамбле так сказать «на плаву». Всё это было больше, чем экзаменом, тем более, что именно в этой поездке решался вопрос о моей дальнейшей работе – во время туров люди всегда

раскрываются полностью и по-человечески, и профессионально.

К счастью, третьей оперой была знакомая «Травиата» Верди. Это во многом облегчило мою задачу в этой поездке. Я сразу же встретился с совершенно иной реальностью работы в МЕТ Опере - репертуар здесь был необъятно широк по количеству опер композиторов многих стран и эпох: здесь шли почти все оперы Верди, и это было, быть может, главной ценностью репертуара МЕТ в те годы. Шло много опер Рихарда Штрауса – все они невероятно трудны для оркестра. Шёл также почти весь Вагнер. Моцарт всегда был представлен шестью-семью операми. Игались достаточно часто произведения Генделя. Пуччини был представлен очень широко, равно как и Доницетти. Оперы Беллини соседствовали со ставшими классическими произведениями Бриттена – «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь», «Билли Бад», «Смерть в Венеции». Всегда шла опера Бетховена «Фиделио».

Из русского репертуара часто шли «Борис Годунов» в постановке 1974 года и «Евгений Онегин». «Хованщина» была поставлена при мне заново через несколько лет. На моих глазах осенью 1981-го рождался спектакль «Богема» Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли.

Всё это было гигантским контрастом с работой в Большом театре. Я хотел бы здесь быть правильно понятым: Большой театр - прежде всего **национальный** театр оперы и балета. Его репертуар составляли главным образом произведения **русских** композиторов и избранных опер традиционной мировой классики. Метрополитен Опера - только оперный театр и театр этот **интернациональный и космополитический** – здесь идут оперы прежде всего итальянских композиторов, затем немецкой классики - Моцарта и Бетховена, композиторов Франции Гуно, Массне, Бизе, Сен-Санса, Равеля, Дебюсси, Пуленка, композиторов-классиков XX века: Прокофьева, Шостаковича, Альбана Берга, Шёнберга, Стравинского, Бартока, Бриттена, Гершвина, а также современных американских композиторов. К этому нужно добавить и шедевры русской классики – «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского,

«Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. И, как уже говорилось – почти весь Вагнер!

Одно это перечисление говорит само за себя. Метрополитен Опера - действительно интернациональный театр оперного искусства, представлявший тогда всё самое лучшее, что было в мире музыкального театра. К сожалению, примерно с 1994 года стал наблюдаться некоторый спад по причинам, о которых пойдёт речь позже.

В начале же 80-х годов можно было без преувеличения серьёзно говорить о том, что МЕТ опера буквально в каждом спектакле давала высшие образцы искусства вокала, актёрской игры, работы художников и дирижёров. Так что для тех, кому выпала редчайшая жизненная удача работать в те годы в этом театре так повезло, как может быть только раз в жизни.

В первые же дни репетиций «Парцифалья» ко мне подошёл молодой человек, показавшийся знакомым. Он заговорил со мной по-русски и оказался бывшим студентом...Цыганова! Это был Володя Баранов, брат которого, также скрипач, был одним из концертмейстеров Оркестра радио в Москве (БСО), а теперь занимал такое же положение в оркестре Лос-анджелесской Филармонии.

Володя оказался очень дружественным и милым человеком, и мы были действительными друзьями все годы моей работы в МЕТ – 23 года.

Вообще все новые коллеги отнеслись ко мне исключительно дружелюбно. Я познакомился с одним альтистом, работавшим к тому времени в МЕТ около полувека. Звали его Дэвид Учитель. Да, именно Учитель. Естественно, что его имя произносили как «Ю'читэл», но это дело не меняло. Конечно же его родители приехали на заре века из «Гродно-губернии», как объясняло большинство потомков бывших российских иммигрантов. Дэвид был примечательной личностью и крупным коллекционером звукозаписей. Так у него имелись редчайшие записи 1-й части Концерта Паганини №1 в исполнении молодых Хейфеца и Ойстраха. Обе записи никогда не были в продаже и даже никогда не демонстрировались по радио.

Осенью 1980-го я решил принести ему для ознакомления с игрой молодых советских скрипачей пластинку с записью одного из моих соучеников по Консерватории. После прослушивания пластинки Дэвид сказал мне: «Артур! Он играет как слепой! Ты когда-нибудь слышал, как играют слепые? Так вот: он идёт в *никуда!* Это лишено всякого смысла». Чем руководствовался в своей оценке Дэвид? Он довольно точно ощутил отсутствие высшего замысла в интерпретации и превалирование самолюбования звуком и технической лёгкостью. Мы как-то не замечали этого в Москве, но Дэвид был исключительно эрудированным профессиональным музыкантом и коллекционером. Я же понял, что основное отличие американских музыкантов любого калибра от советских (здесь идёт речь, конечно, не о советских суперзвездах, а о музыкантах достаточно высокого класса) состоит в том, что советские, конечно, гораздо сильнее в отношении техники игры на скрипке, и значительно слабее своих американских коллег в музыкальности, глубине интерпретации и в воссоздании стилей различных композиторов, но прежде всего в знании камерной музыки и владения ею. Это относилось также к русской и советской камерной музыке - трио, квартетам, квинтетам и другим ансамблям. В этом отношении мне было как-то странно себя чувствовать среди людей, игравших на школьной скамье, к примеру Трио Арама Хачатуряна для кларнета, скрипки и фортепиано, о котором, я к своему стыду, даже не слышал. Трио же Аренского, Рахманинова, Чайковского, Глинки – были просто популярными пьесами для моих новых коллег, такими же, как для нас были «Вальс-Скерцо» Чайковского, или Полонезы Венявского. Так первое поверхностное знакомство с новыми коллегами и стилем работы театра привело меня в мир иных измерений и оценок, чем тот, в котором я жил в Москве. Всё было совершенно *по-другому*.

В чисто туристическом отношении посещение Вашингтона было очень волнующим. Это, быть может, самый «неамериканский» город – всё в нём напоминает Европу. Очень красивые большие авеню, чудесный старый

город Джорджтаун, потрясающие музеи, и самое главное, что я хотел увидеть в эту первую поездку в столицу кроме Капитолия - посетить Библиотеку Конгресса, где хранилась скрипка великого скрипача XX века Фрица Крейсlera.

Все эти новые впечатления и прежде всего такая *простая* возможность реализации моих планов, наполняли меня радостным волнением в предвкушении собственного «открытия Америки».

Итак, мы с Володей Барановым решили пойти сначала в Конгресс, а потом зайти и в Библиотеку Конгресса.

К нашему величайшему удивлению мы совершенно беспрепятственно вошли в здание Капитолия и только на пороге входа в зал заседаний Сената были спрошены охранником, что мы собираемся делать в зале Сената? Фотографировать было нельзя, записывать на магнитофоны - тоже. Всё-таки он попросил нас зайти в комнату начальника, где только Володя смог предъявить свой «беженский документ для путешествий». Он с трудом сумел объяснить, что мы здесь с гастрольями Метрополитен Оперы в Кеннеди-Центре, что мы вообще недавние иммигранты из России. Мне также задали вопрос: есть ли у меня какие-нибудь документы при себе? Я сказал, что нет, что я прилетел в Нью-Йорке только 28 января и ещё не успел даже поменять свои европейские водительские права на американские. Всё-таки мы внушили какое-то доверие к себе. Охранник нас проводил в зал и посадил недалеко от дверей. Шло заседание. Мы увидели сенаторов Джавитса, Генри Джексона - многолетнего борца за еврейскую эмиграцию из СССР, и многих других знакомых по фотографиям лиц. Большинство в жизни выглядело и моложе и как-то привлекательнее, чем на известных нам фотографиях.

Мы не слишком задержались в Сенате, и, поблагодарив охранника, спустились вниз и пошли в Библиотеку Конгресса, находящуюся совсем близко от Капитолия. Придя туда и быстро поднявшись по лестнице в музыкальный отдел, мы узнали о том, что как раз сейчас идёт концерт Джульярдского квартета и что на скрипке

Крейслера играет их первый скрипач Манн. Мы зашли в артистическую комнату в антракте концерта. Манн очень любезно нас встретил, я ему как-то даже сумел сказать, что был на их концерте в Москве в Большом зале Консерватории лет 16 назад. Он дал нам подержать в руках бесценный крейслеровский «Гварнери дель Джезу», после чего мы, поблагодарив Манна за внимание, откланялись и пошли в Кеннеди Центр.

Перед входом я увидел афишу, извещавшую о том, что *в это самое время* проходил детский концерт Вашингтонского Национального оркестра с участием одарённых юных музыкантов. Дирижировал концертом Ростропович! Конечно, я не мог упустить такую возможность - повидать Ростроповича. Хотя и со времён его работы в Большом театре прошло уже около десяти лет, но он знал нас всех, особенно учившихся в Центральной музыкальной школе с детства и обладал замечательной памятью.

В зал я вошёл в середине второго отделения концерта, когда какой-то японский мальчик лет 10-11 в белом костюме и бабочке играл Концерт для фортепиано с оркестром собственного сочинения! Конечно, его Концерт был написан полностью под влиянием музыки Бетховена, но всё же сочинить Концерт в таком возрасте и столь совершенно его исполнить было большим достижением для столь юного музыканта.

После концерта я зашёл в артистическую Ростроповича. Он был окружён большой толпой детей и их родителей, представителями администрации Кеннеди Центра и, конечно, как и всегда и везде просто публикой, которая пришла поздравить и поблагодарить маэстро за столь необычный и интересный концерт. Наконец Ростропович увидел меня, и я совершенно ясно прочёл в его глазах растерянность... Он, конечно, узнал меня и, как видно, приготовился к «худшему» - просьбам о работе, рекомендациях и т.д. Я же, поздоровавшись с ним и напомнив о нашей совместной работе в Большом театре, рассказал в двух словах, что я здесь на гастролях с МЕТ Оперой, что совсем недавно приехал, и что очень хотел бы

послушать его концерт на следующий день, включавший в программу 21-ю Симфонию Мясковского. Он немедленно потребовал, чтобы я к нему обращался только на «ты», и что, конечно же, завтра пришёл бы без четверти восемь прямо за кулисы и он распорядится, чтобы меня посадили в его личную ложу. Всё было очень приятным, только я запротестовал, чтобы обращаться к нему на «ты»: «Я ведь начинал заниматься в ЦМШ в 43-м, когда вы уже там были ассистентом Семёна Матвеевича!» (Козолупова – А.Ш.)

Но он настоял на своём - это был его стиль: все знакомые с ним должны были называть его только Слава и только на «ты». Понятно, что пришлось с этим согласиться.

На следующий день я пришёл в Кеннеди Центр, встретил Ростроповича и он попросил свою секретаршу Надю провести меня в его ложу. Там уже находилась его дочь и муж Нади, бывший духовником Ростроповича. Я не был, понятно, знаком с дочерью Ростроповича Ольгой. К этому времени это была молодая красивая женщина, похожая в чём-то на свою мать, в чём-то на отца. Поддержав немного светский разговор о «новостях» в Большом театре мы начали слушать концерт.

Нужно сказать, что как и в Москве, любое выступление Ростроповича было захватывающе интересным. 21-я Симфония Мясковского была исполнена блестяще благодаря превосходным солистам духовикам и прежде всего солисту-кларнетисту, которому отведена большая роль в этой Симфонии.

Как и всегда искренний энтузиазм и эмоциональный накал, а также тонкость фразировки и стилистика музыки Мясковского были выявлены со всей полнотой, присущей исполнительскому искусству Ростроповича.

Его солистом в тот вечер был французский виолончелист Пьер Фурнье, исполнявший Концерт Шумана для виолончели с оркестром. Выступление его показалось на фоне концерта довольно тусклым: Фурнье страдал одним крупным недостатком – его техника, то есть все виртуозные пассажи, были почти не слышны в зале, или в лучшем случае – плохо артикулированы. Казалось, что внешне

солист играет очень горячо, только всё это как-то не «долетало» в зал.

Публика вежливо поаплодировала его имени, так как всё же он был европейски известным виолончелистом. Мне показалось, что разница в его выступлении в Москве и в Вашингтоне была ощутимой – с московских времён прошло уже около двадцати лет... Конечно и тогда Фурнье не мог идти в сравнение с Гаспаром Кассадо, также гастролировавшем в Москве в середине 60-х годов.

После концерта я сердечно поблагодарил Ростроповича за его гостеприимство и за исполнение 21-й Симфонии Мясковского. Я с удовольствием отметил, что без его, Ростроповича энтузиазма эта Симфония могла бы не исполняться в Америке ещё неизвестное время, и только благодаря ему это могло состояться теперь, что приветствовалось публикой также очень тепло и заинтересованно. Он, кажется, был тронут моими словами и сказал, что в будущих сезонах собирается широко представлять современных молодых композиторов: Шнитке, Агафонникова, Эдисона Денисова, Гаврилина, Софью Губайдуллину. Я распрощался с ним, пожелав ему неиссякаемого энтузиазма в пропагандировании творчества Мясковского, Шостаковича, Прокофьева, заметив, что кроме него едва ли кто-то ещё способен делать это на таком художественном и эмоциональном уровне. Большая очередь американцев терпеливо ждала за моей спиной, пока разговор с Ростроповичем будет окончен.

Один из первых дней в Вашингтоне – и столько неожиданных впечатлений!

Публика в Вашингтоне была в основном интернациональной: дипломаты, служащие посольств, чиновники главных правительственных департаментов. В чём-то напоминала нью-йоркскую, но была несколько холодней – всё же столичное положение диктовало какие-то специфические рамки эмоционального восприятия. Это было особенно заметно в сравнении с публикой Кливленда, где она была весьма просвещённой и консервативной. Помню, что во время выступления Паваротти в «Любовном

напитке» Доницетти, зрители ясно выражали своё отношение к звезде совсем не горячими аплодисментами: там любили и помнили ещё недавно выступавших Франко Корелли и Джузеппе ди Стефано.

Зал в Кливленде, где мы играли, оказался не театральным залом, а универсальным местом для спектаклей, концертов, выставок – это было огромное помещение и, как ни странно, с натуральной, достаточно хорошей акустикой.

Быстро прошла неделя кливлендских гастролей, и я возвращался в Нью-Йорк, полный впечатлений от увиденного и услышанного, но с каким-то чувством неуверенности в отношении своего будущего – участия в работе Метрополитен оперы, хотя казалось, что я произвёл на коллег и на «офис», то есть руководство оркестра, вполне благоприятное впечатление.

В Кливленде мы провели довольно много времени с Мишей Райциным, так как он должен был быть в случае необходимости дублёром Паваротти. Миша посвящал меня во многие тонкости работы театра, что было особенно полезно узнать во время гастролей. Как и всегда и во всём его видение мира и человеческих взаимоотношений внутри такого громадного театра было для меня определяющим. Наши оценки как уровня музыкально-исполнительского мастерства, так и вкусы были, как и в Москве, исключительно близки друг к другу, если не сказать идентичными. Я покинул Мишу в Кливленде, а он должен был лететь в два последних города тура МЕТ – в Даллас и Атланту.

5

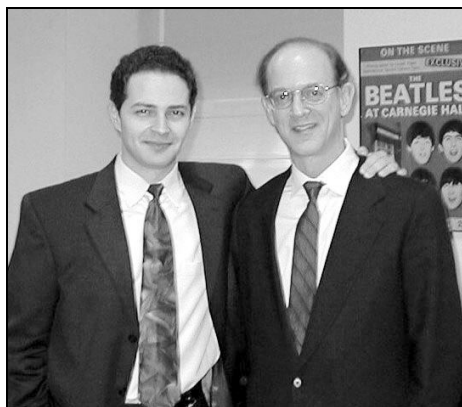
ПЕРВОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ЛЕТО

Тем временем я начал свой летний сезон – целых пять недель – с оркестром Нью-Джерси Симфони. Как уже говорилось, этот симфонический оркестр базировался в близлежащем городе Ньюарке, на противоположном берегу реки. Репетировали мы в старом Симфони Холл на главной улице города. Вид города несколько не изменился со времени моего первого приезда туда – те же небоскрёбы с выбитыми и выжженными окнами, те же брошенные

кварталы. Безлюдье – даже днём. Это было первым и довольно убедительным несоответствием наших представлений об Америке с реальностью её существования. Наше представление о стране очень напоминало рекламные ролики на телевидении, или куски их голливудских фильмов. На самом деле Америка оказалась и не такой богатой, и не такой процветающей, с большим количеством бездомных, психических больных, а также частично брошенных и безлюдных районов даже больших городов. Да, от голода умирать никому не давали: бесплатные обеды при церквах, синагогах и общинных центрах различных конфессий не решали всех этих проблем. Жизнь была суровой. А получив работу – величайшее благо после здоровья – люди работали очень и очень тяжело.

Эти впечатления накапливались и аккумулировались с течением времени, но пока что в первое лето я смотрел на мир без скептицизма и широко раскрытыми глазами.

Летний сезон в оркестре NJSO – Нью Джерси Симфони – проходил, как и все летние сезоны американских симфонических оркестров на открытых площадках, а в случаях плохой погоды – в закрытых местных концертных залах.



Майкл Парлофф и Евгений Изотов. 2003 год

Первое, что бросалось в глаза – необыкновенно широкий спектр вовлечённости всех слоёв населения в эти летние концерты. Люди располагались на траве, устраивали

пикники и одновременно получали удовольствие от музыки. В некоторых местах взималась плата только за места под тентом, а для зрителей вокруг тента всё было бесплатным. Так как тенты были далеко не везде, то и публика была самая что ни на есть демократическая. Это, естественно, поражало после Москвы, где всё же симфоническая музыка в концертных залах собирала в основном просвещённую публику – студентов, интеллигенцию, служащих, но к «рабочему классу» оркестры сами приезжали на заводы и фабрики, где играли в перерывах между работой, или иногда в клубах и домах культуры.

Здесь люди сами приходили на такие пикники-концерты, собиравших и школьников, и родителей с грудными детьми, и рабочих, и вообще всех, кому хотелось посидеть на воздухе и посмотреть на работу большого оркестра, исполнявшего популярную музыку. Надвигался национальный праздник 4 Июля – День Независимости США. По традиции в этот день все концерты на открытых и закрытых площадках обязательно заканчиваются исполнением «Увертюры-фантазии 1812 год» Чайковского, с салютом в конце сочинения и с исполнением в оригинале партитуры гимна «Боже, царя храни». Вот тогда, в июне 1980 года я впервые услышал это сочинение в оригинале.

Вспомнился рассказ Михаила Никитча Тэриана, многолетнего руководителя оркестрового класса в Центральной музыкальной школе и Московской Консерватории. В 30-е годы он служил альтистом в оркестре Большого театра. А дальше его короткий рассказ: «Как-то мы репетировали с Головановым для концерта «Увертюру 1812 год». В это время решили вместо царского гимна вставить подходящее количество тактов из глинкаинского хора «Слався!». Николай Семёнович крикнул нашему альтисту, по совместительству библиотекарю Абраменкову: «Федот! Ты там приклей эту вставку, **но совсем не заклеивай!**» То есть Николай Семёнович Голованов ещё надеялся, что Увертюра когда-нибудь будет исполнена в оригинале. «Когда-нибудь» произошло только после 1991 года, то есть почти через 40 лет после его смерти. Но всё же

произошло! Так что в целом он оказался прав, что «насовсем» заклеивать это место не стоило.

Одни воспоминания тянули за собой другие. Сын Федота Абраменкова, мой соученик по школе и Консерватории Андрей Абраменков, был впоследствии многолетним скрипачом-солистом оркестра Баршая, а позднее и скрипачом всемирно известного Квартета им. Бородина. «Где-то он сейчас», – думал я сидя на открытой эстраде за 7 тысяч километров от Москвы. А Андрей прекрасно работал в квартете Бородина и даже частенько приезжал с ним в Америку, но я был так занят все первые годы – точнее восемь лет, работая полное время в MET Опере и Нью-Джерсийском оркестре, что просто физически не мог ходить на концерты. Когда говорят о ностальгии, то мне кажется, что имеют в виду людей неработающих. Работающим тогда было не до ностальгии, на неё просто не было времени.

Мы начали свои репетиции концертов летнего сезона с главным дирижёром оркестра Томасом Михалаком. На первой репетиции исполнялась 3-я «Органная» Симфония Сен-Санса. Как и Левайн в MET Опере, так и Михалак поглядывал на меня время от времени. Но и тут я был также полностью в курсе дел: было немного времени для ознакомления с материалом, впрочем, совсем несложным.

В эту программу входили Вариации для симфонического оркестра Айвза на тему американского гимна. Играл одну из вариаций совершенно фантастический трубач. Честно говоря, я таких трубачей после визита в Москву Бостонского оркестра и их солиста Рене Вуазена, не слышал. Солистка-валторнистка также обладала таким мастерством, что в Москве или Ленинграде за неё бы буквально дрались лучшие симфонические оркестры. Вообще группа духовых – медных и деревянных – впечатляла своим необычайно высоким уровнем: потрясающий строй, то есть идеально чистая интонация, совершенное виртуозное владение инструментами, абсолютно отличный от европейского звук – особенно у

кларнетов и гобоев. Одним словом – каждая репетиция – праздник!

На второй репетиции я не увидел того трубача и поинтересовался, где он? Мне сказали, что он решил бросить играть в оркестре, так как это даёт очень мало денег на жизнь, и он ушёл в страховую компанию, где уже работала его жена. Это меня поразило не меньше, чем его игра.



Джеймс Левайн во время репетиции. 1990 годы

Однако, пришедший ему на смену трубач играл весь готовящийся к концерту репертуар с таким же мастерством и лёгкостью, как и его предшественник. Я понял, что американская школа игры на духовых инструментах намного превосходит европейскую. О советской нечего было даже вспоминать – один Докшицер, два гобоиста – Эльстон и Амедян, один кларнетист Рафаэль Багдасарян... Ещё – Лев Михайлов. Это на всю Москву! Правда было в Москве два выдающихся флейтиста – Наум Зайдель в БСО Всесоюзного Радио и Альберт Гофман в оркестре Московской Филармонии. Но в начале 70-х Наум Зайдель репатриировался в Израиль, где стал солистом Иерусалимского симфонического оркестра. И ни одного валторниста, достойного международного уровня! Солист Большого театра Рябинин был отличным исполнителем на валторне, но всё же для Москвы.

Нельзя также не напомнить, что оркестр Нью-Джерси Симфони не входил ни в «Большую десятку», ни тем более в «Большую пятёрку» лучших оркестров Америки. То есть он не имел достаточно денег, чтобы приглашать лучших дирижёров и лучших музыкантов со всего мира.

В следующем 1981 году на конкурс в MET Оперу на замещение *одного* вакантного места солиста-кларнетиста было подано 500 заявлений со всего мира! Решили прослушать только отобранные 120. А место одно! В итоге победил американец, работавший в оркестре Израильской Филармонии Джо Раббай. Вот такая конкуренция для поступления в лучшие американские оркестры.

Позднее, когда закончился летний сезон в Нью-Джерси я уже смог в августе подать заявление на пособие по безработице в штате Нью-Джерси. Они приплюсовали мой заработок в MET Оперу и я должен был получать тогда еженедельный чек в течение всего времени до возвращения в оркестр MET или в Нью-Джерси. Оказалось, что даже контрактные исполнители в оркестре MET Оперы летом также получали пособие по безработице! Весьма либеральные законы в Америке были в ту пору.

Придя в конце августа в один из офисов, где оформлялись документы, я попал в девушке примерно 18-20 лет, очень симпатичной негритянке (или, возможно латиноамериканке). Прочитав мои документы, она сказала: «Какой вы счастливый! Вы скрипач такого уровня, что начали работать в MET! Знаете, я тоже училась музыке много лет, играла на кларнете. У нас в школах почти везде школьные духовые, а иногда и симфонические оркестры. Но я поняла, что прожить этим не смогу. Вот и работаю пока здесь. А музыку очень люблю. Очень за вас рада и честно – завидую!»

С Михалаком мы сыграли в то лето огромный репертуар: несколько Симфоний Бетховена, пьесы современных американских композиторов, Симфонии Брамса, оперу Карла Орффа «Кармина Бурана», «Шехерезаду» Римского-Корсакова, «Вступление и вальс» –

Сюиту из оперы «Кавалер розы» Рихарда Штрауса, 4-ю Симфонию Чайковского, «Музыку на воде» Генделя, и многое другое. И на каждом концерте – обязательно «Увертюру-фантазию 1812 год»! Оркестр участвовал в Международном летнем музыкальном фестивале в Ватерлоо – тут же в Нью-Джерси, конечно.

Томас Михалак был незаурядным скрипачом - в 16 лет он уже выступал как солист с оркестром Варшавской филармонии. Получил позднее премию на Конкурсе им. Венявского. А потом стал дирижёром. И очень талантливым дирижёром! Он никогда не бывал на эстраде неинтересным – всегда увлекал естественностью интерпретации, как бы вслушиваясь в своё представление идеального образа музыки. Его исполнение Симфоний Бетховена нужно признать превосходным. А Бетховен – истинное мерило уровня творчества дирижёра или пианиста. Михалак был замечательным стилистом – Моцарт, Брамс, Сибелиус, Чайковский, Барток или Римский Корсаков – всё в его исполнении имело свой стиль, полностью соответствовавший духу музыки композитора.

Михалак очень хорошо относился к скрипачам и вообще исполнителям на струнных инструментах из России. Это, кстати, не придавало ему популярности среди некоторых членов оркестра. Они вполне естественно, как это им казалось, рассматривали наше появление как конкурентов и «отнимателей работы у коренных американцев». Иногда в артистических комнатах оркестра разражались довольно горячие споры. Некоторые члены оркестра не стеснясь говорили в нашем присутствии о «нашествии русских». На это мы возражали, что поскольку правительство США нас впускает в страну на законном основании с правом на работу, то и мы имеем право конкурировать за эту работу наравне с ними. Тут самые горячие из американцев сразу осекались – конкуренция есть конкуренция – основа прогресса этой страны со дня её основания. Кроме того – мы были, как и они исправными плательщиками налогов. И когда иногда снова заходили те же разговоры, то мы им сразу указывали, что платим налоги не меньшие, чем они, так что никаких претензий к нам быть

не может. Но неприязнь к Михалаку среди небольшой группы оркестрантов росла и в конце концов через четыре года он вынужден был уйти. А в возрасте 45-и лет его не стало. Он умер в 1986 году. Но всё это было не скоро. Пока же я получал удовольствие от каждого концерта с Михалаком, от каждой поездки по городам штата Нью-Джерси, довольно большого и с красивейшей природой. Такие легендарные города, как Принстон, где жил и работал Альберт Эйнштейн, были очень живописными, чистыми, сохранявшими аромат предшествующих эпох.

Эйб Маркус, директор оркестра Метрополитен Оперы позаботился обо мне и рекомендовал своему приятелю – тоже директору, или как это называется в Америке – «персоннэл менеджеру» оркестра Нью-Йоркской Филармонии Джеймсу Чемберсу для двухнедельной работы в Парках Нью-Йорка. Там я встретил своего соученика по классу Цыганова Марка Шмуклера, работавшего в этом оркестре с 1974 года, и познакомился со скрипачкой Мариной Луговир (Кругликовой) из оркестра Ленинградской Филармонии и её коллегой Эммануилом Бодером, тоже бывшим скрипачом оркестра Мравинского. Все мы друг о друге знали ещё в Союзе в период «подачи» и в ожидания разрешения, а здесь, волею судеб, встретились.

Вообще говоря, после оркестра МЕТ этот оркестр (это было ещё до прихода нового музыкального директора Зубина Меты) показался мне американской версией московского Госоркестра. Похожие лица, похожее выражение лиц, особенно пожилых скрипачей. Молодые члены оркестра сильно отличались от старшего поколения. Конечно же – духовая группа оркестра была совершенно изумительной. Слышал я этот оркестр всего два года назад – в 1978 году они выступали в Москве с Эрихом Ляйнсдорфом. Это было незабываемое музыкальное событие – исполнение 5-й Симфонии Малера.

Многие лица я помнил ещё со времени первого появления оркестра в Москве в 1959 году с Леонардом Бернштейном. Так я узнал солиста-кларнетиста Друкера, литавриста, трубача, исполнявшего соло в Пятой Малера.

Всё это было приятно вспомнить, но играя тогда двухнедельную серию концертов мне казалось, что как и оркестр Большого театра в Москве, так оркестр МЕТ Оперы здесь – всё же не шли в сравнение с местным лучшим симфоническим оркестром. Недаром великий пианист Владимир Горовиц всегда выражал свою любовь к оркестру МЕТ Оперы за его красоту тона, гибкость и звуковой баланс.

Позднее, с приходом Меты многое изменилось. Прежде всего изменился тон оркестра, благодаря поступлению новых музыкантов, в том числе и из России. Много лет гордостью оркестра был концертмейстер группы контрабасов, артист-вируоз Евгений Левинзон, также бывший член оркестра Мравинского. Его коллега – концертмейстер оркестра скрипач Виктор Либерман к этому времени стал концертмейстером одного из лучших оркестров Европы – амстердамского Концертгебау.

В то лето программами дирижировали выдающиеся дирижёры – молодой Джимми Конлон (впоследствии много работавший в МЕТ Опере) и Дэвид Зинман - очень талантливый дирижёр, руководивший много лет оркестром Балтимора.

Летом 1980 года временным концертмейстером оркестра был блестящий скрипач - солист Сидней Харт, завоевавший на Конкурсе им. Венявского в Познани в 1957 году 2-ю премию. Он был первым американским скрипачом, ставшим лауреатом этого конкурса. Этот успех был неудивительным – ученик Михаила Пиастро и Джордже Энеску, он много лет был скрипачом-концертантом. К 80-му году он уже побывал концертмейстером в оркестрах Чикаго, Лос-Анджелеса, Миннесоты, Нью-Йорка, став также и профессиональным дирижёром. Я его узнал по фотографиям, подаренным им пианистке-аккомпаниатору в классе проф. Д.М.Цыганова М.А.Штерн, участвовавшей в том Конкурсе им. Венявского. Помню эту большую фотографию и сегодня – Харт с двумя маленькими дочерьми и женой в своём доме. Теперь, во время концерта в Центральном парке я узнал и его дочь – ей было уже порядка 23-24 лет! Я стеснялся подойти к Харту, чтобы

рассказать о той фотографии. Уверен, что он был бы рад, но... Для меня всегда существовал какой-то психологический барьер в общении с незнакомыми людьми, хотя если он даже гастролировал в Москве и других городах, то он бы и сам, наверное посчитал меня не совсем уж незнакомым – при общих знакомых.

Харт замечательно сыграл свои соло – в Симфонии Брамса, в «Дон Жуане» Рихарда Штрауса. К сожалению, он не остался в Нью-Йорке, а занял позицию профессора в Иельском Университете. Новым концертмейстером с приходом Зубина Меты стал Гленн Дихтеров – один из последних учеников Наума Блиндера, также учителя Исаака Стерна.

Закончив свою двухнедельную работу с Нью-Йоркской Филармонией, мы с женой и сыном были приглашены на неделю погостить в доме приятеля юности моей жены доктора Владимира Сафонова. Он жил в Америке со своей семьёй с 1973-го года. В 1980-м году он получил полные права американского хирурга. Тяжело работая, он одновременно учился шесть лет для восстановления своего московского диплома. Таков был удел всех врачей-иммигрантов, независимо от страны, из которой они приехали. И нужно сказать, что многие, очень многие иммигранты из Советского Союза, Ирана, Южной Африки, и даже Германии, Франции, Италии сумели занять своё место в жизни, давшееся им, правда, совсем нелегко.

Семья Сафонова оказалась большими любителями музыки, и мы с женой даже сыграли для них небольшой концерт. Лонг-Айленд и его климат показались похожими в какой-то мере на кавказское побережье в районе Сухуми. Конечно, природа Кавказа ярче и разнообразней, чем на Лонг-Айленде, но море было очень тёплым, а в заливе просто спокойным, воздух замечательный и мы наслаждались коротким отдыхом первого лета в Америке.



Светлана Гебелева

Художник Матвей Басов – сын художника Басова



искусство художника Матвея Басова славится на разных континентах. Его путь к известности начался в 1981-м. С тех пор он участвовал более чем в ста республиканских, всесоюзных и международных выставках в Республике Беларусь, России, Израиле, Литве, Эстонии, Польше, Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Испании, Германии, Австрии, Австралии. Канаде, США... В 2000-м году картины Басова увидели ценители арттворчества в Нью-Йорке. Художник из Беларуси покорила город Большого Яблока. Его работы выставлялись в нескольких штатах и городах США. Теперь их можно увидеть в музеях и картинных галереях, частных коллекциях Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Сан-Франциско, Баффало...

С той первой выставки Матвей Басов стал своим в Нью-Йорке. Теперь он приезжает сюда каждый год, иной раз на несколько месяцев, как в этом году. Тем не менее его трудно застать дома. То он на этюдах, то на выставках, то на интервью в редакциях газет и журналов, на телевидении. Тем не менее мне удалось с ним пообщаться благодаря моей подруге Белле Мироновой, родной сестре жены Матвея и на общественных началах менеджеру художника.

Говоря по правде, Басов и мой друг. С Беллой, её сестрой Зоей и Матвеем мы подружились много лет назад в Минске. Они жили тесно, но очень дружно в «хрущёвском» доме на улице Жилуновича, мы – на проспекте Пушкина. Навещали друг друга. Библиотекарь Белла Миронова принимала активное участие в литературных викторинах,

которые я проводила, работая в редакции газеты. Часто встречаясь, мы делились семейными радостями и печальями, помогали друг другу. В одном трудно было помочь – признании творчества выдающегося художника Израиля Басова – отца Матвея. Талантливейший творец XX века, Израиль Басов в эпоху социалистического реализма писал мир реальным, но эта была та реальность, которая не устраивала власть предрержащих. Не устраивало их и имя художника-новатора.



Матвей Басов

Трудно было добиться признания и его сыну, пока не загорелся в Беларуси «зелёный» свет к еврейской теме. Сегодня Матвей Басов – художник с мировым именем, один из мэтров живописи у себя на родине. Он член Союза художников Беларуси. О нём сняты пять фильмов. Его имя вошло в ряд энциклопедий.

При всей своей известности художник Басов – очень скромный, простой, отзывчивый и добрый человек. В мае прошлого года, совместив пребывание в Минске с поездкой к родным в Латвию, я привезла из Юрмалы несколько небольших картин моей двоюродной сестры Евгении Рузиной. Она просила показать их Басову. Матвею они понравились. Он даже предложил поместить их в Художественный салон (в Латвии с этим делом сложно, да и дают копейки). Матвей был очень занят, к тому же не совсем здоров, но тут же отправился со мной в салон... А ещё я знаю о том, что отправляясь в Минске по утрам в

свою мастерскую, Матвей проверяет не забыл ли он конфеты и бутерброды. Нет, не для себя. Конфеты – для юных художников из мастер-класса, который ведёт Басов, бутерброды – для бездомных собачек и кошек, что лапятся к нему во дворе. Матвей не может пройти равнодушно мимо голодного человека или зверушки.

Вот такой он, мой собеседник, с которым общаться одно удовольствие.

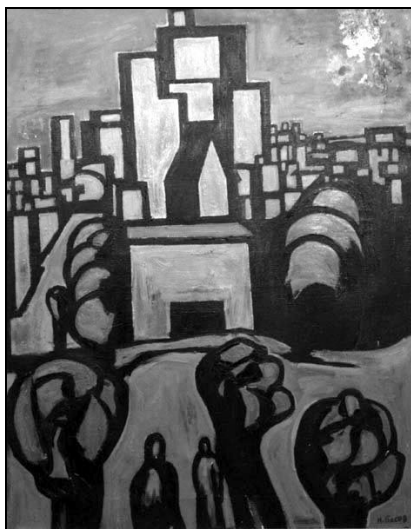
С.Г. – Матвей, скажи, пожалуйста, ты уже одиннадцатый раз приезжаешь в Нью-Йорк. Это из-за того, что здесь живут твои родные или...?

Басов: – Конечно, большую роль играет, что здесь живут самые близкие и дорогие для нас с женой Зоей люди: Белла и её сын Вадим с семьёй, наша дочь Маша с мужем и детками Яковом, Малкой, Даниэлем, Давидом и Талией, которых мы обожаем.

А теперь вступаешь в права сказанное тобой «ИЛИ». Нью-Йорк – столица мировой культуры. Здесь огромный простор для творчества. Я очень люблю этот город и с удовольствием пишу его с натуры. Моя работа здесь очень продуктивна. Я создал в Нью-Йорке довольно много картин, этюдов. Мне не нужно везти их из Минска, чтобы представить на выставках.

С.Г. – Приезжая к Белле, я видела много твоих чудесных работ на разные темы: религия, любовь, семья, природа – ничего человеческого не чуждо твоим библейским и земным персонажам. Я видела их на выставках и у нас в Баффало, где немало твоих поклонников и друзей. В частности, Эдуард и Полина Пурижанские, её брат Димар Полак и его жена Светлана – очень интеллигентные, известные в нашем городе люди. В их домашних коллекциях – работы твои и твоего отца Израиля Басова. Знаю сколько меценатов, почитателей твоего творчества из числа «сливок общества» Нью-Йорка украсили стены своих домов твоими картинами. Помню, читала по-моему в газете «Русская реклама», как в прошлый твой приезд тебя пригласил в гости Роберт Ротшильд. Какие впечатления остались от этой встречи?

Басов: – Ты знаешь, Роберт Ротшильд не олицетворяет собой плакатный образ американского толстосума. Он приветлив, довольно скромен в общении и своих жизненных потребностях. Чувствуется, что он очень эрудированный, высокообразованный человек, глубоко знающий и понимающий искусство. У него великолепная коллекция живописи, графики, скульптуры.



Израиль Басов. Золотой город

С.Г. – Он пополнил свою коллекцию твоими картинами?

Басов: – Да, конечно. Причём, несколько из них я ему подарил.

С.Г. – Узнаю открытость и щедрость моего друга Матвея. Я знаю, как часто ты даришь свои чудесные произведения близким тебе людям. Спасибо за то, что и меня ты относишь к ним. Кстати, а довелось ли Роберту Ротшильду отведать белорусского борща? Я помню, что Беллу попросили приготовить для него такое угощение.

Басов *(с улыбкой)* – Борщ Ротшильду очень понравился. Белла постаралась на славу. Правда, она не смогла тогда поехать с нами. Но позже она навестила Ротшильда. И он смог поблагодарить её лично.

С.Г. – Раньше или позже, люди обращаются к своим корням. Недавно я прочла интервью моего любимого киноактёра Кирка Дугласа, кстати ему исполнилось 95 лет, здорово, не правда ли... Дуглас рассказывает, как однажды его сын Майкл Дуглас, не менее знаменитый чем его отец, киноактёр, попросил его рассказать об их предках. Кирк Дуглас был в замешательстве. О ком, о чём рассказывать?! Вот его воспоминания об этом. «Я знаю, что мы выходцы из белорусской земли – Могилёва. К сожалению, больше ничего не знаю о своих родных... Те, кто мог пролить свет на прошлое нашей семьи, давно умерли. Однажды я лежал в своей комнате, размышляя об этом, и неожиданно моё внимание привлекла коллекция Шагала – его литографии на библейские темы. И меня вдруг осенило: это и есть мои предки».

Матвей, я знаю, что тебя называют псалмопевцем, потому что в своём творчестве ты обращаешься к Торе и Библии, которые навяли тебе не только характеры, но и целые циклы работ. Когда к тебе пришла библейская тема и кто обратил твоё сердце к Торе и Библии?

Басов: – Прежде всего, Света, признаюсь тебе, что и мы с Зоей обожаем Кирка Дугласа, фильмы, где он играет. И гордимся тем, что его родовые корни идут из Беларуси. Однако в отличие от Дугласа, я хорошо знаю моих предков, мою родословную. Благодаря этому я ещё в юности обрёл главную тему моего творчества. Мой дедушка был замечательным, талантливым портным, бабушка вела домашнее хозяйство, растила двух сыновей. Семья была набожная. С благоговением вспоминаю мою бабушку. Она соблюдала кашрут, все еврейские традиции... До войны они жили в уютном, патриархальном белорусском городке Мстиславле. Большинство его населения составляли евреи. После войны многое изменилось в жизни тех, кто выжил и вернулся в родные края. Евреи лишились своих школ, изданий, театров, синагог, своего языка, своего искусства. Мацу к пасхе выпекали тайно, как тайно соблюдали свои обычаи. Но бабушка всё равно следовала им. Она знала Тору и рассказывала мне о еврейской религии и законах божьих, о древней истории еврейского народа, который дал миру и

Библию. Дома мои родители говорили на идиш. И я на слух взял этот язык. Став более зрелым, когда в 80-х годах Тора и Библия вышли из подполья, стал читать их. А теперь делаю это ежедневно. Читаю и молитвенник. Это даёт мне силы.



Израиль Басов. Дерево у реки

С.Г. – Как ты разрабатываешь библейские темы в своём творчестве?

Басов: – Я не занимаюсь иллюстрацией библейской темы. Я выбираю из неё то, что меня больше волнует, что я особенно прочувствовал. Например, обращаюсь к событиям трёхтысячелетней давности, к Моисею. Это человек, что спас евреев. Это единственный человек, который разговаривал с Богом. Я написал на эту тему немало своих картин. Одна из моих персональных выставок состояла только из этих картин.

С.Г. – Я вспоминаю твою выставку в Минске на тему Холокоста. Ты представил картины, запечатлевшие ещё одну страницу трагической судьбы еврейского народа. Символично, что она проходила в исторической мастерской, которая находится на бывшей территории Минского гетто, рядом с улицей Михаила Гобелева.

Басов: – Эта улица, подвиг твоего отца вдохновили меня на создание новых картин о Холокосте. Много раз еврейский народ был повержен, но восставал из пепла. Под руководством Михаила Гебелева было спасено более 10 тысяч евреев. Поэтому для меня этот человек олицетворяет библейского Моисея.

С.Г. – А я думаю о твоём отце Израиле Басове, который тоже был в своём роде продолжением Моисея. Знаю, что ты очень любил своих родителей, очень заботился о них. Расскажи об отце, о его роли в твоей жизни.

Басов: – Папа был для меня примером. Он очень любил маму, относился к ней с нежностью, заботой, благоговением. Она поддерживала его во всём. Он был замечательным отцом для меня и моего старшего брата Бори. Оба мы родились в Минске. Папа был Художником. Я пишу это слово с большой буквы, потому что он был художником от Бога. С малых лет я стал приглядываться, как он работает, меня привлекала игра красок. Когда я был ещё маленьким, отец стал брать меня на этюды. С 5 лет я уже рисовал, делал наброски. Конечно, под наблюдением отца. Тогда пришла ко мне мечта – стать художником. В 12 лет я стал участником Всемирной выставки в Италии. Получил свою первую награду – бронзовую медаль. Как гордился мной отец! Это ведь была и его награда. Для него эти годы были временем надежды. После окончания Минского художественного училища работал в художественно- производственном комбинате худфонда БССР, вступил в Союз художников республики.

Но впереди были огромные жизненные, творческие испытания. Художник Израиль Басов много работал, так, как не работал никто. Он экспериментировал, искал форму, колорит. Каждый день он занимался основным – творческими поисками, не отвлекаясь ни на политику, ни на какие другие дела. Он был индивидуальностью. И это плюс еврейство ему не простили. В сталинские времена отца чуть не арестовали за космополитизм, а он даже значения этого слова не знал.

Его работы не принимали на выставки, на его обращения в министерство культуры страны не отвечали.

Между прочим, некоторые еврей-художники, попав в политическую струю и работая в духе соцреализма, жили совсем неплохо. Израиль Басов – единственный из белорусских художников делал то, что умел и так, как он это понимал. Даже знаменитый скульптор Заир Азгур его упрашивал: «Ну, напиши ты какой-нибудь индустриальный пейзаж, тебе будет легче...» На самом деле мы ведь жили плохо материально, у нас всегда не хватало денег. Но уговоры на отца не подействовали.



Матвей Басов. Свадьба

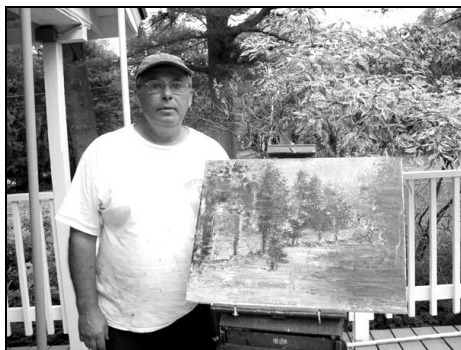
С.Г. – Матвей, о том, что Израиль Басов – гениальный художник официальному искусству пришлось признать после его смерти. Знаю, что это твоя заслуга.

Басов: – Я отдал этому святому делу не один год моей жизни. В 1996, через два года после кончины отца при поддержке фонда Сороса был издан первый каталог картин Израйля Басова, а в Национальном художественном музее Беларуси состоялась его первая персональная выставка. Рейтинговый Центр профессионального Союза художников в Москве выдал сертификат о присвоении Израйлю Басову категории А-2 (художник-профессионал высокого класса с ярко выраженной индивидуальностью). В моей мастерской хранится этюдник отца. Хотелось бы, чтобы он стал одним

из экспонатов музея Израиля Басова, который я мечтаю открыть в Минске.

С.Г. – От души желая, чтобы эта твоя мечта осуществилась, я всё же думаю о том, что Израиль Басов как бы продолжается в тебе. Хотя и у тебя было немало преград на пути к признанию в родной республике. О том, что ты выдающийся художник Минску «открылось» после твоего огромного творческого успеха в США.

Басов: – Что говорить. Беларусь дала миру многих выдающихся художников. А какова была их судьба?! Марк Шагал, Хаим Сутин должны были покинуть родину, Иегуда Пэн был убит по приказу Сталина в 1939 году. Да только ли в Беларуси. А в Москве... Многие из нас жили при советской власти, да ещё и в постсоветском пространстве, когда признание индивидуальности, истинного таланта невозможно было добиться порой не только еврею, но и людям других национальностей. К счастью времена изменились...



Матвей Басов

С.Г. – В июне 2010 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоялась твоя персональная выставка, посвящённая твоему 60-летию.

Знаю, что она прошла с большим успехом. Расскажи, пожалуйста, об этом замечательном событии в твоей жизни и культурной жизни столицы Беларуси.

Басов: – Выставка действительно пользовалась успехом у посетителей. Сюда приходили минчане,

поклонники живописи из других городов Беларуси. Были представители дипломатических корпусов России и других стран СНГ и Европы. На выставку я представил 50 своих работ, созданных в разное время. Впервые выставил пейзажи. Музей приобрёл две моих работы. Одна – это этюд серый, серебристый. Вторая работа – это картина « В тумане»...

С.Г. – Я хочу поздравить тебя с тем, что в прошлом году твоя персональная выставка состоялась в Москве – в Центральном Доме работников искусств и в других городах России.

Басов: – Да, для меня это большая честь. Ещё моя персональная выставка была в Вильнюсе. Приглашали в Украину, в Одессу. Но всё осилить было невозможно.

С.Г. – А теперь вернёмся в Нью-Йорк. Знаю, что твои приезды сюда всегда знаменуются проведением твоих персональных выставок. Сколько их было на этот раз и где они проходили?



Матвей Басов. Влюбленные мечтатели, 89х75, 2008-2009

Басов: Персональных выставок было семь и одна – в составе группы художников. Они проходили в выставочных залах Бруклина, Манхэттена, Колумбийского университета.

С.Г. – Пару месяцев назад я смотрела твоё интервью с известным телеведущим, владельцем Liberty Publishing House Ильёй Левковым. Мне очень понравилось, как ты отвечал на его вопросы, умело обходя рифы, которые он «прятал» в волнах вашей беседы. А где ты с ним познакомился?

Басов: В Колумбийском университете на выставке, организованной Мариной Ковалёвой – руководителем российско-американского фонда культуры в рамках марафона «Наше наследие». Здесь было представлено творчество художников Беларуси, Литвы, Израиля и США. Я, как говорится, выступал за Беларусь. Илья Левков освещал работу этой выставки.

С.Г.– В американской прессе было много восторженных отзывов о твоём творчестве. Мне довелось прочитать статью Ольги Нертинской о твоей выставке. В ней есть такие строки: «Ты делаешь что-то первый, а там приходит другой и делает это красиво. Матвей Басов сделал и то, и другое. Этот, совершенно особенный художник, работает в необычной технике. Но это, конечно, не техника только. От каждой его картины исходит мерцающий свет. Это не волшебный цвет Вермейера, это волшебный цвет Басова. У них разные источники... Ну, нет у нас пророков ни в отечестве, ни во времени. Знаете, почему на выставку Матвея Басова в «Метрополитен» не ломонулся весь Нью-Йорк? Только потому, что он не родился в XVIII веке. С одной стороны жаль...» Теперь я понимаю, почему Илья Левков, беседуя с тобой, делал упор на туманах в твоей жизни. Он говорил: «Туманы вашего детства», «Туманы в вашем творчестве»...

Басов: – Туманы, на мой взгляд, имеют два значения. Плотный, густой туман – как завеса, как неопределённость и испытания в жизни. Это то, что выпало на долю отца, и не обошло меня. А с другой стороны – лёгкая, прозрачная как вуаль, дымка на рассвете. Это загадочность, красота, тонкие чувства, движение души. Как можно забыть туманы родной земли, её изумительную природу. Я запомнил эти туманы с детства. До 1959 года мы жили в бараке по улице Красноармейской. Там было много семей. Рядом жили

русские, евреи, белорусы, татары, поляки... И, кстати, жили дружно. Помню, как на рассвете мы бежали с соседскими мальчишками к реке. На нашем пути была свалка. В лёгком прозрачном тумане прибрежные пейзажи, та же свалка обретали загадочные, чудесные очертания. Когда уходила пелена тумана, мы находили на свалке всякие удивительные для нас вещи, игрушки. А поездки с отцом на этюды. В них я начал понимать, что такое природа, красота. Эти воспоминания оставили неизгладимый след в моей душе.



Матвей Басов. Столько было места для любви, 102x65, 2009

С тех пор я отправляюсь на этюды, когда природа только просыпается... В лёгком тумане мерцают леса, луга, реки. Тебе ли рассказывать о красоте Беларуси. Её чудесная природа сама подсказывает, куда нужно идти, как писать. Туманы Беларуси выкристаллизовали моё восприятие природы, искусства. Я пришёл к этому больше 10 лет назад, когда увлёкся этюдами. Я считаю, что живопись – это интуиция. Даже у рациональных художников она есть. Наша задача через живопись пропагандировать искусство.

С.Г. – Что же отличает твой нынешний стиль работы от прежнего?

Басов: – Этот стиль – живопись мерцания. Работая над картиной, я не делаю чётких очертаний. (Это у меня присутствует в моей пастели, графике). Моя работа основана на чувствах, интуиции. Начиная картину, я не имею чётких планов, пишу то, что подсказывает моё сердце, душа и что навеяла природа. Я очень люблю живопись французских импрессионистов. В ней живёт природа Франции. Она напоминает мне нашу белорусскую природу: леса реки, озёра. Она душевна, она очаровательна...

С.Г. – Есть ещё одно место на земле, которое напомнило тебе Беларусь, помнишь, с каким восторгом ты о нём рассказывал?

Басов: – Ты о штате Нью-Хэмпшир? Да, прошлым летом в Нью-Йорке стояла такая жара, что Белла повезла нас туда на природу. Климат здесь мягкий, воздух чистейший. Почти два месяца жили в небольшом курортном городке Битлихеме. Вокруг горы. Леса, берёзовые рощи, сады... Мы собирали малину, чернику, ежевику. Порой мне казалось, что мы находимся в белорусском лесу. Даже яблоки в Нью-Хэмпшире по вкусу такие же, как у нас.



Матвей Басов

Я вставал рано, брал этюдник и шёл наугад. Делал наброски, писал и писал. Позже я перерабатывал их в

картины. В Нью-Хэмпшире я написал портреты моих внучат Якова и Малки, мальчика-хасида. Получилось интересно. Ещё в Минске у меня появилось желание сделать небольшие этюды. Образ жизни в этих местах размеренный, патриархальный, больше похожий на сельский. Среди приезжих были многодетные еврейские семьи. Это навеяло мне тему «Местечко». Она меня очень захватила. И я сделал на эту тему много работ.

С.Г. – Посмотри, Матвей, как хорошо тебе работается в США, как ты знаменит здесь. В Нью-Йорке творят тысячи художников. Выставиться здесь огромная проблема. А у тебя десятки выставок. Твоё имя стоит особняком. Ты никогда не хотел остаться в США? Тем более что как известно из прессы, тебе предлагают хорошие контракты.

Басов: – Знаешь, мне очень хорошо работается в моей мастерской в Минске. И я не хочу оставаться нигде, кроме родной Беларуси, с которой неразрывно связаны моя жизнь и творчество, а если мне нужно куда-то поехать, я еду в любую страну. Сейчас в этом нет никаких ограничений. Художник должен много ездить, много видеть и быть свободным в своей жизни, в своём мышлении и творчестве.

С.Г. – Сердечно благодарю тебя за беседу, желаю крепкого здоровья, вдохновения, новых искрящихся картин, ошеломляющих выставок и новых встреч с тобой и твоим искусством в США.

Интервью вела СВЕТЛАНА ГЕБЕЛЕВА



Игорь Ефимов

В Царстве Клио

Глава из новой книги

(Другие главы из новой книги см. в №3 и сл. за 2011 год)

Падение Рима



е помню, где и когда я впервые услышал это имя – Пелагий. Оно упоминается в моей «Метаполитике» – значит, в начале 1970-х я уже что-то знал о нём. Знал, что в религиозной борьбе 5-го века он противостоял Святому Августину. Но подробнее мне удалось прочесть о Пелагии уже в Америке, в статье Владимира Соловьёва, написанной для Энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Вот как там излагаются взгляды пелагианцев, осуждённые несколькими соборами как ересь:

«Адам умер бы, если бы и не согрешил; его грех есть его собственное дело и не может быть вменяем всему человечеству; младенцы рождаются в том состоянии, в каком Адам был до падения, и не нуждаются в крещении для вечного блаженства; до Христа и после Него были люди безгрешные; Закон также ведёт к царствию небесному, как и Евангелие; как грехопадение Адама не было причиной смерти, так воскресение Христа не есть причина нашего воскресения».¹

Во всех религиозных и философских диспутах меня всегда в первую очередь интересовало отношение спорящих к свободе воли. Те, кто отстаивал идею предопределённости каждого человеческого поступка психологическими мотивами или Божественной волей, вскоре теряли для меня интерес. Привлекательность этой позиции, этого

умственного настроения для миллионов людей вытекала, мне кажется, из того душевного комфорта, который она несла с собой. Если всё предопределено, если свобода воли есть иллюзия, значит я могу не стыдиться своих гнусностей, могу не бояться осуждения ближних или наказания за грехи и подличать в своё удовольствие.

В пелагианстве мне чудилась надежда на преодоление этого вечного противоречия, описанного Кантом как «третья антиномия чистого разума». В письме юной девственнице, решившей принять обет безбрачия, Пелагий разъяснял, что Евангелие злые поступки *запрещает*, добрые *повелевает*, а к совершенству *призывает*. Но коли «призывает», значит допускает свободу человека откликнуться на призыв или остаться равнодушным к нему?

Драматизм религиозно-философской борьбы начала пятого века усугублялся для меня драматизмом военно-политическим. Почему произошёл раскол великой Римской империи на Восточную и Западную? Что двигало племенами вандалов, готов, аланов, гуннов, даков, маркоманов, бриттов, вторгавшихся на территорию обеих половин распавшейся империи? Откуда бралась их необъяснимая военная мощь? Случайно ли, что богословские споры между Блаженным Августином и Пелагием совпадают по времени с последним сокрушительным наплывом варваров на Рим? Не связана ли победа Августина в религиозной борьбе с победой варварства в реальной жизни?

Сливаясь, эти два потока вопросов и умственных исканий превращались в исток реки, обещавшей излиться большим романом. В 1993 году началось предварительное чтение, заплыв в далёкую эпоху, попытки проникнуться её голосами, красками, запахами. По счастью, Принстонский университет находился всего в полутора часах езды от нас, и мне удалось вступить в переписку, а потом и встретиться с профессором Питером Брауном – самым крупным, самым талантливым специалистом по эпохе заката, чьи книги я штудировал и к которому у меня накопился длинный список вопросов.

Однако можно ли в таком деле ограничиться только книгами и альбомами? Работая в России над романом о Кромвелевской революции, я не имел возможности поехать в Англию, увидеть Лондон своими глазами. («Нельзя, Игорь Маркович, ведь у вас нет опыта поездок в капиталистические страны!») Но теперь – свободный человек в свободной стране – неужели я не доберусь до Италии? Не знаю, кто услышал мои безмолвные призывы – проповедник Пелагий на христианских небесах или языческая Клио у себя на Парнасе, – но весной 1994 года я получил приглашение принять участие в международной конференции, посвящённой Владимиру Соловьёву и проходившей в Бергамо. Конечно, я с радостью согласился.

Народ, слетевшийся на эту конференцию, представлял собой пёструю смесь национальностей, верований, языков, убеждений. Среди американцев было два участника, с которыми у меня завязались дружеские отношения. Кэрл Эмерсон (тоже Принстонский университет) умела владеть даром точного слова и изящно лавировать в лабиринтах метафизики, как слаломист умеет обходить флажки и западни на трудной трассе, чтобы примчаться к финишу не задев ни одного из них и не упав. Джордж Клайн (Университет Брин Мор) был другом и первым переводчиком Бродского на английский, а также автором отличной книги «Религиозная и антирелигиозная мысль в России».² Мне досталось жить с ним в одном номере в гостинице, и потом он присвоил мне титул «лучшего соседа по койке».

Подготовленный мною доклад назывался «Конфликт идей и крушение империй».³ Отталкиваясь от энциклопедических статей Соловьёва «Свобода воли», «Пелагий», «Предопределение», я дальше делился со слушателями тем, что мне удалось разузнать к тому времени о судьбе племени визиготов (вестготов), взявших Рим штурмом в 410 году, то есть именно в то время, когда бушевали споры между пелагианцами и августинцами. Разницу их взглядов можно отобразить в таком воображаемом диалоге:

Верующий спрашивает себя: «Да есть ли на свете что-то, чем бы я – слабый человек – мог послужить Всемогущему и Всеведающему Богу?»

«Нет, – отвечает на это Августин, – ты предопределён к спасению или погибели ещё до рождения, а воображать, что ты можешь что-то изменить в своей вечной судьбе, – это кощунственное умаление величия Господа.»

«Да, – отвечает Пелагий, – Господь дал тебе бесценный дар – свободу воли, и с помощью Его благодати ты можешь улучшить собственную душу и мир вокруг себя».

Ответ Августина скорее дарует душе верующего покой, ибо снимает с него тревогу ответственности перед Богом. Принять ответ Пелагия труднее, ибо он делает душу открытой всем видам тревоги и неуверенности в себе, открытой страху поражения, страху греха. Соответственно, ответ Августина пользуется большей популярностью, ответ Пелагия – всегда удел меньшинства.

Всю эту апологию «еретику» Пелагию я смело разворачивал перед аудиторией, в которой, как мне сказали, присутствовало шесть членов Ордена иезуитов. В воздухе запахло костром. Но нет, иезуиты остались в рамках вежливости и стали уверять меня, что и Августин никогда свободу воли не отрицал.

На заключительном банкете, вместо тоста, я прочитал наизусть стихотворение Соловьёва (большинство собравшихся знало русский):

Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыхании бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он *здесь, теперь*, – среди суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!⁴

Сидевший рядом со мной иезуит из Германии начал расспрашивать, каким образом Евангельские тексты стали известны мне в безбожной стране. Я рассказал ему о

промашке наших идеологических надсмотрщиков, разрешивших нам смотреть полотна великих мастеров в музеях и даже печатавших каталоги с разъяснениями библейских сюжетов картин. Потом сознался, что порог между философией и теологией, на котором спотыкается каждый рациональный ум, мне удалось преодолеть только после чтения трудов Кьеркегора и Тиллиха. Иезуита ничуть не испугали имена знаменитых протестантов, и он повторил несколько раз:

– You had good teachers! (У вас были хорошие учителя.)

Из Бергамо я полетел в Рим, и там меня на четыре дня приютила семья Наташиной подруги по Барнардскому колледжу, Ионы Фридман. Мистер Фридман, отправляясь с утра на работу в свой стоматологический кабинет, подвозил меня в центр города, при этом порой забывал о данной им клятве Гиппократу и комментировал по дороге поведение непредсказуемых итальянских водителей репликами «such people should not exist!» («таких людей не должно быть на свете»). Колизей, Форум, развалины языческих храмов и ранне-христианских базилик – всё впитывалось памятью, ложилось на фотоплёнку и впоследствии всплывало на страницах романа «Не мир, но меч».

В нём главный герой, Альбий Паулинус, отправляется в путешествие по Италии в 419 году, с опасностью для жизни собирая материалы к жизнеописанию своего учителя Пелагия – к тому времени уже осуждённого католической церковью и гонимого еретика. Разыскивая бывшую невесту Пелагия, он идёт по тем самым улицам Остии, по которым пятнадцать веков спустя – прекрасно отреставрированным для туристов – довелось пройти и мне. Мне легко было вести его по Декумано Массимо, мимо «Таверны рыбников», «Бань шести колонн», казармы пожарников, Святилища Митры, театра, а потом по Виа делла Цистерна подвести к жилому дому, называвшемуся инсула «Младенец Геркулес», в котором я поселил разыскиваемую невесту.

Во время работы над романом я, конечно, делился с друзьями и близкими всплывавшими передо мной

картинами и драмами давно минувших дней. Рассказывал им о Галле Пласидии, дочери императора Феодосия Великого, которая вышла замуж за короля визиготов. Об Иоанне Златоусте и о пожаре храма в Константинополе. О гибели Гипатии, женщины-философа, растерзанной в Александрии толпой христианских фанатиков. О празднике Луперкалий в Древнем Риме, когда по улицам носились танцующие луперки с ремнями из свежесрезанной кожи жертвенных козлов, а девушки и матроны сбегались им навстречу и подставляли под удары ремней голые плечи, спины, груди, потому что всякий ведь знал, что это был лучший способ забеременеть в ближайшем будущем.

Однажды, во время телефонного разговора с Бродским, я сказал ему:

– А знаешь ли ты, знаток и любитель античности, что на закате Рима был момент, когда вся власть в обеих половинах империи принадлежала трём молодым, прелестным женщинам?

Он оживился необычайно.

– Где? Когда? Как звали?

– Так я тебе и сказал.

– А что? Думаешь – украду?

Интонация была насмешливой, но мелькнула и тень обиды.

– Не украдёшь, но напишешь по двадцать сонетов всем троим. И потом читатели моего романа будут говорить: «Это мы всё давно знаем из Бродского».

Как я жалел потом, как корил себя за то, что пожадничал, не назвал ему имена трёх женщин, собравшихся на совет в маленьком Зале четырёх грифонов Константинопольского дворца, августовским днём 421 года. Может быть, он успел бы написать чудесные стихи или даже поэму, в который всплыли ли бы имена Галлы, Пульхерии, Евдокии. Но нет – разговор происходил поздней осенью 1995 года. Значит, времени у него оставалось в обреш.

NB: «Не то! Не то! Не верю!», кричим мы бесчисленным проповедникам Слова Божия. Будто сравниваем их слова с каким-то невидимым текстом, заложенным в нашей душе. Но, отвергая посланцев, не проявляем ли мы тем самым глубинную веру в Пославшего, в Автора Текста?

Прощание с Бродским

Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Иосиф Бродский

Многие современные поэты, высоко ценившие Бродского, недоумевали и даже впадали в некоторую растерянность, когда сталкивались с его страстным интересом к царству Клио. «Игорь, неужели Бродский действительно интересовался историей и политикой?», – спрашивал у меня Владимир Гандельсман. Лев Лосев пишет в мемуарных записках, комментируя горький стыд Бродского за вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году: «Я удивлялся, может быть, в глубине души завидовал таким чувствам, но сам их никогда не испытывал». ⁵ Полемический запал на ту же тему слышен в строчках Яны Джин – большой поклонницы Бродского:

А чем истории хвалиться?
Пустою чередой событий,
имён и дат, уменьем длиться
и помнить судьбы тех и лица,
кого в свою взяла обитель. ⁶

Бродскому история никогда не казалась «пустою чередой событий». Для него она вся была пронизана живыми звенящими струнами, протянутыми от царицы Дидоны к рушащемуся Карфагену, от крещения Руси к сносу греческой церкви в Ленинграде, от Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор к сегодняшней Англии, от Ганнибалы, Помпея и Велитария – к маршалу Жукову. Римская трирема, шотландский замок, собор Св. Павла в Лондоне, Люксембургский сад в Париже, питерская окраина, шатры израильских племён – Бродский всему чувствует себя причастным, он всюду – дома. А вместе с ним – и мы.

«Спешить за метафорой в древний мир» было его любимым занятием. Недаром в стихотворении, посвящённом его памяти, Кушнер использовал такой же

перелёт – прыжок – в далёкое прошлое: «Заплачет горько над тобой / Овидий, первый тунеядец».

И живые политические события, ещё не успевшие окаменеть в исторических скрижалях, волновали его до глубины души. В одном интервью 1982 года он говорил: «“Стихи о зимней кампании 1980 года” написаны по поводу вторжения в Афганистан. Вторжение меня очень взволновало. Я тогда был в Нью-Йорке, а по телевизору показывали, как русские входят в Афганистан. Танковые войска против пастухов. Танки катились по возвышенностям, которых никогда даже плуг не касался... Ужас, антропологическое насилие. Я ночами не мог спать».⁷

В похоронное бюро я попал, когда ещё не было толпы. Постоять минуту над покойным, близко-близко, оказалось ужасно важным. И, совестно сознаться, принесло какое-то облегчение, хотя и сильно окрашенное горечью. Как будто мог сказать себе: «Ну вот, теперь можно любить его во всю, от души, по-настоящему, не подозревая себя в корысти, в надежде что-то урвать от него за эту любовь».

Рассказывали, что на второй день народ повалил гуще. А к вечеру ворвалась толпа корреспондентов, окружавшая Черномырдина и Евтушенко. Тут уж начался некий паноптикум. Из соседней залы выглядывали испуганные члены итальянской семьи, хоронившей своего старика. Но когда им объяснили, что происходит, один из итальянцев спросил распорядителя: «Как вы думаете, могу я обратиться к русскому премьеру и попросить его помолиться за моего дядюшку?» Соседка и приятельница Бродского, Маша Воробьёва, потом говорила: «То-то Иосиф смеялся бы».

Сорок дней спустя, 8 марта, было устроено грандиозное прощание – поминовение – в Соборе Святого Иоанна Богослова, в Манхеттене. Гордин так описал это событие в своих мемуарах:

«В огромном соборе – освещена только центральная часть – были установлены две высокие кафедры. После величественного молебна на эти кафедры в чётком порядке стали приглашать друзей Иосифа. Чтобы не было никаких заминок, каждого из нас до самой кафедры сопровождал

служитель собора. Читались стихи Иосифа – по-русски и по-английски. Читали все удивительно хорошо – торжественно и сдержанно.

В интервалах между чтением была музыка... Всё вместе – огромное пространство собора, неярко освещённое, с полумраком, клубившимся по углам и под куполом, строгая речь священника, глубокий и гулкий звук органа, чтение стихов как продолжение молебна... производило впечатление, описать которое невозможно. Это было достойно его.

Потом мы поехали к Энн Кжелберг – верной помощнице Бродского при жизни и тщательной душеприказчице после его ухода».⁸

Снежная буря, налетевшая на Нью-Йорк в тот вечер, была пострашнее грозы, разразившейся в день похорон Довлатова. Мой автомобиль был отпаркован довольно далеко от собора, и мы шли к нему с Гординым и ещё одной парой ослеплённые ледяным ветром, наугад ступая по быстро растущим сугробам. На полпути я затолкал своих пассажиров в какое-то парадное и велел ждать меня с машиной.

До квартиры Энн Кжелберг ехали сквозь сплошную бурю чуть ли не час, я едва различал огни светофоров. Но когда вошли в помещение, когда увидели оживлённые лица красные от мороза и выпитого вина, печаль и торжественность начали быстро испаряться. Это было так похоже на празднование очередного дня рождения Бродского. Только к обычному кругу гостей добавились друзья, прилетевшие из России, – Гордин, Найман, Уфлянд – и десятка два незнакомых американцев.

Посредине комнаты-зала стояли со стаканами в руках четверо самых знаменитых поэтов: Дерек Уолкот, Шеймас Хини, Марк Стрэнд, Чеслав Милош. Они весело болтали между собой без всяких надменных улыбок, обещанных Блоком. Я вдруг подумал: «А ведь все они старше Иосифа». Нет, не живут русские поэты долго. Если бы не вмешательство американских кардиологов и хирургов, Бродский исчез бы из мира живых в возрасте Пушкина, Есенина, Маяковского, Мандельштама, Высоцкого. Он

предвидел свою судьбу, болезнь на оставляла места для иллюзий. Уже в 1989 году были написаны строчки «Век кончится, но раньше кончусь я». А в 1994 году появилось очаровательное, откровенно прощальное стихотворение:

Меня упрекали во всём, кроме погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.

«Мерцать в проводах лейтенантом неба» – такую судьбу Бродский выбрал себе, вместо памятника с «главою непокорной».

НВ: Сила тяжести воздействует на всех людей без разбора. Сила лёгкости, безжалостно уносящая в ястребину высоту, – только на поэтов.

Дым отечества

Роман о Пелагии и визиготах был отправлен в «Звезду» и напечатан там в номерах 9-10-1996 под названием «Не мир, но меч». Читатели и критики приняли его тепло, было много взволнованных откликов. Найман в статье, напечатанной в «Новом мире» 11-1996, объявил, что эта книга «из разряда “Мартовских ид” Торнтон Уайлдера или романов Мережковского». Андрей Немзер отметил «превосходное знание далёких реалий, как материальных, так и духовных, не только вкуса, аромата и цвета далёкой эпохи, но и её страждущей мысли». Председатель жюри Букеровского комитета 1997 года, Игорь Шайтанов, выражал сожаление, что роман не прошёл в список финалистов премии, писал, что «он представляет собой растущее и достигающее завершенности художественное целое». Лиля Панн, описывая две главные страсти героя – любовь и веру, отбрасывала стандартный эпитет «слепые» и подчёркивала, что в данном сюжете они приводили, наоборот, к обострённому зрению героя.

Не обошлось и без религиозной полемики. Свою обширную рецензию в «Новом мире» (11-1997) Алексей Козырев так и назвал: «Оправдан ли Пелагий?». Он упрекал автора в том, что тот создаёт «исполненный горечи шарж на

церковь, богословское и догматическое развитие которой будто бы было подчинено тому, как бы священникам потуже набить свои кошельки», что превращается в обличителя, «не только подмечающего и даже бичующего просчёты и прямо-таки прискорбные злодеяния, содеянные людьми в рясах, но пишущего об этом с чувством внешнего по отношению к христианству наблюдателя».

Я написал рецензенту дружеское письмо, в котором благодарил «за интересный и содержательный разговор о романе. Мне было очень важно увидеть, услышать, убедиться, что голос не повисает в эмигрантском зазеркалье, достигает уха и сердца соотечественников в России».

Да, мой читатель обитал в России, и в душе нарастало желание встретиться с ним лицом к лицу. Были и другие стимулы для поездки на родину. Дочь Наташа в те годы работала в редакции газеты «Moscow News» – было бы славно провести с ней несколько дней. Журнал «Звезда» звал принять участие в конференции, посвящённой Бродскому. Андрей Битов готовился отметить своё 60-летие, и мне хотелось вручить ему только что опубликованный «Эрмитажем» сборник его статей «Новый Гулливер». Издательство «Терра» проявило интерес к роману о Пелагии, а весь мой опыт отношений с российскими редакциями учил меня, что письмами и телефонными звонками добиться в них ничего нельзя – нужно появляться во плоти, и не один раз. И мы решились: в мае 1997 года Марина взяла отпуск на три недели, и «Боинг» финской авиакомпании бережно перенёс нас через океан обратно к Балтийским берегам.

Конечно, мы были готовы к тому, что облик города как-то изменится за прошедшие двадцать лет. При первом взгляде на знакомые улицы и дома возникало впечатление, будто был затеян большой-большой ремонт, но где-то посредине запал у ремонтников остыл, и двери остались недокрашенными, трамвайные рельсы незарытыми, стены неоштукатуренными, водостоки поржавевшими, дыры в асфальте незаделанными, а заготовленные водопроводные трубы не сумели докатиться последние два метра до вырытой для них траншеи. На бывшем кинотеатре

«Спартак» (бывшей протестантской кирхе), вместо афиш с рекламой новых фильмов, висело от руки сделанное цветными фломастерами объявление, извещавшее публику о приезде знаменитой пророчицы, бабы Нюры, которая проведёт несколько сеансов ясновиденья, семейных консультаций и процедур излечения от алкоголизма. Единственное, что было сделано основательно и надёжно: крепкие железные решётки на всех-всех окнах первых и подвальных этажей.

Из рассказов друзей, навещавших нас в Америке, мы уже знали, что воровство и грабежи стали явлением повальным. Слово «наехали» употреблялось теперь так же часто, как раньше слово «замели». У Ирмы Кудровой рэкетирсы сильно избили дочь, отказавшуюся платить им. Одного частного предпринимателя – знакомого Валентина Певцова – бандиты похитили, увезли в лес и заставили рыть себе могилу, в которой он будет зарыт, если родственники не заплатят выкуп. Мать Михаила Петрова хотела продать несколько картин из своей коллекции – «покупатели», позвонившие в дверь, убили её ударом молотка на пороге квартиры и получили картины бесплатно.

Я тоже подвергся попытке ограбления в первые же дни. Солнечным утром шёл по каналу Грибоедова, с ностальгическим умилением смотрел на наш бывший дом №9, который глядел нематыми окнами через канал на пункт по обмену валюты.

«Вот хорошо, – подумал я. – Мне как раз пора обменять пару сотен долларов на рубли».

У входа в контору милиционер дружески беседовал с остролицым пареньком лет двадцати пяти, сидевшим на краю тротуара и попивавшим кока-колу из бутылки. Я читал, что в современных боевых самолётах есть прибор, мгновенно обнаруживающий луч радара, направленный на них. Именно такое чувство возникло у меня, когда я встретился взглядом с пареньком: меня засветили лучом и ведут. Вошёл в контору, обменял деньги, вышел на улицу. И снова напоролся на цепкий радарный взгляд. С недобрый чувством пошёл дальше по каналу в сторону Невского.

Через двадцать шагов оглянулся.

Так и есть – остролицый шёл за мной. Уже в сопровождении напарника.

Что было делать?

Я не придумал ничего умнее, как повернуться и пойти им навстречу, глядя прямо в глаза.

Они делали вид, что мирно беседуют между собой, разминулись, не взглянув на меня.

Так – что дальше?

Я свернул на пешеходный мостик через канал. Дошёл до конца, оглянулся.

Они шли за мной теперь уже втроём – к ним добавилась ещё девица. «Всё отработано, как в кино про профессиональных воров, – подумал я. – Девица “натывается” на намеченную жертву, может быть, даже падает, ты бросаешься её поднимать, один член шайки, “помогая тебе”, вытаскивает бумажник, другой, проходя мимо, перехватывает добычу, исчезает в толпе. Даже если ты сразу заметишь кражу и завопишь, даже если рядом окажется милиционер, перед ним будут двое “невинных”. “Нате, обыскивайте!”».

Я снова повернулся и пошёл им навстречу второй раз – обратно через мостик.

«Задумали щипануть приезжего? Давайте прямо здесь, посреди толпы!»

Они опять сделали вид, что не смотрят на меня, прошли мимо.

С колотящимся сердцем я дошёл до Площади искусств, оглянулся.

Никого.

«Вот так, – сказал я себе. – Здравствуй, родной город, по которому я когда-то не боялся бродить ночами. Город, освобождённый от коммунистов. Теперь здесь тоже каждому позволена погоня за счастьем. Даже если это счастье – облегчить карман ближнего. А интересно, какой процент с их бизнеса получает милиционер, дежурящий у обменного пункта?»

В остальном пребывание в Ленинграде было приятным, часто даже радостным. Побывали в гостях у Богачковых, Вершиков, Гординых, Кушнеров, Петровых,

Поповых, Романковых, Шварцманов, на юбилее Битова. Гуляли по набережным и площадям, по аллеям Таврического сада, слышали живую русскую речь, текущую над уличной толпой, – всё казалось одновременно и родным, и чуточку незнакомым, иностранным.

Такое же двойственное ощущение осталось от посещения Публичной библиотеки, в залах которой я провёл в своё время тысячи часов. Так совпало, что как раз в те дни в вестибюле второго этажа была устроена выставка книг зарубежных русских издательств. Приятно было увидеть под стеклом витрин и издания «Эрмитажа», которые я посылал библиотеке в подарок. В отделе рукописей меня приветливо встретил Валерий Сажин, предложивший в 1978 году мне и Довлатову спрятать здесь те материалы, которые мы не могли увезти с собой. Он помог отыскать копии моих писем в защиту Бродского, посланные в своё время в газеты (1963), снял ксероксы с них.

В завершение у меня состоялась встреча с чиновниками, ведавшими комплектованием, то есть закупкой книг для библиотеки. И тут на меня вдруг пахнуло мертвящей атмосферой типичного советского учреждения: каменные улыбки с торчащим золотым зубом, замедленная осторожная речь, уклончивые ответы на простейшие вопросы, подозрительные взгляды. Я понимал, что, при тогдашнем состоянии экономики, денег на покупку наших книг у библиотеки не будет ещё долго. Но меня интересовало, нельзя ли наладить обмен: наши издания – за библиографические справочники Публички, которые я мог бы продавать в Америке, включив их в каталоге в раздел «Книги других издательств». О чём-то договориться удалось, впоследствии мы получали пакеты со справочниками, но спроса на них не было, и я вернулся к прежней практике – время от времени посылать книги в подарок.

В Москве Найманы устроили нам жильё неподалёку от себя, в доме, где жила Галина сестра. Начались вечерние посиделки со старыми друзьями, заводились новые знакомства, в том числе и с друзьями и сверстниками Наташи. Несколько визитов в издательство «Терра»

завершились подписанием договора на издание романа «Не мир, но меч», в серии «Тайны истории». Роман, действительно, был опубликован полтора года спустя под названием «Пелагий Британец», но лишь после долгой и мучительной переписки, пересылки взад-вперёд гранок, телефонных звонков в пустоту. О выходе книги из печати я узнал лишь полгода спустя после этого события (возможно, издатели хотели оттянуть выплату гонорара), и потом столько же ждал присылки положенных мне авторских экземпляров.

При всех разительных переменах в постсоветской России, одна российская черта осталась неизменной: презрение к диктату будильника. В новой российской конституции была бы уместна статья: «Считать священным правом каждого гражданина не заканчивать заказанную работу в срок, не приходить вовремя к месту встречи, не отвечать на письма, не возвращать телефонные звонки, не выполнять обещаний, держать часами посетителей у дверей своего кабинета».

Журналистка, приятельница Гординых умоляет меня об интервью для газеты. С трудом вырезаю для неё два часа, раздвинув другие запланированные встречи. Она не появляется и даже не находит нужным позвонить и извиниться.

Журнал «Новый мир» напечатает две мои большие статьи: про то, как Солженицын читал Бродского (2000-5) и про то, как Найман беседовал с Исаей Берлином (2002-4). Заведующая отделом критики Ирина Роднянская не известит меня ни о том, что статьи приняты, ни о том, что они опубликованы, вообще не удостоит ни запиской, ни телефонным звонком.

Знаменитая специалистка по Булгакову, Мариэтта Чудакова, делает доклад на конференции в Америке. Через двадцать минут председательствующий говорит, что отпущенное ей время истекло, необходимо дать выступить другим участникам панели. Чудакова смотрит на него с презрительной усмешкой:

– Не хотите ли вы сказать, что не станете слушать вторую половину моего доклада?

Наталья Виардо, устраивавшая музыкальные вечера в своём доме в Нью-Джерси, пригласила выступить перед её слушателями Татьяну Толстую. Собралось человек сто, заплатили, кажется, по сорок долларов за билет. Толстая опоздала на полтора часа и даже не подумала извиниться.

В «Звезде» милая редакторша просит меня уделить ей время – у неё есть несколько замечаний-вопросов по гранкам романа «Зрелища», готовящегося к публикации в 7-ом номере (1997).

– Завтра первая половина дня у меня свободна, – говорю я. – Когда мне придти? В девять? В десять?

– Ой, что вы! У нас в редакции никто раньше двенадцати не приходит.

Журнал «Звезда» имел около двадцати сотрудников и выпускал двенадцать номеров в год. Мы с Мариной вдвоём выпускали двенадцать книг в «Эрмитаже», примерно того же объёма. Но Маниловым, Обломовым и Мышкиным это подчинение деспоту, тикающему на запястье, представлялось просто унижительным.

NB: Москва слезам не верит. Даже своим собственным.

Неравенство

Пока я плавал в веках минувших, дочь Лена успела развестись с первым мужем, полюбить второго, Гришу Эйдинова, такого же страстного служителя Мельпомены, как она сама, и вместе с ним, в феврале 1997 года, родить сына Андрюшу. Они поселились в маленьком пенсильванском городке, в трёх часах езды от нас, организовали небольшой театр. Поездки в гости к внуку и на новые спектакли, подготовленные «семейной труппой», стали нашим регулярным удовольствием.

Клио, между тем, не выпустила меня из своего царства, только перенесла из античности в век XX.

Я уже говорил выше, что всякое исследование начинается с тревожащего сердце *почему?*

Три загадки XX века, три больших ПОЧЕМУ? влекли меня уже со времён работы над «Метаполитикой». Мысль возвращалась к ним снова и снова с таким же упорством, с каким белка возвращается к птичьим кормушкам, подвешенным на гладком шесте, и ищет

способа допрыгнуть до них, вскарабкаться на шест или на ветку соседнего дерева и уже оттуда совершить победный скачок.

Первая загадка: почему во всех демократических странах произошло разделение на две основные политические партии? И почему люди так упрямо отстаивают свои политические взгляды и отказываются менять их даже под напором, казалось бы, неопровержимых аргументов и фактов?

Пока нет настоящей бури, мы только спорим – но спорим порой очень ожесточенно. И люди, не разделяющие наших политических убеждений, кажутся нам опасными недоумками.

«Каким идиотом надо быть, чтобы голосовать за Картера, Киннока, Дукакиса, Рабина, Клинтона, Гайдара, Обаму!», – восклицают одни.

«Только одураченные болваны могут голосовать за Рейгана, Тэтчер, Буша, Бегина, Доула, Черномырдина, Путина, Нетаньяху!», – возражают другие.

Пока наш политический оппонент предстаёт перед нами лишь в виде безликих цифр избирательной статистики, нам легко объяснить его взгляды глупостью, бездушием, невежеством, корыстолюбием, коварством, продажностью, пассивностью. Хуже – когда мы обнаруживаем его в кругу близких друзей, родственников, сослуживцев. Мы смотрим на такого и впадаем в тоскливую растерянность. «Нет, не глуп, нет, знает историю и политику не хуже меня, нет, честен, нет, отзывчив, нет, энергичен и деятелен. В чём же дело? Почему все мои лучшие аргументы, все ярчайшие примеры, все логические построения не в силах пробить его упорства?»

Такие загадки ставят нас в тупик. Какое-то время мы пытаемся переубедить упрямца, навести мостики через расщелину. Но, в конце концов, устаем и оставляем попытки. Дружеские связи ослабевают, мы стараемся пореже встречаться за столом, пореже ходить в гости. А если несогласный с нами человек оказался нашим сослуживцем, при случае поспособствуем его увольнению.

Что действительно поражает – это устойчивость политических убеждений. Казалось бы, поток газетных новостей обрушивает на сознание каждого человека десятки и сотни событий, которые должны были бы в корне переворачивать наши представления, приводить к полной перемене взглядов – настолько порой они неожиданны и непредсказуемы. Но нет – каждый уверенно и спокойно сортирует их в отведенные ячейки, находит приемлемые истолкования, прицепляет друг к другу причинно-следственными крючками. Дайте одну и ту же кучу досок людям разного ремесла – и плотник выстроит вам из них сарай, столяр – буфет, а лодочник – шлюпку. Так и мы обращаемся с историческими фактами: строим из них привычную нам политическую интерпретацию.

Победа в политической борьбе в США, Англии, Израиле часто даётся ничтожным перевесом голосов. Как это может случиться? Откуда вырастает столь устойчивая система наших политических убеждений? Если ни логика, ни красноречие ораторов, ни язык фактов не могут поколебать её, не значит ли это, что корни её уходят куда-то очень глубоко?

Вторая загадка: Почему демократический способ правления, опробованный многими странами и принёсший им процветание, не смог пустить прочные корни ни в одной из стран, освободившихся от колониальной зависимости? Удержалась демократия, кажется, в одной только Индии. Да и в ней за 60 лет её существования не удалось покончить с кастовым неравенством, а межнациональные и религиозные раздоры унесли уже миллионы жизней. Все же остальные государства через год, два, три оказывались под властью единоличной диктатуры или военной хунты.

Почти все новые страны провозгласили своей целью построение социализма. Бен Белла в Алжире, Насер в Египте, Асад в Сирии, Садам Хуссейн в Ираке, Секу Туре в Гвинее, Кваме Нкрума в Гане, Сукарно в Индонезии, Бургиба в Тунисе – все приступили к национализации предприятий, к жёсткому регулированию рыночных отношений, к той или иной форме коллективизации

сельского хозяйства. Запрет на финансовую деятельность сохраняется почти во всех мусульманских странах, взимание процента по-прежнему объявляется смертным грехом.

Третья загадка: Какие силы движут массовым террором, в котором государственная машина обрушивается всей своей силой на миллионы лояльных полезных, беззащитных подданных?

Случаи массового террора в далёком прошлом имели хотя бы видимость объяснения: Иван Грозный казнил «изменников-бояр», инквизиция уничтожала ведьм и еретиков, Людовик XIV Бурбон – гугенотов. Когда в нашем веке в Турции убивали армян, а в Германии уничтожали евреев, круг жертв был очерчен хотя бы расовой или религиозной принадлежностью. Когда же мы смотрим на коммунистический террор в России, Китае, Вьетнаме, Камбодже, нас ошеломляют не только масштабы, но и полная иррациональность происходившего.

Во всех этих странах террор случался примерно двадцать лет спустя после крушения старого режима, охранявшего ту или иную систему неравенства социального. То есть в то время, когда «класс угнетателей» был уже полностью уничтожен и изгнан. Жертвами террора становились люди, росшие при новом режиме, не владевшие никакой собственностью, ни словом, ни делом не выступавшие против новой власти. Все существующие на сегодня объяснения массового террора в XX веке представляются неадекватно мелкими, несовместимыми с громадностью и беспощадностью этих катастроф.

Из века в век главным источником вражды и зла провозглашалось неравенство – сословное, расовое, имущественное. И что же? Именно в странах, где все эти виды неравенства были уничтожены, где даже был отменён институт собственности, кровавый разгул вражды пронёсся, как средневековая чума. Нашествия безжалостного врага не уносили столько жизней, сколько унесло правление коммунистов, объявивших себя борцами с неравенством.

Последняя загадка томила не только абстрактную любознательность. Мне важно было понять, как и из-за чего

погибли мой отец и его старший брат, генерал Карин, заместитель начальника разведки Красной армии, репрессированные в 1937 году.

Описанные здесь загадки относились к макромиру политики и истории. Но одновременно не давала покоя и загадка из микромира человеческих отношений, которые мы наблюдали – и от которых страдали – в подсоветской жизни: откуда текла на нас эта иррациональная злоба вахтёров, проводников, гардеробщиков, официантов, дворников, банщиков, продавцов, таксистов, соседей по коммунальной квартире? Оказавшись на Западе, мы с облегчением обнаружили, что эта злоба не является всеобщим и обязательным условием совместного существования людей на Земле. В чём же дело? Откуда она бралась в таких количествах в Советской России?

Чуть ли не два десятилетия мысль колотилась об эти загадки, пока не обнаружила, что все они начинают проясняться, если приблизиться к ним с одним и тем же кодом расшифровки, одним и тем же ключиком. Ключик этот всем известен, лежит на виду, но окружён стыдливым умолчанием, как в веке XIX стыдливой тайной были окружены вопросы пола. Называется этот дешифрующий ключ: *врождённое неравенство людей*.

Результаты моих многолетних поисков отлились в книгу «Стыдная тайна неравенства». В ней люди, родившиеся с повышенным зарядом жизненной энергии, с «пятью талантами» из притчи Христа, обозначены термином *высоковольтные*. Люди, родившиеся с одним-двумя талантами, – термином *низковольтные*. И вся социальная история человечества – древняя и новая – рассматривается как история противоборства между людьми с разными уровнями заложенной в них энергии. В сфере социально-политической эта борьба реализовалась бунтами, революциями и контрреволюциями; в сфере идейно-интеллектуальной – бесконечными спорами между теми, кто защищал высоковольтных от вечно тлеющей ненависти низковольтных, пытался дать им возможность пустить свои таланты в обогащение жизни (их я назвал *состязателями*), и

теми, кто видел в неравенстве – врождённом и социальном – только источник зла и страданий (*уравнители*).

В истории политико-философской мысли состязательный склад мышления помечен именами Аристотеля, Макиавелли, Фрэнсиса Бэкона, Гоббса, Монтескье, Адама Смита, Алексиса Токвиля, Джона Стюарта Милля, Фридриха Хаека, Томаса Суоэлла. Уравнительный взгляд наиболее ярко отразился в трудах Платона, Томаса Мора, Кампанеллы, Руссо, Прудона, Маркса, Бертрана Рассела, Кеннета Гэлбрейта, Фрэнсиса Фукуямы. Российская ветвь философии также продемонстрирует нам полярную разницу убеждений Державина и Радищева, Чаадаева и Белинского, Достоевского и Чернышевского, Леонтьева и Соловьёва, Ключевского и Кропоткина, Бердяева и Плеханова. Фельдмаршал армии уравнителей, Лев Толстой, в 1907 году обменялся письмами с фельдмаршалом армии состязателей, Петром Столыпиным, и эту переписку можно считать последней попыткой мирных переговоров в России между двумя лагерями, перед тем как вечная вражда выплеснулась из умозрительной сферы на поля сражений гражданской войны 1918-1921 годов.

Глубинное расхождение взглядов состязателей и уравнителей таится в разнице их представлений о природе человека.

«Неравенство материальное, так же как неравенство интеллектуальное, причиняет людям огромные страдания и не имеет никакого морального оправдания, ибо люди по природе равны, – считают уравнители. – Если один имеет больше или знает больше, значит нужно помочь другому обрести такие же материальные блага и такие же знания. Нужно заставить богатых и образованных делиться со всеми своими богатствами и знаниями». «Люди неравны по своим способностям, талантам и энергии, – утверждают состязатели. – Уравнять их можно только насильственно, ценой отнятия свободы и с катастрофическими последствиями для общества, которое лишится плодов деятельности наиболее активных своих членов».

«Человек по своей природе добр и полон любви к ближнему, – считают уравниатели. – Если он совершает жестокие поступки, если нападает на других, значит он был чем-то доведен до отчаянья. Нужно устранять социальные причины отчаяния, а не увеличивать число тюрем и полицейских. Нужно устранять международные конфликты путем переговоров, а не путем наращивания вооружений». «Агрессивность является врожденным свойством человеческой натуры и может прорваться сквозь любые наслоения цивилизованности, – утверждают состязатели. – До тех пор пока существует государство, оно будет состоять из управляющих и управляемых, в нём будет существовать социальное неравенство, которое наверняка будет приводить кого-то в бешенство. Власть обязана вооруженной силой защищать подданных от индивидуальных вспышек агрессивности, то есть от преступников, и от массовых, то есть от бунтов и от нападений внешнего врага».

В 2011 году были опубликованы результаты исследования мозга людей с различными политическими взглядами, проведённые в Лондоне над девятью десятками молодых англичан. Оказалось, что мозг либерала (уравниателя) отличается от мозга консерватора (состязателя) по своей структуре, по размещению серого вещества в разных секторах черепной коробки. Исследователи, возглавлявшиеся профессором Рота Канаи (Ryota Kanai), пришли к выводу, что структура мозга либерала помогает ему легче справляться с ситуациями конфликта и неопределённости, в то время как консерватор острее реагирует на каждую угрозу.

Интеллектуальное возвышение над средним уровнем обычно воспринимается нами как знак принадлежности к высоковольтному меньшинству. Однако, при всей остроте своего ума, при всей вооружённости знаниями, высоковольтный человек не в силах понять страстей, которыми часто обуреваем низковольтный. Зловещая исключительность таких высоковольтных, как Дантон, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот, заключается в том, что, пройдя в юности школу унижений, они поняли эти

страсти и сумели возглавить низковольтное большинство для завоевания абсолютной власти.

Именно в этом мне видится разгадка Больших чисток в России, Культурной революции в Китае, уничтожения горожан в Камбодже и прочих эпидемий иррационального террора в XX веке.

Возьмём того же Сталина.

В школе унижений он прошёл все классы, все ступени. Сын пьяницы-сапожника, избивавшего его по любому поводу. Беднейший ученик в церковной школе. Недоучившийся семинарист. Несостоявшийся поэт. Революционер, которого используют для уголовных дел. Среди блистательных ораторов и борзописцев – косноязычный нацмен, не владеющий по-настоящему ни одним языком. Бездарный военачальник среди прославленных красных полководцев Гражданской войны.

Как он должен был ненавидеть других высоковольтных, продемонстрировавших более высокую одарённость!

С какой затаённой мстительной страстью шаг за шагом продвигался к моменту торжества над ними. И как он был понятен и близок в этой главной страсти тёмной массе рядовых большевиков!

Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, в своих мемуарах рассказывает, как ей довелось подслушать застольный разговор отца с соратниками о том, что доставляет человеку самое большое счастье. «Самое большое счастье, – сказал разомлевший от вина Сталин, – это хорошо отомстить – и пойти спать».

Конечно, Сталина никак не устраивала ситуация, в которой таланту отдавалось бы должное. На что он мог тогда надеяться? Недоучка, с тёмным прошлым, раскритикованный самим Лениным, не имеющий никаких особых заслуг перед партией?

Но в одной сфере он был гениален. И знал это.

Он был гением посредственности.

Чувства, которые низковольтный испытывает к высоковольтному, бушевали в нём с такой силой, что тысячи и миллионы низковольтных инстинктом, нутром

опознавали в нём своего природного вождя. И шаг за шагом проталкивали его к вершине власти. Власти над партией – а значит и над всей страной.

И он не обманул их надежд. Он возглавил армию низковольтных и повёл их на самоубийственное, иррациональное, мстительное уничтожение высоковольтного меньшинства.

Во всех главных кампаниях, проводившихся Сталиным за время его 25-летнего правления, мы видим его безжалостно преследующим *лучших*: лучших крестьян, лучших инженеров, лучших учёных, лучших командиров, лучших композиторов, лучших писателей и даже – самоубийственно! – лучших врачей.

В подвалы Лубянки и котлованы ГУЛага хлынул поток инженеров, профессоров, писателей, учителей, врачей, офицеров, прорабов, завмагов, а также профессиональных партийцев, имевших какой-то опыт и знания ещё с дореволюционных времён. То есть мы ясно видим, что удар был направлен не в диком ослеплении, а по точному прицелу: на хозяев знаний и хозяев вещей.

Патологичной была ненависть Сталина к офицерству. Накануне войны с Гитлером он уничтожил 43 тысячи своих офицеров и 15 тысяч пленных польских, которые оченьгодились бы ему, когда он – спохватившись – начал формировать польский корпус.

Ещё один важный и часто опускаемый элемент террора против высоковольтных: пытки перед казнью. И в России, и в Китае, и в Камбодже, и на Кубе низковольтным мало было просто расстрелять – им нужно было сначала раздавить волю более высокого порядка, упиться её унижением, превратить человека в воющее и окровавленное животное. Известно, что сталинские приспешники ставили обречённого на колени и мочились ему в лицо.

Катастрофу революции многие интерпретировали как расплату за социальное неравенство.

Катастрофу Большого террора следует интерпретировать как расплату за неравенство врождённое.

– За что?! Мы служили своей стране верой и правдой! Приносили огромную пользу! Мы ни в чём, ни в

чём не виноваты! Убивая нас, вы сами себе наносите страшный вред и ущерб! – кричали изумлённые жертвы террора.

«Для нас нет худшего вреда и ущерба, чем терпеть вас – догадливых, притких, быстроумных, рядом с собой, а особенно – над собой», – могли бы ответить низковольтные, если бы обладали даром красноречия и аналитического мышления.

Первый тираж книги «Стыдная тайна неравенства» разошёлся довольно быстро, через два года пришлось допечатать второй. Известный публицист, Игорь Весслер, сумел собрать среди читателей средства, которые пошли на оплату английского издания.⁹ В России книга была перепечатана в 2006 году и тоже имела тёплый приём.¹⁰

NB: Если бы жертвы коммунистического террора обратили свой вопль «за что?!» к небесам, они могли бы услышать в ответ: «За то, что презрел Мой дар и посмел объявить полученные тобою пять талантов равными одному таланту твоего палача».

Псков и Новгород

Кто-то мечтает посетить Париж, кто-то рвётся хоть раз в жизни припасть к Стене плача в Иерусалиме, кого-то манят снежные просторы Аляски. А я долгие годы был одержим желанием совершить путешествие по царству Клио в Псковскую республику XV века.

Опять манила загадка – и не одна.

Откуда брались богатства торгового города, не имевшего выхода к морю?

Что давало ему силы отбивать нападения литовцев, поляков, ливонцев, немцев, шведов?

Каким чудесным вдохновением были созданы псковские храмы, крепости, церкви, иконы?

Что позволяло псковским крестьянам выращивать на этой скудной земле столько зерна, что его хватало и для своих, и на продажу, и для приبلудных голодных?

После отправки в печать «Стыдной тайны неравенства» я сказал себе: «Хватит откладывать – пора».

Конечно, первый этап путешествия пролёг по книжным страницам. В библиотеки Колумбийского и

Орегонского университетов я входил, как охотник входит в бескрайний лес, кишачий разнообразной дичью. Домашние собрания друзей тоже сделались объектом постоянных налётов. Симур Беккер и Алла Зейде сделали мне бесценный подарок – восьмитомник Ключевского. Новые англоязычные исследования разыскивались по интернету, и кредитная карточка выполняла роль охотничьего сокола, приносящего в клюве нужный том прямо на письменный стол. Однако опыт прогулок по Римскому форуму и улицам Остии научил меня: ничто не может заменить прикосновения к старинным камням, статуям, решёткам, ступеням, колоннам. И в августе 2001 года мы с Мариной снова отправились в Россию.

В Пскове я бывал несколько раз до эмиграции. Но писать о Псковской республике, не касаясь её могучего соседа, Господина Великого Новгорода, было невозможно. И, оказавшись в Петербурге, я первым делом купил билет на автобусную экскурсию, отправлявшуюся на берега озера Ильмень. Новгородский храм, перед которым собиралось вече, крепостные стены и уложенные под ними огромные каменные ядра, мост через Волхов, на котором происходили побоища враждующих партий, – всё западало в копилку памяти, ложилось на плёнку фотоаппарата. В обширном открытом музее деревянного зодчества я снялся на фоне большого деревянного дома, обозначенного в каталоге как «Изба Ефимова». Альбомы и календари с цветными иллюстрациями, исторические справочники, карты, своды древних летописей закупались в таких количествах, что угроза приобретения дополнительного чемодана надвигалась неумолимо.

Задуманный роман должен был кончаться судьбоносным для истории России событием: в конце XV века сначала Новгород, а потом и Псков покорились Московскому княжеству. Это было самое огромное ПОЧЕМУ? Каким образом Иван Третий, плативший дань татарам вплоть до 1480 года, набрал такую силу, что смог подчинить своей власти две богатые и славные республики, успешно отбивавшиеся от врагов в течение трёх веков? Приехав в Москву, я искал ответа на этот вопрос, бродя по

Красной площади вокруг собора Василия Блаженного, входя в ворота Кремля, вглядываясь во фрески на стенах Успенского собора, в окна Грановитой палаты. И, конечно, надеялся приблизиться к разгадке, расспрашивая историков Московского университета – специалистов по средневековой России.

Превосходную книгу Николая Борисова «Иван Третий»¹¹ я успел купить и проштудировать ещё в Америке. Заранее написал автору письмо, прося о встрече в Москве. На разговор в Университете явился с подробным списком вопросов и получил ответы почти на все. Расставаясь, мы надписали друг другу книги: я – «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущёв», он – только что вышедшую в той же серии ЖЗЛ биографию святого Сергия Радонежского.

Другая важная встреча с московскими историками произошла благодаря помощи Кушнера. Ещё в Петербурге, узнав о моих плаваниях в Новгородском пятнадцатом веке, он сказал, что среди его поклонниц есть известный историк этой эпохи, Елена Александровна Рыбина. Тут же позвонил ей, и она любезно пригласила заезжего американца нанести ей визит в Москве. Что я и сделал.

Оказалось, что мне повезло вдвойне. К тому времени Рыбина вышла замуж за знаменитого исследователя Древней Руси, Валентина Лаврентьевича Янина. Многие годы они вместе занимались раскопками в Новгороде и публиковали результаты в журналах и книгах. Наиболее интересными находками были хорошо сохранившиеся полоски берёзовой коры, на которых новгородцы писали деловые и личные записки друг другу, так называемые «берестяные грамоты». Во вступлении к книге Янина «Я послал тебе бересту» говорится: «Чем больше будут раскопки, тем больше они дадут драгоценных свитков берёзовой коры, которые станут такими же источниками для истории Новгорода Великого, какими для истории эллинистического и римского Египта являются папирусы».¹²

Я покинул дом гостеприимных хозяев нагруженный подаренными книгами и впоследствии засыпал их вопросами уже из Америки:

«В перечне находок довольно редко упоминается оружие. Почему? Потому что не всякому новгородцу разрешалось иметь дома оружие?»

Насколько широко применялись судебные поединки?

Есть ли какие-нибудь упоминания многожёнства среди язычников?

Существовали ли ганзейские конторы в каких-нибудь прибрежных городах Ливонии и Литвы?»

Но в день встречи мы больше говорили о судьбах сегодняшней России, о том, что ждёт её впереди. Елена Александровна хлопотала с ужином, ушла в столовую накрывать на стол. Вдруг оттуда раздался её взволнованный голос:

– Игорь Маркович, идите скорее! Новости из Нью-Йорка. Там произошло что-то ужасное!

Я поспешил на её зов и увидел на экране телевизора дымящиеся башни Мирового торгового центра. Внизу мерцала дата: 11 сентября, 2001. Клио закрывала том под названием «Век двадцатый» и открывала «Век двадцать первый».

NB: Если Творец создал нас по образу и подобию Своему, это объясняет нашу свирепость и безжалостность.

Примечания

1. Владимир Соловьёв. Собрание сочинений (С.-Петербург: «Просвещение», 1913), том 10, стр. 450.
2. George L. Kline, *Religious And Anti-Religious Thought in Russia*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1968.
3. Напечатан в газете «Новое русское слово», 6-25/26-94.
4. Владимир Соловьёв. Стихотворения (Ленинград: «Советский писатель», 1974), стр. 89.
5. Лев Лосев. Меандр (Москва: Новое издательство, 2010), стр. 35.
6. Яна Джин. Неизбежное (Москва: «Подкова», 2000), стр. 143.
7. Иосиф Бродский. Собрание интервью (Москва: «Захаров», 2000), стр. 203-204.
8. Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха (С.-Петербург: «Звезда», 2008), стр. 482-83.
9. Igor Efimov. *Five Talents or One? The Shocking Secret of Inequality*. Tenafly: Hermitage Publishers, 2004.

10. Игорь Ефимов. Стыдная тайна неравенства. Москва: «Захаров», 2006.
11. Николай Борисов. Иван Третий. Москва: «Молодая гвардия», 2000.
12. Валентин Янин. Я послал тебе бересту (Москва: «Школа. Языки русской культуры», 1998) стр. 8.



Юрий Ревич

«Мое мнение перпендикулярно вашему»



«... поры вообще не ведут к открытию или утверждению истины. Это просто способ самовыражения и самоутверждения. Гибрид искусства и спорта, способ прогулять собственную эрудицию и интеллект или его эрзац перед глазами восторженной аудитории. Я не хочу сказать, что споры вообще бесполезны. Они полезны, но не для "истины" и ее распространения, а ради опробования устойчивости собственной аргументации. В споре на тебя совершенно бесплатно выльют всю грязь, которую сам никогда бы не собрал и не выдумал. Это большая помощь, хоть она и обходится дорого. То, что называется "грязью" на самом деле вещь целебная...»

И.А.Полетаев.

Игорь Андреевич Полетаев, которому принадлежит высказывание в заголовке, был одним из основателей кибернетики в нашей стране. Науку эту (да и науку ли? скорее методологию) сейчас предпочитают называть информатикой, подчеркивая тем самым отказ от претензий на «теорию всего», каковой статус первоначально к кибернетике прочно приклеился. На самом деле как бы с водой не выплеснуть и ребенка – «теории всего» из кибернетики, разумеется, не вышло, но идея конвергенции различных дисциплин (иногда *очень различных* – таких, как литературоведение и электроника) под крышей единого подхода оказалась довольно плодотворной. Впрочем, до некоторых пределов – тех, в которых математический (и

алгоритмический) подход к описанию явлений реальной действительности вообще возможен.

Когда говорят о становлении кибернетики в СССР, обычно вспоминают академиков А.А.Ляпунова, А.И.Берга, В.М.Глушкова, С.Л.Соболева, а также многих других ученых, которых я не буду здесь перечислять, чтобы никого незаслуженно не пропустить. Сейчас трудно себе представить, насколько эти темы были тогда популярны и в среде ученых, и в среде инженеров. Полетаев в их числе занимает некое особое место, которое очень трудно понять и оценить в ретроспективе. Особенно если учесть, что формальными знаками отличия – званиями, степенями и должностями, - Игорь Андреевич отнюдь не был завален при жизни. Но его влияние на отечественную кибернетическую школу переоценить трудно: все дело в том, что Полетаев был блестящим полемистом, который схватывал суть проблемы раньше любого собеседника, умел остроумно, обоснованно и глубоко возразить. Из-за этих качеств во времена «оттепели» в 1960-е его даже приглашали выступать перед партийной элитой и разрешали свободно поругивать советскую власть – впрочем, в узких кругах.

Как же так случилось, что этот блестящий оратор и высокообразованный человек стал «инженером Полетаевым», которого знала вся страна, как зацикленного на физике угрюмого технаря, не признающего поэзии, считающего устаревшей всю гуманитарную культуру? Но давайте обо всем по порядку.

Кибернетика

Биография Игоря Андреевича небогата внешними событиями, но человека, хорошо представляющего советскую жизнь той эпохи, поражает некоторыми нюансами. Школа-семилетка (1930) – но с преподаванием трех (!) языков: немецкого, французского и английского. Одновременно - музыкальная школа, по классу фортепиано. Трудное (после семилетки) поступление в Московский энергетический институт, но еще до этого И. А. пытался поступить в... школу пехотных командиров, одновременно занимаясь в театральном кружке на родном заводе

«Динамо». Редкое для любого времени сочетание интересов. Но ничто не пропадает зазря – в конце войны, в феврале 1945-го, инженера дивизии ПВО, физика и знатока иностранных языков Полетаева посылают в Америку в составе так называемой «Военно-торговой делегации» с целью изучения радиолокационной техники. Полетаев там пережил окончание войны, смерть Рузвельта и в конце 1945-го возвратился – недавние союзники быстренько переквалифицировались в потенциальных врагов.

Знарок американской радиолокации, Полетаев стал ценным кадром, и попал в НИИ Главного Авиационного Управления. В военном ведомстве он прослужил еще полтора десятилетия. Одновременно защитил диссертацию (по физике), но круг его интересов уже был другим.

Любопытно, что Ноберт Винер, автор нашумевшей «Кибернетики» (1948), пришел к кибернетике также от радиолокации. Системы управления зенитным огнем представляли собой нетривиальную математическую задачу, и отличную модель любых процессов динамического управления вообще. Придя самостоятельно ко многим положениям винеровской науки, Полетаев стал ее ярким пропагандистом в нашей стране.

К сожалению, получилось так, что кибернетика подставилась политическим обскурантам (как мы бы сейчас сказали - фундаменталистам). Наиболее успешным и полным, как известно, оказался разгром биологии. Лишившись (в том числе – в физическом смысле, как это произошло с умершим в тюрьме Н. И. Вавиловым) многих лидеров с мировым именем, и фактической возможности развития, отечественная биология уже не оправилась от этого удара никогда, несмотря на фактическое снятие запрета на рубеже 1970-х. Гуманитарные науки (социология, психология) и экономика в СССР вообще никогда не пользовались популярностью у власть имущих, а здесь и вовсе оказались загнаны в подполье. Менее известны соответствующие акции в химии (травля сторонников теории резонанса во главе с академиком Я. К. Сыркиным, лекции которого автору этих строк довелось слушать уже в 1970 годы) и по поводу квантовой механики. Но достать

физиков у пропагандистов «единственно верного учения» оказались руки коротки, в связи с их привилегированным статусом в обеспечении обороноспособности государства. А в математике вроде и некуда ткнуться было – все какое-то... неклассовое.

А вот дочь математики кибернетика оказалась «самое то» – с ее-то претензиями на всеобщность процессов управления¹. В «Кратком философском словаре» 1954 года, ее определяли так: «*КИБЕРНЕТИКА (от др. греч. слова, означающего рулевой, управляющий) – реакционная лженаука...*». «Пропагандисты» не подозревали о том, что кибернетика уже давно и успешно не только развивается на родной почве, но и широко используется на практике – в военном комплексе. К 1956 году ведущие математики и другие ученые пришли к выводу, что терпеть это больше невозможно, и на волне, поднятой XX съездом, разоблачившим культ личности Сталина, начали с того, что организовали в рамках Академии наук Институт кибернетики.

Во всей этой деятельности активнейшее участие принимал Игорь Андреевич. По воспоминаниям М.Г.Гаазе-Рапопорта (позднее – виднейшего кибернетика, а тогда тоже военспеца по системам ПВО), книгу Винера на английском Полетаеву дал почитать И.С.Брук – конструктор одной из первых отечественных ЭВМ М1, о котором мы еще вспомним. Даже если это воспоминание и ошибочно (распространение запрещенной литературы каралось), то у Полетаева в любом случае не было проблем ознакомиться с первоисточником – как военный специалист, он имел доступ в спецхран. По предложению адмирала-академика А.И.Берга, Полетаев написал книгу «Сигнал» (1958) – первый отечественный общедоступный учебник с изложением основ кибернетики². Не останавливаясь на восторженных отзывах, которыми и по сей день

¹ Само слово «кибернетика» ввел в научный обиход знаменитый физик Ампер еще в XIX веке, назвав так науку о государственном управлении.

² Электронная версия книги «Сигнал» доступна на сайте VivoVoco (vivovoco.ibmh.msk.su).

сопровожают эту книгу ведущие специалисты, стоит заметить, что все учебники по этой дисциплине, издававшиеся десятилетия спустя, в точности повторяют структуру книги Полетаева. И отдельное замечание – написана она, в отличие от множества подобных, иногда очень неплохих, учебников и пособий, внятном русском языком и отличается предельной ясностью изложения. Для стиля Полетаева характерно также нежелание скрывать какие-то спорные моменты, которых в кибернетике было предостаточно.

Государство и управление

Хотя главными научными работами Полетаева стали написанные в 1960 годы труды по биологической кибернетике и исследованию операций, тут невозможно обойти тему взаимоотношений науки кибернетики и государства «плановой экономики» (мы ее сейчас называем «командной»). Эту тему совершенно незаслуженно обходят историки – возможно, потому что гуманитарии мало понимают в сути чисто научных проблем, которые иногда неожиданным образом коррелируются с политическими идеями. Все слышали про чилийского генерала Пиночета и его свержение правительства президента-социалиста Альенде в результате государственного переворота в 1973 году. Но мало кто знает, что одним из ключевых моментов экономической политики Альенде была попытка создания кибернетической модели всей чилийской экономики, с участием крупного английского ученого Стаффорда Бира. Попытка наивная (на всю страну было полтора компьютера) и обреченная на провал и без вмешательства Пиночета, но все же...

Дело в том, что идеи плановой экономики по самой сути своей идеально ложатся в кибернетическую концепцию. С теоретической точки зрения в кибернетике уже в 1950 годы было все готово для того, чтобы выстроить глобальную математическую модель управления государством, реализовать ее «в железе» и отправить на пенсию весь Госплан вместе с многочисленными министерствами и главками.

Мы не будем разбирать здесь глобальные просчеты сторонников такого подхода, которые все равно не позволили бы нормально функционировать подобной системе, даже будь она создана и налажена (а необходимые затраты, и начальные и текущие, по свидетельству В.М.Глушкова, сравнимы с ядерным и космическим проектом вместе взятыми). Заметим только, что во времена, когда считалось, что программа машинного перевода реально будет работать при сложности в «несколько тысяч машинных команд» (утверждение А.И.Китова, тоже военного-ученого, и одного из главных инициаторов борьбы за советскую кибернетику), а компьютер сможет полностью имитировать человека, дойдя до объемов памяти в 10^{10} бит (чуть больше гигабайта – так полагал великий Тьюринг), все позднейшие возражения еще, конечно, были неизвестны. Равно, как неочевидны тогда были и возражения против плановой экономики вообще – по крайней мере в нашей стране.

И, безусловно, попробовать стоило – раз уж управлять экономикой волонтаристски, то тут сам Бог, как говорится, велел использовать ЭВМ. В пользу этого говорит и то, что подобные системы анализа данных и принятия решений, пусть не на таком глобальном уровне, но все больше и больше внедряются в современную практику. Особенно в области корпоративного управления, и конечно, там, где жесткое управление есть неотъемлемое свойство системы – в военном деле.

И в СССР практически одновременно возникло как минимум три центра, где были выдвинуты предложения по государственным проектам автоматических систем управления. Два из них были гражданскими – это ИНЭУМ И.С.Брука, где последний собрал под свое крыло опальных экономистов, использующих методы линейного программирования Л.В.Канторовича, динамические модели экономики, методы межотраслевых балансов В.Леонтьева и прочие прогрессивные инструменты. Другой был связан с именем В.М.Глушкова, руководителя Института кибернетики в Киеве, предложившего проект ОГАС (Общегосударственной автоматизированной системы). Этот

проект был самый глобальный и одновременно самый близкий к реализации, так как был разработан в рамках прямого правительственного задания – Глушкову была поручена разработка информационных аспектов системы преобразования экономики, получившей название «косыгинской реформы».

Самый близкий к реальности проект, как сейчас представляется, был разработан группой «молодых полковников» в Минобороны, среди которых был и Полетаев. Возглавлял проект упоминавшийся А.И.Китов. Они предложили создать сеть больших ЭВМ двойного использования: для управления экономикой в мирное время и управления армией на случай войны. Инициаторам были настолько очевидны все плюсы и необходимость этого проекта, что они совершенно не задумались о необходимости, как сейчас говорят, «пиара» - продвижения среди начальства и получения поддержки. Они просто направили предложения «на самый верх» и стали ждать положительной реакции.

Реакцию Системы можно было предсказать. «Объективные экономические показатели» были нужны тогдашним чиновникам не больше, чем прозрачность – современным теневым дельцам. (Глушков характеризует советских экономистов: *«которые вообще ничего не считали»*). Характерно возражение, которое было выдвинуто Глушкову на уровне Политбюро: *«Методы оптимизации и автоматизированные системы управления не нужны, поскольку у партии есть свои методы управления: для этого она советуется с народом, например, созывает совещание стахановцев или колхозников-ударников»*. Аналогичную судьба постигла «молодых полковников» – Главное политуправление армии задало единственный вопрос: *«А где здесь в вашей машине руководящая роль партии?»* Брука сняли с руководства ИНЭУМА одновременно с падением Хрущева, «косыгинскую» реформу свернули, а «молодых полковников» уволили из армии еще в 1961-м – формально по выслуге лет, они ведь почти все были фронтовиками призыва 1941-го. Об АСУП и АСУТП на гражданке и о

системах управления армиями заговорили всерьез лишь лет через десять.

Полетаев перебрался в Новосибирск, где стал душой научных симпозиумов и выполнил свои главные работы. Сын Полетаева, Андрей Игоревич, в своей статье памяти отца вспоминает слова известного биолога-математика Альберта Макарьевича Молчанова: *«Говорили, что кибернетика – реакционная лженаука. Это не так. Во-первых – не реакционная. Во-вторых – не лже, а в-третьих – не наука. Эта мысль могла бы принадлежать Игорю Андреевичу, как мне кажется»*. Он оказался прав – Полетаев выдвинул тезис о том, что кибернетика – не наука, еще в конце пятидесятих годов. Но обсуждение этого вопроса увело бы нас далеко за рамки статьи.

Физики и лирики

Известный современник Пушкина Е.А.Баратынский выразил всеобщее негативное ощущение от наступления века, как мы сейчас говорим, технократов в следующих знаменательных словах («Последний поэт»):

*Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.*

Представляется, что выдающийся поэт ухватил самую суть проблемы – науку упрекали в игнорировании «прекрасного» с самого момента ее возникновения. Шатобриан в начале XIX века предлагал науку вообще запретить. Кант искал рациональные обоснования морали, и пришел к выводу, что их не существует. Положение усугубилось в середине XX века, когда наука, если можно так выразиться, «потеряла невинность». Если до этого типичный образ ученого – рассеянного чудака Паганеля – непременно включал в себя некое стремление «к поиску истины», «к бескорыстному познанию законов природы», существовало и культивировалось понятие о «чистой науке», то начиная со взрывов в Хиросиме и Нагасаки общественность перестала этому образу верить.

На этом фоне в конце 50-х годов одновременно на Западе (Ч.П.Сноу) и в СССР возникла дискуссия «о физиках и лириках». Сам факт возникновения такой дискуссии, независимо от ее уровня и последствий, имел весьма большое значение: у Тарковского фильм «Зеркало» начинается метафорой «я могу говорить». В донельзя заидеологизированном послесталинском обществе возникновение такого феномена само по себе необычно – нет никаких сомнений, что это не было никак санкционировано сверху. Совершенно честное изложение своего мнения в центральных (!) печатных изданиях, и поляризация этих мнений почти без оглядки на «единственно верное учение» имело большое значение для формирования общественного климата той эпохи.

Имя дискуссия получила от неоднократно цитировавшихся потом строк из стихотворения Б.Слущкого, которое было напечатано в «Литературной газете» 13 сентября 1959:

*Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья –
Наши сладенькие ямбы...*

Но публикация этих стихов случилась уже спустя полторы недели после начала самой дискуссии.

Толчком к началу послужило опубликование в «Комсомольской правде» от 2 сентября 1959 года статьи И.Эренбурга «Ответ на одно письмо». Студентка Ленинградского педагогического института Нина В. рассказывала о своем конфликте с неким инженером: «*Как-то я попыталась прочитать ему стихотворение Блока, – писала корреспондентка. – Он нехотя выслушал, сказал мне, что это устарело, ерунда и теперь другая эпоха. Когда я ему предложила пойти в Эрмитаж, он разозлился, он там уже был, и вообще это неинтересно, и опять, что я не*

понимаю нашего времени... Конечно, он умный и честный работник, все его товарищи о нем высокого мнения, и я могла часами слушать, когда он говорил о своей работе, он мне помог понять значение физики, но ничего другого в жизни он не признает...» Вопрос был вполне в духе времени: *«верно ли, что интерес к искусству вытесняется в наш век могущественным научным прогрессом?»*. Эренбург также ответил вполне в духе времени: *«.. я верю, что победят страсть, воля, вдохновение тех, которые обладают не только большими познаниями, но и большим сердцем»*. Сторонники точки зрения Эренбурга в дальнейшем не раз ссылались на выступление Э.Поповой: *«Убеждена, что и там, в космосе, человек будет бороться, страдать, любить, стремиться шире и глубже мир. Человеку в космосе нужна будет ветка сирени!»*. Вот эта «самая ветка сирени в космосе» и стала знаменем «лириков», противопоставлявших искусство «бездушной» науке. Сейчас бы над подобной патетикой только посмеялись, но реакция тогдашних читателей на статью была исключительно быстрой и активной. Ни одно современное издание не отказалось бы повторить подобный журналистский успех.

Это все бы закончилось, не оставив следа в нашей памяти, если бы заметка в «Комсомолке» не попала в глаза Полетаеву. Как вы можете судить по изложенному, Игорь Андреевич был мастером словесных дуэлей. В статье Эренбурга его взбесил прежде всего уровень обсуждения – как он сам вспоминал: *«Ну как такое можно печатать! Именно печатать, ибо сначала я ни на секунду не усомнился в том, что И. Г. Эренбург печатает одно, а думает другое (не круглый же он дурак, в самом деле, с этой „душевной целиной“»*. Прекрасно знающий изнутри и науку и искусство, Полетаев с обычным чувством юмора пошел на провокацию: *«Можно ли утверждать, что современная жизнь все больше следует за художниками и поэтами? Нет. Наука и техника создают лицо современной эпохи, все больше влияют на вкусы, нравы, поведение человека... Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорией экспериментов, строительства. Это наша эпоха.*

Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок! Конечно же, они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Хотим мы этого или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью... Хотим мы этого или нет, но поэты все меньше владеют нашими душами и все меньше учат нас. Самые увлекательные сказки преподносят сегодня наука и техника, точный, смелый и беспощадный разум. Не признавать этого — значит не видеть, что делается вокруг. Искусство отходит на второй план – в отдых, в досуг, и я жалею об этом вместе с Эренбургом». И подписался – «Полетаев (инженер)», и под этим именем стал в одночасье известен всей стране.

Его восприняли всерьез, да еще так всерьез, что дискуссия перекинулась на страницы «Литературной газеты», «Литературы и жизни», журналов «Москва», «Иностранная литература», «Нового мира» и др. изданий. У «инженера Полетаева» нашлось много единомышленников, но большинство все же оказалось против. Всего за почти пять лет, которые продлилась дискуссия (до 1964 года), в ней приняли участие академики, литературоведы, журналисты, писатели и поэты, и даже иностранные авторы (Ч.Сноу и М.Уилсон).

Все эти люди, кроме, конечно, тех, кто лично знал И.А.Полетаева (а таковые в публичной дискуссии, видимо, не участвовали) и не подозревали, что сам Игорь Андреевич:

- знал английский, немецкий, французский, итальянский, чешский, польский и японский языки, а также со словарем читал на шведском, греческом, китайском и венгерском;

- имел абсолютный слух и музыкальное образование, всю жизнь осваивал новые музыкальные инструменты, например, к концу жизни освоил скрипку и флейту;

- дома собрал огромную коллекцию записей классической музыки, также очень любил песни Шарля Трене и Ива Монтана;

- занимался скульптурой, живописью, съемками любительских фильмов, прикладными искусствами (дутьем

из стекла). По свидетельству сына, он завидовал Мухиной и Коненкову, потому что сам так бы не смог, а остальным – нет, чувствовал, что мог бы сам выразить не хуже.

И его выступление было просто провокацией, желанием вывести на чистую воду болтунов и бездельников, которых в советском искусстве было к тому времени просто неисчислимое количество. Говоря современным языком, Полетаев «развел лириков, как лохов», они простодушно на это клюнули, а он сам с удовлетворением наблюдал, как подвергается избиению некий виртуальный «инженер Полетаев» и сколько глупостей при этом произносится.

Вот его реальная позиция, по его собственным словам: *«Что же я отстаивал (а я-таки „отстаивал“ нечто) в этом споре? Я это помню, и я готов „отстаивать“ и ныне. Вероятно то, что я отстаивал, кратко можно назвать „свободой выбора“. Если я или некто X, будучи взрослым, в здравом уме и твердой памяти, выбрал себе занятие, то – во-первых – пусть он делает как хочет, если он не мешает другим, а тем более приносит пользу; во-вторых, пусть никакая сволочь не смеет ему говорить, что ты, дескать, X – плохой, потому что ты плотник (инженер, г...очист – нужное дописать), а я – Y – хороший, ибо я поэт (музыкант, вор-домушник – нужное дописать). ... Беда начнется, когда дурак, богемный недоучка, виршеплет, именующий себя, как рак на безрыбье, „поэтом“, придет к работяге инженеру и будет нахально надоедать заявлением, что он „некультурен“, ибо непричастен к поэзии. Именно это и заявлял Эренбург, да будет ему земля пухом».*

И вот это признание, опубликованное уже после смерти Игоря Андреевича его сыном, выводит всю проблему совершенно на другой уровень. Дискуссию ту, конечно, нельзя было развернуть в сторону спора о «свободе выбора». Если бы оказалось, что на самом деле вопрос стоит об основах «открытого общества», сосуществования культур и мировоззрений, то никакой дискуссии просто бы не состоялось. А жаль, потому что вопрос и по сей день совсем не закрыт, и имеет еще много уровней, о которых сам Полетаев, скорее всего, совсем не подозревал.

На его надгробии в Новосибирском Академгородке
написано – «инженер И.А.Полетаев».



Виктор Каган

Закладки



то эта блажь бессонная больная?

Что этот плач над плахою Земли?
А жизнь поёт весёлая, шальная
и воробьи полощутся в пыли.

Поёт и плачет, плачет и смеётся.
Что ей до нас и нашего суда,
когда на дне засохшего колодца,
как воробей, полощется звезда?

То под гору судьба, то с хрипом в гору,
и годы под ноги опавшею листвою,
пропахшей дымом, и найти опору,
что истину в болтушке бредовой.

Свеча горела на столе и догорела,
остыла капля воска на доске ...
А утром ждёт неконченное дело –
достраивать свой домик на песке.

Ну что тебе не спится,
когда уснули все?
Секундной стрелки спица,
как белка в колесе.

Неспешные минуты,
протяжные часы
и вечность, фу-ты-ну-ты,
до первой полосы

серебряного света,

мелькнувшей из-за крыш,
когда уснёшь и это
под бой часов проспишь.

Да как-то, знаешь, не с руки
ни то, ни это.
И раскатились колобки
по белу свету.

Границ ощерившийся бред,
запоров лязги,
проклятья в спину, ложь вослед,
пустые дрязги.

И сам такой же колобок
с пути собьёшься,
завалишься на сбитый бок
и в шар вожмёшься.

А где какая сторона –
да брось, довольно:
земля – она на всех одна,
в ней всем не больно.

Подушкой запад ли восток –
не всё равно ли?
Земля летит, как колобок –
трёхмерный нолик

Памяти Э. Поляковой

Бог смахнёт на ладонь дрожь века,
бросит крошки в щербатый рот,
и ещё одного человека
пылью памяти занесёт.

И земля расстелется пухом
вечный сон в покое беречь,
чтобы к небу глохнущим ухом
жаться тем, кому завтра лечь,
чтобы вслушиваться, как дети,

у которых выбора нет,
в голос тех, кого нет на свете,
кто в траву превратился и свет.

Слёзы – водкой и камень – хлебом,
осыпается пеплом прах,
и под терпким осенним небом
горечь выдоха на губах.

Welcome home в одурь jet lag'a
и лечиться виски со льдом ...
Что теперь натворишь из легио-
дней, ворочающихся с трудом?

Им ведь тоже поди не сладко
туже стягивать пояса
часовые ... помята закладка
в книге жизни ... под вечер роса,

в полдень вспыхивают закаты,
дьявол с богом поют под хмельком ...
Впрочем, всё это было когда-то
и мотивчик давно знаком.

Ждали третьего? Ждали, братцы,
что носами крутить-то зря?
Есть ещё о чём потрепаться
и литровой флягой вискаря.

Это вам не нектар и мирро.
Вот и выпал нам вечерок.
Едет с шорохом крыша мира
и шуршит, шуршит шиферок...

Заполуночная блажь.
Откровение в потёмках.
Предков выцветший кураж
продолжается в потомках.

Краски ярче, дух бледней,
кровь дешевле, жизнь дороже.
Он тоскующий о ней,
а она о нём... о боже,

что за странная тоска,
что за глупые печали?
И кончается доска
бесконечности в начале.

Конец недели. Праздность и покой.
Дурная весть не просочится в душу.
Клубком свернулось время под рукой,
не слушая надсадную кликушу,

над садом распростёршую крыла –
ворону, что ли ... Впрочем, что ворона?
Суббота. Сажа тишины бела
и ласкова терновая корона.

Любовь была глупа – куда глупей?
Но тем умом умна, что всех умнее.
Пей – не пьяней, а пьян – тем паче пей,
и пой, пока судьба тебя хмельнее.

Любовь была глупа, а блажь умна,
а ум глупей последней самой блажи.
Был полдень бел и ночь была черна,
и лунный луч латал прорехи сажи.

Окликнешь темноту, а отзовётся свет.
Окликнешь свет – откликнутся потёмки.
Мерцает неисполненный завет.
Таится шило в памяти котомке.

Ни глупости в уме не утаить.
ни ум не спрятать в глупости начале.
И Парка вьёт задумчивую нить
любви прозрачной, призрачной печали.

*Но там, где нас нет – деревья в багряном цвету
стоят, как стояли, и клена лист золотой
плывет по зеленой поверхности, и привкус счастья во рту,
и осень причислена к лику святых и стала святой.*

Борис Херсонский

Там, где нас нет, кажется, лучше, чем там, где мы
есть.

Там, где нас нет, всё так, как и должно быть.
Кажется, оттуда именно раздаётся благая весть
и плывёт к нам и никак не может доплыть.

Там, где нас нет... Но не представить никак,
что жизнь возможна без нас, как мы без неё – нет.
Кажется, протяни руку, кажется, сделай шаг,
затёпли, кажется, свечку и вечный настанет свет.

А когда догорят свечи и в небо уйдёт их чад,
на этом свете не сыщешь вечного света след.
Время спешит вперёд и убегает назад.
Ночь по звёздам выходит на перекрёсток лет.

Там, где нас нет, говорят, хорошо. Но повсюду мы.
В каждом шкафу скелет – собственный, не чужой –
ласково скалит зубы из побуревшей тьмы
летней ночи, прихваченной осени ржой.

Ждешь, что наступит утро вечера мудреней.
А утром умрешь, но окажется, что умер ещё не весь,
так что легко уместись в тесном остатке дней
и можешь ещё услышать пока не дошедшую весть.

Она прозвучит и растает, растает и утечёт.
В пальцах сухих катаешь песочных часов стекло
и наизусть повторяешь, на память, наперечёт
жизнь, которую время пока ещё не унесло.

В ней ещё не наступили ни сглаз, ни время без нас.
До Покровá ещё так далеко, что ноги собьёшь идти.
И только томящий душу хрустящий Яблочный Спас

напоминает об осени с золотом дыма в горсти.

Дверь открыта, так входи –
что ты жмёшься на пороге
с замиранием в груди
и камланием о боге?

Что припомнишь, уходя,
выдох настояв на вдохе
под шуршание дождя
в такт расхристанной эпохе?

Опадают с дней годá,
наплывают дни на годы.
Память – вечная беда
заключённой в жизнь свободы.

Небо выгнуто дугой.
Откровений непонятки.
Стон порога под ногой.
Жизнь и смерть играют в прятки.

Стелется мутный туман,
звуки всё тише и тише,
влагой набрякший турман
жмётся к нахохленной крыше.

Вытяни руку – ладонь
скроется в млечности жизни.
Плачет по всаднику конь
на перевёрнутой тризне.

Мыши шуршат по углам.
Спят ошалевшие мухи.
Молью потраченный хлам.
Храм – запустенье разрухи.

Скрипнет гнилая доска,
всхлипнет надрывно тревога.
Ищет слепая тоска

взгляд запропавшего бога.

Белка стучится в стекло.
Память плетёт паутину.
Время молчаньем светло,
сводит предчувствием спину.

А средь засаленных карт,
меченых крапом и кровью,
глупый до одури март
к лета прильнул изголовью.

Даллас-Москва-Петербург
Сентябрь-ноябрь 2011



Хаим Соколин

Из ненаписанного

Перевод и стихи

SONNET 66

William Shakespear

Tired with all these, for restful death I cry,
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplac'd,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgrac'd,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly (doctor-like) controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

СОНЕТ 66

Уставший от всего, я призываю смерть,
Как нищий обрету в ней избавленье,
Что бедняку веселья круговерть,
Когда над верой истинной глумленье,
И почести приравнены к позору,
И честь девичью видим на панели,
И совершенству затаиться впору,
И смелые под властью онемели,
И власть искусству вырвала язык,
И глупость перекрыла путь уменью,
И правду знать народ уже отвык,
И справедливость предана забвенью,
Устал я и готов покинуть мир,
Но как тебя оставить, мой кумир!

РАССКАЗ МОСКОВСКОГО БОМЖА

Недавно по пути в ночлег
Зашел с бутылкой я в пивную,
Присел за столик, жду коллег,
Чтоб душу отвести смурную.

Вдруг явь похожая на сон –
Заходят сразу два пейсатых:
Альцгеймер, следом Паркинсон,
В лапсердаках и черных шляпах...

Я не поклонник иностранцев,
Но на троих – другой расклад,
Сюда приходят не для танцев,
А соблности мужской обряд.

Встаю с бутылкой, улыбаюсь,
Иду к гостям. Что за херня?
Я трезвый, почему шатаюсь?
И будто ток трясет меня.

Потом и вовсе чертовщина –
Забыл и имя, и слова,
Успел подумать – в чем причина?
И отключилась голова...

И вот теперь лежу в больнице,
И слышу сквозь тревожный сон
Далекий голос медсестрицы,
Что друг пришел мой Паркинсон.

В глубокой пребывая дрёме,
Не в силах шевельнуть ногой,
Я чувствую – за ним на стрёме
В такой же шляпе тот, другой...

ЗАКОН ВСЕОБЩЕГО ТЯГОТЕНИЯ

Адама создал Бог, а после Еву,
Потом пришел и яблони черед –
Запретным фруктом соблазнил он деву,
С тех пор плодится без конца народ.

Мы все произошли от этой пары
(хотя, по совести, не знали долго – как?).
И сделал Бог – под яблонею старой
Присел в раздумье Ньютон Исаак.

И в тот же миг с отяжелевшей ветки
Сорвался плод величиной с кулак,
Удар был неожиданный и меткий –
Сознания лишился Исаак.

Но оклемавшись после потрясения,
Он в суть явления вникнуть захотел,
И понял, что Закону тяготенья
Подвластны душ сближения и тел...

ПУРИМШПИЛЬКА

Поведал мне сосед Менаше
Историю, хранимую в Мидраше,
Что в праздник Пурим
Мы друг друга дурим:
Мардука представляем Мордехаем,
Астар в Эстер зачем-то превращаем...

На самом деле все они французы
Из города старинного Тулузы
И дядя Эстер, как теперь мы знаем,
Был бедным дворянином Мор де Хаем.

Там до сих пор живут его потомки,
Гордись дворянским именем негромким.
К ним раз в году, как ёжик из тумана,
Заходят в гости отпрыски А'Мана.
И если в море Средиземном штиль
Они играют вместе пуримшпиль,
А после, как сказал сосед Менаше,
Турнир по поеданью гоменташей.
Наевшись до отвалу, стар и млад
Толкуют об Эстер и мегилат.
Придумал праздник англичанин Питер –
Известный лондонский кондитер.
Забавы ради выпекал он тесто

Такой же формы, что срамное место
У знаменитых греческих гетер,
И звал печенью «мегилат Эстер».

Не будучи ученым и поэтом,
Ничуть не сомневался он при этом,
Что арамейским словом «мегилат»
Зовется место для мужских услад. . .

ПРОСТИ, ЧТО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ

*По поводу получения диплома «Автора года»
«Заметок по еврейской истории»
Ю.К. – такому же непризнанному
поэту, что и автор*

Менял я имя и скрывался,
В лесах таился и в горах,
Как мог от славы отбивался,
Превозмогая стыд и страх,

Что мне диплом лауреата
Генсека премии присудят,
И засмеют меня ребята,
И девы юные разлюбят. . .

Но миновали опасенья,
Не выдал Бог, свинья не съела,
И вновь без страха и сомненья
Я занялся привычным делом.

Тогда грозить открыто стали
То «Букером», а то «Гонкурором»,
Не на того они напали –
По мне всё это на смех курам. . .

И тут меня подставил шнобель.
Его пощупав и измерив,
Мне шведы предложили «Нобель»
(что не как все я – не поверив).

Отверг я этот дерзкий вызов
С улыбкой, весело и гордо –

Свободы ради, без капризов
Отворотил от шведов морду...

Но Интернет меня достал,
Сломался под восьмой десяток,
И года автором я стал,
Хотя всю жизнь бежал от взяток.

Прости, что стал лауреатом,
Свободу гильдии предав,
Словесности ничтожный атом,
Перо за серебро продав...

ПОЭТЫ КАМЕННОГО ВЕКА

*Комментарий к списку
поэтов Серебряного века
Другу и поэту Ю.К.*

Нас не отыщешь в этом списке
На букву «Ка» и букву «Эс»,
Хотя по духу мы им близки,
Но все ж другой у нас замес...

Поэты Каменного века,
Мы пишем кремнем на скале,
И в шоке мы от человека,
Что расплодился на Земле.

Нам чужды все цивилизации,
ООН, религии, хайтек,
Мы дети первой популяции,
Когда встал прямо человек...

Последние певцы пещеры,
Мы помним мамонта живым,
Огонь – вот символ нашей веры,
И мы его в сердцах храним.

ИТОГОВОЕ

Я в суть событий не вникаю
(с моим IQ не по плечу),
И потому я возникаю,

Когда хочу и где хочу...

Порой не вовремя, не к месту,
Как рыжий в цирке на ковре,
Дрейфуя вечером к норд-весту,
К зюйд-осту выйду на заре,

Неуправляем как стихия,
Порвавший цепь ученый кот,
Статью пишу или стихи я,
Выходит все наоборот...

Несётся по морю мой бриг,
Влекомый прихотью пера,
Он жизни лоцию постиг
Меж скал Порока и Добра.

И шкипер, помня альму-матер,
Бежит литературных яхт,
Он презирает их кильватер
И ангажированный фрахт.

Как шхуна – призрак в океане,
Борта усталые скрипят,
Она у бури на аркане,
Ее причалы не манят...

**РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ
СОНИ – МОЕЙ ПЕРВОЙ И, НАДЕЮСЬ,
ПОСЛЕДНЕЙ ЖЕНЫ**

Годы бегут и кушать не просят,
Что-то уносят, а что-то приносят,
Меньше чего-то и больше чего-то,
Жизнь – это тоже процент с оборота.

В скромной квартире, не в пышном чертоге
Мы подбиваем сегодня итоги
Первых весёлых шестидесяти лет –
Что уже в прошлом, а что ещё нет.

В прошлом осталась простая девчонка
С улыбкой жемчужной и талией тонкой,

В прошлом мечты, грандиозные планы
И путешествия в дальние страны.

Грех обижаться, немало сбылось,
В общем и целом неплохо жилось,
Есть о чём вспомнить, вздохнуть и взгрустнуть,
Есть чем разбавить душевную муть...

То ли на счастье, то ль на беду
Бросила жизнь нас сперва в Арчеду,
Грязь там месили и нефть добывали,
Были довольны и горя не знали.

Но кончилась эта идиллия вдруг –
Свалился на Хаима тяжкий недуг,
Может инфекция, может быть вирус
Вселился в него через некий папирус:

Читал он листовку и делался пьян:
«О Хайфа, о Голда, о Моше Даян...» –
Шептал как в бреду, будоража семейство
Рассказами про мировое еврейство...

Больной наш уже излечился вполне,
А вирус зловерный достался жене,
С высот сионизма скатился он низко,
Теперь – нигилист, а она – сионистка.

Что вспомним с тобой у семейной печи
Под завывание ветра в ночи?
Какую судьба нам споёт серенаду –
Опять про Аляску, Гавайи, Канаду?

А может быть штормы уже отгремели,
Наш парус пробит и корабль на мели?
И нет больше пороха в пороховницах
И безнадёга на горестных лицах?

У нас, дорогая, всё будет иначе,
Я верю – мы снова судьбу одурачим,
И снова, как прежде, с тобою вдвоём
Под занавес новую песню споём.

Нам возраст – не срок, доктора – не помеха,
Всерьёз заявляю, а не для смеха –
Ты мне и любовь, и надежда, и вера,
Что ждёт впереди нас другая карьера,
Что пройдена лишь половина пути,
И мы прошагаем до ста двадцати.

И пусть тебе скажут, что Хаим смешон,
Но будешь ты в списке писательских жён...
27.12.1992

Я НЕ ОТ СКРОМНОСТИ УМРУ

Я не от скромности умру,
Не от гордыни иль смирения,
Известен тем я был в миру,
Что разделял любые мнения.

Всегда голосовал я "за",
С толпою радостно сливался,
Включал, где надо, тормоза,
Усами Кобы восхищался.

Мне нет причины умирать,
Жевать всегда готов я пайку –
Поскольку мне на все плевать,
Я поддержу любую шайку...

И все ж, друзья (или хулители),
Умру я от большой печали:
Зачем любимые родители
Не брата, а меня зачали?

НАШ ВЕК УШЕЛ

Ю.К.

Наш век ушел, а мы остались –
Доделать, досмотреть, досочинять,
Казалось, ненадолго задержались,
Но, видно, Бог нас не готов принять...

Наверное, Его мы огорчали,
Грустили там, где надо веселиться,

А может в дни всеобщие печали
Не видел скорби Он на наших лицах...

Зачем гадать? Мы не стремимся в гости,
Посмотрим, друг, что новый век отмочит –
Кому еще переломает кости,
Какие идеалы опорочит?

КОЗЕРОГ

Я козерог и не стыжусь,
"Козёл и рог" – два слова слиты,
Я рогом собственным горжусь,
С козлом мы тоже вроде квиты.

Я нагружал его грехами,
Парировал о нём насмешки,
Крутыми горными верхами
Мы шли уверенно, без спешки.

Бывало, что без лишних слов,
Сражаясь голыми руками,
Спасал его я от орлов,
С моими бился он врагами...

И вот мы снова на вершине,
Козёл и я, и сникший рог.
О, если б в сказочной машине
Вернуться в прошлое я мог!

Я б отпустил козла на волю,
К ногам копыта прирастил,
И, взяв себе козлову долю,
Орлам и людям отомстил...

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЭТА

Нам жизни разные даны,
Как шляпы или как штаны...
Поэт, почивший ночью в бозе,
Вернуться к жизни может в прозе.

Коль есть в нем Божия искра,
Он прозой возвестит с утра

Желание опохмелиться –
И, как прозаик, возродится...

ВНУШАЛ СЕБЕ Я

Внушал себе я: «Сокол ты,
И след в поэзии оставишь».
Увы, развеялись мечты!
Не Сокол я, а Дятел клавиш...

Бывает светлым утром ранним
Воспеть захочешь облака,
Но почему-то на экране
Ползет бездарная строка.

Мне не дано витиевато
Писать о чистой красоте.
Перо ли в этом виновато?
А может клавиши не те?

ИЗ НЕНАПИСАННОГО

Я чист душой. И телом тоже.
Но лишь одно меня тревожит –
Шальные мысли, как и прежде,
Знак ложный подают надежде –
Отбросить половину лет
И разрядить свой арбалет
В десятку, как в мышиний глаз,
Чтоб радостно заржал Пегас
И, вспомнив о давно забытом,
Крылом махал и бил копытом...

Творцу поведал Мефистофель,
Что чипс – не с маслицем картофель,
Что доктор Фауст будет рад,
Забыв свой сан и страсть к науке,
Пройдя мистический обряд,
Познать иную страсть и муки...
Я, как и Фауст, кот ученый,
И мой рассудок омраченный
Готов к приходу Маргариты –

Тогда мы с Гете будем квиты...

Как неразумен человек!
Уж прихватил не свой он век,
И внес, где мог, посильный вклад,
Но вновь в душе его разлад.
Она, как раненая птица,
Никак не хочет примириться,
Что не парить ей в небесах,
Что тяжким грузом на весах
Лежат накопленные годы,
А в них удачи и невзгоды,
Падения и снова взлеты,
Во сне безумные полеты –
И так до гробовой доски...
Сойти с ума ли от тоски,
Или для нового восхода
Ждать Мефистофеля прихода?

Приди, таинственный Мефисто!
Поверь, я слова не нарушу,
Присядем, выпьем грамм по триста,
И ты мою получишь душу.
Составим ксиву на арго,
Распишем наши обязательства,
Проводишь ты меня к Марго,
А там уже по обстоятельствам...



Наталия Гранцева

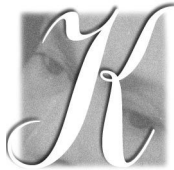
**«Мой Невский, ты –
империи букварь...»**

**Стихи из новой книги
Предисловие Михаила Юдсона**

Предисловие

АУРУМ, или ЗОЛОТАЯ АУРА

Наталия Гранцева. "Мой Невский, ты – империи букварь..."
Санкт-Петербург, 2009 г.



ниги стихов возникают на моей расшатанной столешнице сами. То просачиваются из мирового эфира, льются из золотого решета, то друзья пришлют – перевороши, порадуйся дару. Вот и этим томиком небесного цвета я, как говаривали сухаревские букинисты, "одолжился на прочет". Сунулся листать, глотать – навскид, из середины – наткнулся и остановился: "...в зимний Кёльн. Принимая немотство / Тайной миссии, будут в молчанье они / Проходить мимо нас, как земные огни, / В вифлеемской земли воеводство". Тут я бережно, человечно погладил книжку по гладкой спинке и отворил начало, где было слово о Петербурге, где шел снег, пришла Елка, скакал мороз-воевода дозором, и зимний Кёльн рождественски преображался в дворцовый Зимний.

Петербург Гранцевой пиитичен и многогранен: "лицедей-мореход, альбинос-эфиоп... полиглот-землемер, несогласных эпох пионер... неизвестных небес гражданин".

Согласитесь, сразу хочется вчитываться, неспешно катать строчки на языке и даже помышлять о встрече с автором "на вербной веточке метро". Эдакое свидание у

Четырех Углов – поскольку в сборнике как раз четыре раздела: "Гражданин небес", "Зима бытия", "Золотое решето", "Легированная роза".

Времена года в книге – да пожалуй зима, а после осень. Уже читая список стихов, "Содержание", словно обводишь пальцем морозные узоры на стекле: "Мороз крещенский в утреннем саду...", "Библия. Полночь. Зима...", "Зимы сверкающая дрожь..." Или подбираешь в короб опавшие листья: "Византийская осень в России царит...", "Стал осинник золотым...", "В осенний час любви и знания..."

По аллеям книги гуляют "титулярные акакии, макары" и бедный из "Медного", и Монтень толкается в метрополитене, и Беккет толкует про конец игры, и "будем в час вечерний века обнимать, ко сну идя, я – трактат Умберто Эко, книгу Брэдбери – дитя". Да, да, все читанное допрежь, все облака и деревья, делегированные розы и именные кресты, все наливные яблоки, все золотые шары, все странствия по разбегающимся тропкам страниц, эти "неизживаемые дрожжи", как выражался Шергин, – именно на них поднимается тесто стихотворного текста Гранцевой.

Сложносочиненная, свежеиспеченная красота – геометрия Римана "в этом Риме болотном под каждым кустом"! Книга сродни Петербургу: строгие строфы проспектов – и "воздуха круглый ларец". Муза здесь – Клио. У Гранцевой "русская Клио живет в Назарете, в крепости бродит Троянской", "пластилином истории Клио играет", а также "Клио, рифму отвергая, нам прибавляет страсти и ума". Эпохи в книге вольноотпущенно раскованны – "в неслышную гармонию слились". Добавлю отсебятины – смешались в кучу кони Клодта, люди Флинта, конек Ершова, горбунок Гюго, образуя замечательный – для тех, кто понимает! – "ерш". Открывай да пей! Возможно, этот нектар не для всех читателей без перьев – "но они не знают Мандельштама и гнезда в цитате не совьют". А тихому рецензионному пролу вроде меня стихи эти близки дивной цикадностью, эдакой блокадностью многосмысля, распахнутой герметичностью.

И пусть Наталья Гранцева лукаво сознается: "Я разлюбила Серебряный век... его зеркала в винных закатах...", "Мир очарован макаронами и бредит истиной в вине" – но мне, набравшись духу и стихов, так и хочется возопить: "Белые сзади!" – взвихрённая игра в бисер, символистская пурга и акмеистская метель. С ходу полюбились вхруст эти запорошенные изощренностью вирши: "Вокруг тебя ни холода, ни мрака, поскольку смысл отсутствует во тьме. Левкой, Набоков, парусник Маака, на башне аист, облако, акмэ..." Такое это мое, родимое, блочное – аж поминаешь парфюмера, улисса, фингал... Воистину, камень на камень, Пелион на Оссу – и воссияет Оссиан!

Однако у Гранцевой культурные пласты не сроду ширятся победительно, слоятся наполеоново, порой тень вспоминает свое место и свивается Св. Еленово – а эта лирика-кириллика всю книжность, всю методику-мефодику сбондила по элегическим волнам, пустила в распыл. И несть ни элина, ни Лианозова – лишь несть благую весть! С волхвами жить!.. Слюдяное уступает ледяной прозрачности: все для людей, Кай – человек, а следовательно, Герда – друг... "И снега ангелы слепые возникли около окна..." Стилистика осязаемо сменяется осезимью, хрустящим в лужах ледком, звуками и запахами, важным и влажным, талым снегом и палой листвой... Бумажный пейзаж оживает, выпрыгивает из рам – и "бьется жилка на горле текста", как буркнул Набоков.

Огранка слов у Гранцевой, как и должно, недюжинна: "хвойный ангел с мандарином", "птенцы за пазухой Христа", растения – "зеленые апостолы любви, немые рыбки из Генисарета". Кстати, о зелени, о цвете трав и вер. Меня всегда интересовала раскраска звукоряда – как там читаемое крылышкуется золотописью, не самоварный Спас ли? Вспомним термин Гиппиус – "нарисованные стихи", в том смысле, что – искусственные цветы. У Гранцевой стихи – живые и светятся, и пахнут, и цветут, даром что привычных цветов спектра практически нет. Отсутствует напрочь вот это, короче: "Каждый охотник – фазан..." Почти двести страниц, и только на последней

возникает "сумрак синий", ну, пару раз мелькнул желтый, подмигнул зеленый – проезжай, читай, Итака далее, эх, даль свободного Дальтона!.. Вы не поверите – книга стихов без единого слова "красный"! Случается, "розовеет боярышник Пруста", а так скитаешься впустую в поисках. У автора табу на этот цвет. Зато тотем тут – слово "золотой". Волшебное слово! Оно нечувствительно вклинивается в извилины, и мир затягивается в тот самый цветной туман – и ты затягиваешься в книгу. Давайте развернем прилежно свиток, сочтем – и не до середины, до конца. Золотое, золотые, золотая, золотой: корабль, очки, облако, лес – хлам, курабье, сети, трава – сундук, ладья, душа, сдоба – боги, город, игра, Брукнер – чашка, решето, тюрбан, крыльцо – листопад, купола, рождение, осинник – июль, слитки, агнцы, языки – конфигурации, рукавица, сом, сон – перо, театр... Ну точно, эта книга – театр Питера, кариатид, колонн, каналов и крылаток – уж Мойка близится, двенадцать, а Грибоеда нет... "На златом крыльце сидели..." – завораживающе-красочно, ритмически читает нам Гранцева, ан "цева" – краска, кстати, на иврите, на назаретском древнем языке.

Золотое сечение текста гармонизует душевный хаос, слушатель-читатель постепенно втягивается и наконец сечет предмет, воочью видит удивительную ауру сей книги... Особенно же сильно про Россию. Единственный эпитаф на белеющих полях – из Лермонтова: "Прощай, немытая Россия". Горечью и верой, тоской и надеждой, грустью и любовью дышат здесь стансы Натальи Гранцевой. Палех и гжель переплавляются в печаль и боль, а "викжель пути" – в "плакали и пели". Прощай, прошлое – "и паутиной заросли навек оглохшие иконы". Пахнет щами и снегом, полустанками и звездами – потому как поэзия... "Я верю в ясный ум России" – так завершается книга. Дай Бог!..

Здесь прекращаются записки мои. Далее – молчание. Золотые слова! Воистину, ум хорошо – а аурум лучше. Читайте Гранцеву – старайтесь, намывайте душу.

Наталья Гранцева

Кто о чем, ну а я, Петербург, – о тебе,
О строптивой вельможной твоей голытьбе,
О твоих адмиралах гранитных трясин,
О литейщиках славных вершин.

О тебе, Петербург, – фоторобот Европ,
Лицедей-мореход, альбинос-эфиоп.
О тебе, Петербург, – полиглот-землемер,
Несогласных эпох пионер.

Как тебя величать, всемогущий мираж?
Дух воинственный? Лидер идейных продаж?
Цитадель злодеяний? Убийств пантеон?
Иступленных умов бастион?

Ты стоишь посредине судьбы, как скала,
Не страшишься мороза, не просишь тепла,
Ты молчишь о себе, как монах-исполин,
Неизвестных небес гражданин.

И стремительный Невский вонзив, как копье,
Разбивает Вселенная сердце мое.

Сто тысяч раз по Невскому прошла,
сто тысяч слов любовных прошептала,
Разбила и сердца и зеркала,
но все равно от жизни не устала,

Но все равно под солнцем и в ночи,
в дождях алмазных, в сумраках чернильных
Бегу, теряя годы и ключи
и удивленья ропот ювенильный.

Но все равно, читая вензеля,
бреду сквозь зданий каменную драму
От детства – золотого корабля,
до старости – таинственного храма.

Мой Невский, ты – империи букварь,
российской Клио певчая синица,
Судьбы градостроительный алтарь,
души непокоренная столица,

Мой Невский, ты – познания портал,
влияний пристань, вход в многообразье,
Ты тайных битв магический кристалл,
ты – плотник христианского согласия.

Мой Невский, ты – прожектор маяка,
Александрия книги и свободы,
Ты будущего тучная строка,
ты – басня, и трагедия, и ода.

Ты в жажде новизны неутолим,
ты светел, как триумф сопротивленья,
Ты – молодости Иерусалим,
ты – Рим страстей, Афины размышленья.

Ты – пир торговли, банковский Эдем,
иллюзион могущества и власти,
Ты – лучшая из Божьих теорем
о сумме одиночества и счастья.

Ты – высший из заветов о труде,
о лицедействе, долге и гордыне,
Ты – жезл и посох, преданный воде,
ты – доблести стоической святыня,

Ты все смешал – и райский сад, и ад,
ты выпустил из залов и подвалов
Кондитерских ванильный аромат
и смрад царевбийственных кинжалов.

Ты время запустеньем напоил,
ты стал царем измен и вероломства,
Ты воздухом бессмертья одарил
безжизненного голода потомство.

Ты наводняешь жизнь и голоса
громадой моря, штормом полумира

И ночью белой полнишь паруса
венецианским призракам Пальмиры.

Мой Невский, я тебя боготворю,
к твоим гранитам словом прикасаюсь,
С тобой одним о жизни говорю,
тобой одним страдаю и спасаюсь.

И даже там, в плену загробных уз,
где нет надежды с чудом повстречаться,
Сто тысяч раз пред Господом взмолюсь
о милости – с тобой не разлучаться,

И вымолю возможность вернуть
хотя б объятье бестелесным взглядом.
И счастье раз в столетье приходит
ночным дождем, вечерним снегопадом.

Толкаясь в метрополитене,
Ты говорил мне о Монтене
И двадцать первый век бранил.
А ведь таинственный философ
Бежал трагических вопросов
И не любил густых чернил.

Являясь римским гражданином,
Он не был склонен к терпким винам –
О слабой печени радел.
Под маской кроткою скрывался
И властью тайной упивался,
И шпагой мастерски владел.

– Любите древних! – повторял он,
Но нетерпимы мы к анналам,
Мы думаем: бывшее – хлам.
Шумим, теснясь в толпе вагонной,
И в подземельях перегонных
Бежим по душам и телам.

Чужие опыты – зачем нам?
Зачем старинный взгляд системный

Уму мешает быть шутом?
Нет ничего смешней бесплодных
Стенаний о былом бесплотном –
Прекрасном, древнем, золотом.

Еще ж глупей – взывать к живому,
Чтоб уподобилось иному,
Кивать на чуждый циферблат,
Клясть современность, власть и веру,
И тридцать третьего премьера
Демократический халат.

При ловле блохпохвальна спешка,
Но философская насмешка
Не отрицает скоростей.
Движенье – та же мышеловка,
И у платформы остановка –
Не крах дороги и идей.

Здесь выход наш. Подобный мавру,
Здесь Александр с мечом и Лавра,
Как туча с облаком парят.
Они в молчанье благородном
На берегу Невы холодном,
Намо Монтене говорят.

В нем петербургский был туманец,
И, русской речи иностранец,
Как эскалатор, ясен он.
Он сам любил в часы заката
Античным спринтером чубатым
Взбегать по лестнице времен.

Крутая, темная, складная,
Как геометрия земная
Скрывает круглое нутро,
Она и предопределяет
И образ времени являет
На вербной веточке метро.

Что ж из несказанного ясно?

Боюсь, что жить – небезопасно,
Хоть, право, лучшей доли нет,
Чем всем подземным мониторам
И осветительным приборам
Предпочитать небесный свет.

Караван привидений воздушной дорогой бредет.
Возле падшей столицы репейник голландский цветет.

По каналам гранитным чиновная рыщет плотва,
Гимназисты безумные бомбы кладут в рукава.

Начиняют взрывчаткой шинелишки и сюртуки,
Призывают Антихриста воинства и языки,

Заклинают судьбу, чтоб рука обагрилась с утра.
Но уже начинается нового века игра.

Между белых ночей ходит гибели низменной царь,
Политический зверь, безымянных гробниц государь,

Прародитель газет, Эдисон виртуальных отрав,
Трехголовый Лойола, земли чечевичный Исав,

Генерал душегубов, немых кровопийц атаман,
Он стальным истуканом скрывается в сизый туман,

Он, как жертвенный призрак, хватает детей за ушко,
Он кристалл цианида бросает в молитв молоко,

И Учитель Небесный, надев золотые очки,
Уравнение пустое стирает с зеленой доски...

Угасают судьбы огни
меж метелей и хризантем.
Время действия – наши дни,
в стиле милитари Эдем.
Место действия – жизнь моя,
жесткий экшн чужих страстей,
Волчья ягода бытия,

скоростная боль новостей.

Только изредка на луну
на чугунном ядре взлетишь,
Глянешь в круглую глубину,
разом будущее простишь.
Без отчаянья и тоски,
сквозь космическую пыльцу
Словно с чьей-то легкой руки
милый мир поднесешь к лицу.

По глубинам великих рек,
по руинам великих Трой
Там неведенья бродит смех
с канителью и мишурой.
Балаганной глины свисток,
барабанов бой расписной.
Были счастливы те, кто смог
от любви умереть весной,

Кто не слушал великих слов,
кто заплыл в серебро зеркал,
Кто ни воронов, ни орлов
на утесах снов не искал,
Кто не стал ни агнцем святым,
ни наемником сатаны –
Только облаком золотым,
только музыкой тишины...

Я разлюбила серебряный век —
Милые лица.
Радости детской бумажный ковчег,
Жизни гробницу.

Я разлюбила серебряный век –
Лунное знание,
Вьюги бурлеск, ослепительный грех,
Похоть камлания.

Я разлюбила его зеркала
В винных закатах.

Бездна столетья меж нами легла
Цветом граната.

Окисью ночи аргентум покрыт,
Кровью – молитва.
Черным квадратом на солнце горит
Оккама бритва.

Вот и закрыло руками лицо
Вечное слово.
Вот и катится, свернувшись в кольцо,
Тень Гумилева.

РОЖДЕСТВО

Приближается чудо – ты слышишь? И я!
Снегопад над землей висит, паря,
В невесомом скафандре, в хитоне пуховом.
Заглушается шум механизмов земных,
Гул забот невеселых и всхлипов дверных –
Ветошь звуков в оркестре дворовом.

Ночь уходит по грудь в тишину, в темноту,
Теплый воздух пустыни в незримом цвету
Сторожей и бродяг тормозит, согревая.
И бесшумно, как дверь из двойного стекла,
Расступается неба разумная мгла,
Путь сверхновой звезде открывая.

О, таинственный лоцман в созвездье Тельца,
Дух кометы, туманности близкой пыльца,
Милосердья фонарик-сестрица.
Год за годом гляжу на чудесный полет,
На мистерию чуда, защиты оплот,
На свеченья небесную птицу.

Год за годом – ты слышишь? – еловой смолой
Наполняется мрак. И незримой стрелой
Пролегает тропа к потаенной пещере.
Три восточных царя, затерявшись в ночи,
Как свидетели чуда, послы и врачи

Время шагом сафьяновым мерят.

Первый дышит, как вол, так дыхания пар,
Как светильник, несет пред собою Каспар,
Чтоб второй не рассыпал из ладанки ладан.
А последним идет, выбиваясь из сил,
Тот, кого предсказал сам пророк Даниил,
Сокровенным навьюченный кладом.

Компас их огневой, шаровой, световой
Ниже туч проплывает дорогой живой
И на северо-запад декабрьский стремится.
Наблюдатели зимней природы, зачем
Маги сбились с пути? Далеко Вифлеем
От иерусалимской десницы.

Этот путь начертал в глубине языков
Валаам, прорицатель древнейших веков,
И ведет по нему чародеев светило
Не в вертеп – во дворец чужеземца-царя,
Чтоб в известье благом, как в слезе янтаря,
Злоумышленье Ирода явлено было.

Как четвертой эклогой Вергилия он
Восхищался, а консул и друг Поллион
С ними в Риме шутил, пил вино молодое,
Так теперь в иудейской ночи проклянет
Весть восточных гонцов, провожая в поход
Трех потомков великого Ноя.

За оградою западной спит темнота.
За ушедшими заперты крепко врата.
Ирод знает, что ложен маршрут каравана
И лазутчиков верных навек ослепит,
Словно вьюжная пыль из-под чуждых копыт,
Ветхий мир ожидания, лжи и обмана.

Через вечногo времени снежный туман
Путь царей пролегает к Босфору, в Милан,
В зимний Кёльн. Принимая немotство
Тайной миссии, будут в молчанье они

Проходить мимо нас, как земные огни,
В Вифлеемской земли воеводство.

Там Давидовый город – промышленный край,
Там убежище теплое, бедный сарай,
Гостевая времянка, родильные сени.
Там ребенок, чье тело как нежный топаз,
Словно молния – лик, а сияние глаз
Говорит о любви и спасенье.

Он лежит на коленях у Девы святой,
И подземного храма сундук золотой
Открывает Иосифу старому чудо –
С отдаленного выгона, за две версты,
Пастухи появляются. Лампа звезды
Освещает волхвов с драгоценной посудой.

Здесь помазанья масло, судьбы фимиам.
Созерцая прохлады таинственной храм,
Все живое не спит от волнения.
Мы его очевидцы. И верить спеша,
С Дионисием Малым согласна душа –
Это он, первый день обновленья.

Материнской улыбкою кроткой пленен,
Дышит маленький образ великих времен
И глядит на пришедших с дарами.
В ореоле души он как дух в хрустале.
Животворное Слово на чистой земле
Пребывает – ты слышишь? – и с нами.

Как мне хочется в мире теперь пребывать,
Ризы Божьи в серебряной тьме целовать
Или думать с тобою о счастье.
Я вдыхаю возлюбленный воздух. Никак
Не могу насыщаться. Несу на руках
Апельсины и книги, и сласти.

Итальянской дубленки броня холодит,
Снег от Кеплера с пулковской сферы летит
На эпохи любимой года-акварели.

Он летит на сердечной хвалы благодать,
И народам на плечи ложится опять
Серебристый каракуль метели.

Чтобы дух человеческий вновь обмирал,
Чтобы лился в сердца благодарный хорал,
Чтобы мы разбивали неверия чаши
И могли вспоминать, если помнить невмочь,
Что когда-то однажды в морозную ночь
Наспростили за прошлое наше.

Придет зима, и за ночь на фасадах
Увянет лавр бессмертный и акант,
И грубый мир в виссоне снегопада
Возникнет вновь, как древний фолиант.

Огромный, как душа средневековья,
Среди твердынь великих и святынь
Он явит лик, зовущийся любовью,
И чистой речи горною латынь,

Он скроет жизни трещины и складки,
Смягчит предметов рваные края,
Он воскресит забытые догадки
О детском совершенстве бытия.

И вспомним мы, что радостный и грозный
Там высился воздушный мавзолей,
Там реял снег, как будто атлас звездный
Нечаянно рассыпал Птолемей,

Там зверь, очей исполнен и отваги,
Глядел из допотопной темноты,
И в тыщах рек в ледовых саркофагах
Ихтиозавры спали и киты.

Там праздники из облака ванили
Выглядывали с пряником в руке.
Там камни тайно с нами говорили
На кремниевом древнем языке.

Там первой истончающейся кожей
Мы в миг единый чувствовать могли
Печное пламя, лучезарность Божью,
Сиянье мертвых царств из-под земли.

Там знали мы, доверяясь сновиденьям,
Которые пугают и слепят,
Что жизнь растет ночами, как растенье,
И молод мир, как первый снегопад.

Библия. Полночь. Зима.
В белых хитонах дома.
В окна заброшенной церкви
Смотрит смолистая тьма.

Реет рождественский снег,
Ходит на цыпочках век.
Спит дорогая малышка –
Нимфа каналов и рек.

Шалью завешен плафон,
Кубиков пал Вавилон,
Спит, под щекою ладошка,
Прошлых не зная времен.

Тех, где сквозь море беды,
Выбросив стяг лебеды,
Шел ледокол государства
Грудью в полярные льды.

Тех, где погибель мела,
Лгали, кривясь, зеркала.
Тех, где я тоже полжизни,
Как в заточенье, спала.

Зимы сверкающая дрожь
Бежит по коже и гардинам,
Пока ты к старости бредешь,
Держа флакон с валокордином,

И вокруг души твоей растет
Пустое множество пространства
И разъедает кислород
Железный свиток христианства.

Так уплывает в мрак иной
В глубоководной бездне сферы
Хвостом вперед и головой
Двоякодышащая эра.

И водяные бьют ключи
В целебных зарослях аира.
И размышляет Бог в ночи
Над новой моделью мира.

О каталог одиночеств,
белый словарь холодов!
Таает беззвучною ночью
эхо неверных трудов.
Музыка зимняя льется –
звук бестелесный и свет,
Ангел восточный смеется –
Эрик Салим-Меруэт.
Искрится радость другая,
брезжат иные края.
Может быть, жизнь дорогая –
это зима бытия?
Кто мы такие и где мы?
Чем нас столетья слепят?
Может быть, просто в Эдеме
тоже идет снегопад?
Веет морозом из сада,
Древо познания во мгле.
Тысячу лет снегопада
холодно мне на земле!
Дом с отопленьем певучим,
друга любимого страсть,
Чай, словно Индия, жгучий,
меха звериного власть –

Всепроникающей стыни
тоже на милость сдались,
Словно античной латыни
огненный дух-Дионис.
Зимнее солнцестоянье,
полюс печали творца.
Тварей земных прозябанье
может ли быть без конца?
Глупо, но верит не в это
странная память моя.
Сменится музыкой света
долгий декабрь бытия.
Станут цветущими тени,
плоть возродится сиять,
В заросли детской сирени
радость вернется опять.
Как от наркоза оттаяв,
после печали земной
Спросит душа золотая:
«Боже, что было со мной?»

Что мне времен библейских полнота,
Коль никогда душе не повториться?
Прощай, прощай, столетье без креста –
Моей прекрасной юности гробница.

Прощай навек, уйду, не оглянусь
На твой пожар духовного заката,
На плач теней – невольниц или муз –
Перед иконой черного квадрата.

Хочу забыть, как лик ее чадил,
Пока трещала разума лампада,
И войско голых сущностей водил
Андрей Платонов по земному аду.

Хочу не знать, как рылся котлован
Под новый храм иного мироздания,
С землей во рту оптический обман,

Просивший крови, веры и страданья.

Культурный слой... Разбитое стекло.
Все зарастает сорною травой,
И зимородок, ставший на крыло,
В речную гладь ныряет за плотвою.

И вечный сон – великий Гиппократ,
Призвав полынь, шалфей и валерьяну,
Целебный яд вливает наугад
В невидимые внутренние раны.

Страдальцев лечит чудной немотой –
Благословенной, выстраданной самой.
И кажется полжизни прожитой
Старинной исторической драмой.

Растенья любят время, потому
Что время их всегда идет по кругу,
Что семя их, упавшее во тьму,
Бесстрашно ждет сияющего плуга.

Душа их беззащитна и пуста,
Как легкий газ без цвета и без вкуса.
Как будто до рождения Христа
Растенья знали притчи Иисуса,

Внимали солнцу в сладком забытии,
И око сердца обращали к свету –
Зеленые апостолы любви,
Немые рыбки из Геннисарета.

Между дьяволом и Богом,
Между властью и острогом
Бродит хаоса руно.
Реет ангел-полуночник,
Чист спасения источник –
Изумрудное вино.

Спит пастух в пещерной позе,

И на тучке-водовозе
Месяц по небу летит.
Рим разрушен и Афины,
В кровь ползут эндоморфины,
Звездный Рак с горы свистит.

Между нефтью и алмазом,
Между злом и благом – разум,
Мыльный шарик с пустотой –
Между молнией и громом,
И в ковчежце CD-рома
Скрылся Брукнер золотой

Пусто, душно, тускло, горько.
Экстремальная разборка
Предлежит и предстоит.
В атмосфере, как цунами,
Ходит ненависть волнами,
Разверзает зев Аид.

Так кончается эпоха,
Лжи, тоски, чертополоха,
Яда, жившего в душе.
Я нисколько не горюю.
Книга судей, говорю я,
Мной прочитана уже.

Нет правды в прошлом, как в ногах –
Присядь и выпей чашку кофе.
Экклезиаст, видать, в бегах,
А то б твердил о катастрофе,
О неизбежном... Мы и так
Готовы к худшему с рожденья.
Что рубль иным — для нас пятак,
Сорняк, ветошка, наважденье.

Ропщи, смирайся или пей —
Напрасно умоисступленье.
И в плащ вцепляется репей,
Как догма предопределенья.

Но план трагедии понять
Смогли еще во тьме столетий:
Там актов будет ровно пять,
А ныне — лишь закончен третий.

Пройдет еще полтыщи лет,
Но будут живы те же ноты,
И вновь католиков завет
Крушить продолжают гугеноты
И вспыхнет новая резня,
Плодя чудовищные бредни,
И всадник будет гнать коня,
Чтобы поспеть к чужой обедне.

Пуускай история идет
Своей исхоженной дорогой,
Но погребальных трапез мед
Еще не собран, слава Богу.
Есть время вырастить детей
И цветники разбить в пустыне,
И рыбу вынуть из сетей,
И форму дать словесной глине,

И путь обыденный верша,
Продлить невидимые рельсы...
Испепеленная душа,
Цвети, как роза Парацельса!

Из пространства времен наплывает зима.
В основании мира - бездонная тьма,
Миражи, привиденья, фантомы.
Там в системе зеркал отразилась война,
Там слоятся великих столиц имена
И кометы летят к астрономам.

Там, купаясь в воздушном ночном хрустале,
Бог египетский - месяц несет на челе,
Как замерзший огонь погребальный.
Он от страха в пустыне песчаной дрожит,
Он некрополь бескрайний во тьме сторожит,

Вечный сон бережет беспечальный.

В усыпальнице царственной тих Темучин.
Тот, кто Цезарем звался, спустился с вершин
И в ладье золотой отдыхает.
Все владыки свободны от жизненных уз.
Солнцеликий Рамзес - златокудрий Иусу
Прах земной от души отряхает.

Сторож мертвых! Верней их покой сторожи!
Геродот, как отец исторической лжи,
Пишет новых эпох пергамены.
Истлевают папирусов древних листы,
И, свой храм превратив в лабиринт пустоты,
Клио курит галлюциногены.

Наступает затмение судьбы и ума,
Из пространства времен наплывает зима,
Снегом полнит небесные сферы.
Призрак жизни кружится в объятиях вьюг,
И душа в сотый раз выскользает из рук
Прирученной гранитной химеры.

Погасло звездное пространство,
Со лба откинут капюшон...
И светлый пир картезианства
Похмельем тяжким завершен.
Где стол был яств - осколков гряда,
Объедки, мусор, пыль и прах.
А образ Целого, как чуда,
Сокрыт все так же в алтарях.

Там, где невинных душ сиянье -
Детей, животных и рабов,
И познавательней познания
В латыни спящая любовь.

Не пора ль копать картошку? Отцветает зверобой.
Но ребенок понарошку поиграть зовет с судьбой.

На златом крыльце сидели, в самом деле - царь с
портным?
Плач с восторгом? Страх с весельем? Утро с ночью? С
камнем дым?

Да, как иволги на ветке, - посидят и улетят.
Заперт мир в огромной клетке неземных координат.
Мы не знаем, что играем. Мы живем, махнув рукой.
Мы, играя, выбираем - кто же буду я такой?
Одиссей? Сократ? Петрарка? Гамлет? Фауст? Сирано?
Голубого неба арка, речи грубое рядно,
Разноликие планиды, словно радуги, парят,
Несудьбы эфемериды, снов вербальный звукоряд -
Жизнь вращается, как сцена, - золотое решето,
Под мурлыканье Дассена, в ожидании Годо,
Строит царские палаты, ходит в солнечном венце -
Словно Моцарта соната с отрешеньем на лице.

Весенний, ночной, на копытцах стеклянных,
Как фавн обнаженный, как маленький бес,
Как в детском этюде пассаж фортепьянный,
Промчался по городу дождь - и исчез.

Быть может, он прыгнул в Неву иль Фонтанку,
Быть может, он в небо взбежал, испарясь,
Но прежде он вывернул тьму наизнанку,
Чтоб солнечный луч дотянулся до нас.

Чтоб вновь сквозняки поиграли с геранью,
С твоим завитком молодым у виска,
Чтоб в дом залетел холодок мироздания,
По тихому сердцу прошли облака.

Чтоб вновь зазвучал в геометрии света,
Как страсть, возвращенный на круги своя,
Подобный душе Афанасия Фета,
Забытый сиреневый сад бытия.

Растенья любят время - потому,
Что время их всегда идет по кругу,

Что семя их, упавшее во тьму,
Бесстрашно ждет сияющего плуга.

Душа их беззащитна и пуста,
Как легкий газ без цвета и без вкуса.
Как будто до рождения Христа
Растенья знали притчи Иисуса.

Внимали Солнцу в сладком забытьи,
И око сердца обращали к свету, -
Зеленые апостолы любви,
Немые рыбки из Геннисарета.



Сергей Слепухин

REALITY-SHOW

проснуться около...
вот спящая жена
журнал часы на бортике дивана
лицо потрогай ты ли убедись
соприкоснись
с холодным и безличным

в небытии прописан против воли
не можешь контролировать распада
остановить текущий в формалине
дыханья пар что был всегда тобой

крик боли приглушен не предназначен
для слуха вашего в тяжелой теплой ртути
где вещи замерли голодные шакалы
и ожидая жертву залегли

В дымке ленивом солнце обнажилось,
Как пепел, чайки плыли над волнами,
Подсвеченные жалом сигареты.

Катилось лето звонкою монетой,
Упругой рябью наполняя воздух,
И ум слабел, и присмирели бесы.

Нетерпеливо вглядывалось в небо
Животное глубинное немое,
Желая упразднения пространства
И наступленья вечной мерзлоты.

АДИАФОРА

Раисе Шиллимант

Шуршит в часах песок о черных людях.
Я слышу слабо. В сурдопереводе –
значки и вымарки о семиглавом звере,
об ангелах, одетых в облака.

Все поросло чернобылем бессонниц:
скорлупка полумесяца, космограф –
крылатый Дюрер, Пегниц еле слышный,
и всадники, и яблони в цвету...

Быть может, я внутри чужого мозга
бреду по вязкой франкфуртской дороге,
и ветер заплетает в кудри черви,
отбитые извилины мои?

Противно щелкает, свистит в мозгах навывлет
поддельный сон осадочной породы.
Теперь не скрыться, самообнаружен,
Как бесполезный, в сущности, предмет...

В гаснущих сумерках – поддельные люди,
Черные десны, отвисшие губы.
Они выходят на промозглый ветер,
Трепетными ноздрями втягивая воздух.

Похоронная колонна за облаками
Растекается в бездонные полости неба,
Пахнет звездами, конторской пылью,
Испарения жизни, двойной, недоброй.

Продвигаясь вперед, распадается время,
Скрюченный серый дымок над окурком.
Мешковатые небеса, усталые люди...
Я не хочу быть *послесвеченьем!*

Totentanz траурно-мрачных стволов,
Колонна арестантов – несбывшихся грёз.
Блаженна невесомости мертвая зыбь,

Черная стужа в моей голове.

Тени-калеки сползают в углы,
Валятся, уродливые,
Бух-плюх, прыг-скок,
Я давно, давно, давно обогнал,
Тени, что когда-то хотели быть мной.

Тешил Дьявола, и – свет померк.
Сухие, как пергамент, стропила век.
Я потерялся, чтоб не нашли,
Не наказали – видеть насквозь.

язык угрозы еле различим
в лиловом мраке мартовского утра
хирея замерзает в небе солнце

с подбивкой серой плесени стоят
бокалы тополей полей испитых
и ржавый город на границе смерти
гнилые зубы хищно обнажает

о господи какой щербатый рот
котлов жаровен дым из дупел черных
бесполье как гипсовые слепки
окурки труб и запах немоты

я эпизод чужого эпизода
иного сновиденья сновиденье
еще не время вещи называть
придуманными всуе именами

в сизых сумерках лицо
черной массы мумиё
скалит желтые глаза
прячет в наволочку страх

слишком близко слишком здесь
сто шаров один в другом

я вобрал себя в себя
зная – улицы длинны

этот дом сгорает в ад
сотни «я» уходят в дым
по запретной полосе
по контрольно-следовой

тела внешние следы
причитанья обезьян
в этой яркой липкой тьме
обронил и не нашел

в подоле погибели хруст звезды
на черных березах когти из гнезд
давно фонари перебиты и
никто не осмелится кири-ку-ку
угроза вторженья на чуткий наст
голодные волки выходят из
и тащат младенцев в зубах в окно
на речку в кровавую полынью
сгущаются клубы вокруг ствола
и комья в земле выбивает бег
лунным пятном из кромешных глубин
спускается кто-то вылушивать смерть
коль не дурак ты поймешь поймешь
что наши покойники боги нам
а боги сто лет сто лет мертвецы
и жизнь на ладони – верткая ртуть

сортирная полутьма
алчный кумач крематория
аппаратчики в черных костюмах
мозгов повидло
теплое вязкое
насильственный захват мыслей

мир сузился
зеленые помоечные мухи

летят на очко с окровавленным клювом
орда московская синебурмалиновая
эх курганы курганы могильники

зиги-заги поздний диктатор
лживые глаза скошены к переносице
часы сверяет повторяя прошлое
трахает нашу карму
как мы его догму

острые ощущения между ног притупились
утро медленно тащится к обеденному перерыву
давай притворимся что это счастливый конец
жаль что я не проснулся сегодня

Стаи черных уродливых птиц, сгрудившиеся далеко,
выбивают частую дробь в предвкушении клева
мысли из воска.

Тощие женские груди, из которых ушло молоко,
сжимаются, опадают, стучатся во тьме бестолково –
поршни мозга.

Стиснутые, покосившиеся, как пассажиры метро,
платья ночных раздумий, сжеваны мною, смяты.
Что толку?

Контурсы спальни тонут в липком клейком ситро.
Кукла, шарниры, бесформенный ком ваты –
в чулан, на полку!

Мысли ходят на четвереньках с высунутым языком,
за поворотом окаменевают в сгусток черный,
битум плавкий.

Глаз из далеких краев наливается кровью и молоком.
Колокольца, бубны, рога, охотничьи свистки, горны –
темный лес Кафки.

Так мы удаляемся от нас самих день за днем, день за днем,
выводим себя за ручку, желающие исчезновенья,
исхода из плоти,
по ту сторону внешних явлений, где потеряемся и заживем,
наконец, заживем, не на жизненное мгновенье –

а навсегда,
и – напротив.

Reality-show: мотыльки и птицы,
Дожди из молока, мяса, железа,
Шерсти, кирпичей, плексигласа в рассрочку,
Струйки пота сбегают хлопьями пепла.

Задохлик, заморыш, худокрыл линиялый,
Жметя к прутьям чьей-то парадной клетки.
Остекленный воздух габбро твердый.
Мотылек петляет, ныряет, бьется.

По ту сторону тени – окольцованный ангел,
Моей добродетели тайный тезка,
Тоже убился, не прочел шпаргалки,
Ветер тербит темно-синие кудри...



Лариса Миллер

«СТИХИ ГУСЬКОМ»

Книга V: октябрь-ноябрь 2011 г.

«Стихи гуськом. Книга IV: август-сентябрь 2011 г.
«Стихи гуськом. Книга III (июнь-июль 2011 г.)»
«Стихи гуськом. Книга II (апрель-май 2011 г.)»
«Стихи гуськом. Книга I (февраль-март 2011 г.)»

30 ноября 2011 г.

Ну кому погрозить кулачком,
Что скроили нас так неумело,
Вдули душу в непрочное тело,
Напоили грудным молочком,
От которого только сильней
Ощущаем ранимость, непрочность
И нелепой затеи порочность,
И Божественный промысел в ней?
2011

Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что всё рассеется потом,
Уйдёт, разрушится и канет,
И отомрёт, и сил не станет
Подумать о пережитом.
1984

29 ноября 2011 г.

Снег, не задерживаясь, тает.
А мне и без него хватает
Того, что тают силы, дни.

Да, Господи, куда не ткни,
Везде так – вспыхнуло и нету.
Кого и как призвать к ответу?

2011

И ты попался на крючок,
И неба светлого клочок
Сиял, пока крючок впивался
И ты бессильно извивался,
Стремясь на волю, дурачок.
Тебе осталось лишь гадать
Зачем вся эта благодать,
И для чего тебя вдруг взяли,
Из тьмы беспамятства изъяли,
Решив земное имя дать.

1994

27 ноября 2011 г.

Я здешних мест жилец со стажем.
Я так давно слилась с пейзажем.
Я примелькалась, я своя.
Наверно, здешние края
Жить без меня совсем не могут
И стать бессмертной мне помогут.

2010

Откуда знать, важны ли нам
Для жизни и для равновесья
Родные стены по утрам,
Родные звуки в поднебесье,
Родная сень над головой.
А, может, под любую сенью
Быть можно и самим собой,
И чьей-нибудь безвольной тенью.
А, может, близ родной души
Любые веси – дом родимый.
Но, чтоб ответить – сокруши
Очаг, столь бережно хранимый,
Свой прежний дом покинь совсем,
Сойди с дороги, той, что вьется,

Стерпи, что завтра будет нем
Тот, кто сегодня отзовется,
И перейди в предел иной
С иным укладом и разором,
Где чуждо все, что за спиной,
И чуждо все, что перед взором.
1973

25 ноября 2011 г.

Стихи не могут жить совсем одни.
Они должны ютиться близко к сердцу.
Они хотят входить в любую дверцу,
Как близкий друг иль в качестве родни.
Стихи не могут жить, как сирота.
Не то устройство. Психика не та.
2011

Где хорошо? Повсюду и нигде.
Всё разошлось кругами по воде
По тихой – разбежалось, разошлось...
Гляди-ка, тут погасло, там зажглось.
Там осень лист осиновый зажгла...
Послушай, не проводишь до угла?
Верней, до поворота, а верней
До тех дрожащих на ветру огней?
1999

22 ноября 2011 г.

Спасибо меня научили писать и читать.
Я этим и занята нынче – пишу и читаю.
Я самым прекрасным занятием в мире считаю
Возможность кропать свои вирши и книжки глотать.
Спасибо меня научили читать и писать.
Ведь это лекарство, способное смертных спасать.
2011

21 ноября 2011 г.

Давайте ловить кирпичи,
Что в головы близких летят.
Отменим скитанье в ночи,

Которого так не хотят
Любимые наши, тот мрак,
Где будут потеряны нить
И память. Придумаем как
Любимым бессмертье привить.

2011

20 ноября 2011 г.

А мне намекнули, что долго гостила,
Но я это мимо ушей пропустила.
Сказали, – мол, всё, что мне здесь причиталось,
Взяла. Я молчу, будто я зачиталась.
Сказали, что шансов почти не имею
На взлёт. Притворилась, что не разумею.
Веду себя так, будто все мне здесь рады,
И всё для меня – снегири, снегопады.

2011

Это все твое. Бери:
Снегопады до зари,
Снегири, пруды, аллеи –
Все твое. Бери смелее,
Коли знаешь, как сберечь
Жизни сбивчивую речь,
Из каких волокон прочных
Сделать сеть для дней проточных.

1985

19 ноября 2011 г.

Слава Богу, что папа успел потетёшкать меня,
Что успел поддержать у себя на коленях немного.
Ну а дальше – война и дорога, дорога, дорога,
На которую рухнул ничком. Ведь любовь – не броня.
Не броня? Но любовь, что ко мне проявлял, не тая,
Мой погибший отец – и сегодня защита моя.

2011

18 ноября 2011 г.

Ах, мой лирический герой,
Я за него стою горой,

Поскольку он такой ранимый,
Гонимый, мало кем хранимый.
Зовут его так просто – свет.
Он существует тыщу лет,
И всё ж его порой не видят.
А он, как только нас завидит,
Так принимается сиять.
И, коль не может всё объять,
То пробивается сквозь щели,
Стремясь к одной заветной цели –
Нам дать надежду и любовь.
Неужто мы докажем вновь,
Что он нас любит безответно
Что всё уныло, беспросветно?

2011

Легко, на цыпочках, шутя...
Душа – младенец. Мир – дитя.
Рассвет наивен. Ветер юн.
Сменилось только десять лун
Со дня творенья. Вечность – миф.
Душа, себя обременив
Лишь сновиденьями, для снов
Ещё не выдумала слов.

1985

15 ноября 2011 г.

Живи, покуда поглощён самим явленьем.
Среди подробностей взращён, живи мгновеньем.
Оно лишь только и дано. Всё остальное –
Воображение одно, причём больное.
Живи мгновеньем, что летит и улетает.
Спонтанных записей петит душа читает.
А что там дальше – благодать иль двери ада –
Ей не дано предугадать, да и не надо.

1997

14 ноября 2011 г.

В июне, что богат росой,
Послужим взлётной полосой

Для божьей маленькой коровки.
Уж коль мы сами так неловки,
Что не летаем, пусть она
На лёгких крылышках, одна,
Поджав невидимые ножки,
Взлетит с распахнутой ладошки.

2011

А я ещё живу, а я ещё дышу,
У вас, друзья мои, прощения прошу
За то, что не могу не обращаться к вам,
И вы опять должны внимать моим словам.
Прощения прошу у ночи и у дня
За то, что тьму и свет изводят на меня,
Прощения прошу у рек и берегов
За то, что им вовек не возвращу долгов.

1987

Так осенью пахнет, и тучи так низко,
И даль так туманна, и слёзы так близко.
Кого мне окликнуть? Куда мне податься?
О чём говорить, чтобы не разрыдаться?

2006

Мой любимый рефрен: «Синь небес, синь небес».
В невесомое крен, синевы перевес
Над землёй, над её чернотой, маетой.
Я на той стороне, где летают. На той,
Где звучит и звучит мой любимый напев,
Где земля с небесами, сойтись не успеv,
Разошлись, растеклись, разбрелись – кто куда...
Ты со мною закинь в эту синь невода,
Чтобы выловить то, что нельзя уловить,
Удержать и умножить, и миру явить.

1987

10 ноября 2011 г.

Так дружат счастье и беда!
Так дружат – не разлей вода!
Они не могут друг без дружки

И даже пьют из той же кружки,
Из той же мисочки едят
И в ту же сторону глядят,
И, видя, что идёт прохожий,
Летят навстречу вместе тоже.

2011

Так хочется пожить без боли и без гнёта,
Но жизнь – она и есть невольные тенёта.
Так хочется пожить без горечи и груза,
Но жизнь – она и есть сладчайшая обуза,
И горестная весть и вечное страданье.
Но жизнь – она и есть последнее свиданье,
Когда ни слов, ни сил. Лишь толчея вокзала.
И ты не то спросил. И я не то сказала.

1990

05 ноября 2011 г.

А мы всё ждём Твоих речей,
А Ты не прерываешь речи,
И речь Твоя – вот эти свечи,
Мерцанье маленьких свечей
На каждой веточке кривой,
Той, что почти не замечаем,
Покуда чаем и не чаем
Хоть раз услышать голос Твой.

2011

Лист движением нежным
Прикоснулся к плечу.
Ни о чем неизбежном
Я и знать не хочу,
Кроме тихой рутины
Быстротечного дня
С волоском паутины
На пути у меня.

1984

04 ноября 2011 г.

С точки зрения неба мы всё копошимся:

То зачем-то встаём, то зачем-то ложимся,
То куда-то несёмся, стуча каблуками,
То взволнованно спорим и машем руками.

С точки зрения неба мы просто букашки,
И смешны ему глупые наши замашки.
Ах, суметь бы взглянуть на себя издалёка,
Свысока, со спокойствием горнего ока.

2011

А за тьмою снова тьма,
За темницею – тюрьма,
За неволей – заточенье,
За мучением – мученье...
Но возможно или нет,
Чтоб за светом снова свет,
За сиянием – сиянье,
За добром – благоденье?

1988

03 ноября 2011 г.

Смотри, на бочке дождевой
Сидит воробышек живой.
Ну разве это не удача?
Все целы – птица, ты и дача.
И лишь сарайчик дровяной
Уйдет, наверно, в мир иной.
Он сам на волю попросился,
Поскольку сгнил и покосился.

2011

День прошёл и был таков.
Боже, сколько облаков
За минувший век проплыло!
Сколько горестного было!
Не печалься, отдохни.
Сквозь изменчивые дни
Проплыви под облаками,
Разводя беду руками.

2002

02 ноября 2011 г.

Когда же мы шарик обшарили весь,
Мы поняли: лучше мы смотримся здесь –
На фоне родимых осин и берёзок,
Что так хороши для души и для розог,
Без коих не могут у нас обойтись.
Ведь надо же чем-то по спинам пройтись.

2011

Я так не хочу, чтоб учило страданье меня.
Мечтаю о том, чтоб меня только счастье учило,
Чтоб я от него хоть разок похвалу получила,
Я буду прилежней, старательней день ото дня,
Я буду следить за подвижной указкой его
На каждом уроке и не пропущу ничего.

2010

01 ноября 2011 г.

Причин для радости не вижу. Посему
Живу и радуюсь неведомо чему.
Уж коль мне веских не подкинули причин,
Должна рассчитывать на собственный почин.
И вот проснулась в полшестого и не сплю,
И силы радоваться заново коплю.

2011

Цветы и капельки росы,
И леса влажные волосы
Колеблет ветер...
Остановились все часы
На белом свете.
Остановились, не идут,
Преодолев привычный зуд
Идти куда-то.
Куда-то рваться — зряшный труд,
Пустая трага
Себя. И кто сказал, что ТАМ
Важнее находиться нам,
Чем ЗДЕСЬ остаться,

Всем этим травам и цветам
Без боя сдаться?
Сбивая с будущего спесь
Провозгласим: прекрасно ДНЕСЬ,
СЕЙЧАС И НЫНЕ,
И дивно пахнет чудо смесь
Сосны, полыни.

1994

Пойдем же под птичий неистовый гам
По синим кругам, по зеленым кругам.
Под шорох листвы и дождя воркотню
С любым из мгновений тебя породню.
Лишь из дому выйди со мной на заре,
Рукой проведи по намокшей коре,
Росою умойся – ты узнан, ты свой.
И путь твой покорною устлан травой.
Легко ли нам будет? Легко ль, не легко,
Но эта дорога ведет далеко.

Туда, где горят и сгорают дотла
И травы, и крона, что ныне светла,
И дальше, сквозь область костров и золы,
Туда, где снега, как забвенье, белы;
И дальше, туда, где, срываясь с кругов,
Над областью мороси, трав и снегов
Свободные души взлетают, чтоб впредь
И вечное слышать, и вечное зреть.

1975

29 октября 2011 г.

А не станет меня, и заря загораться
Перестанет совсем. Ну зачем ей стараться?
Зайчик солнечный утренний бросит шалить
И по стенкам скакать. Ну кого веселить?
И жасмин перестанет цвести и светиться,
Как увидит, что некому им восхититься.
Долгий день перестанет свой праздник справлять,
Так как некому будет его поздравлять.

2011

Что за жизнь у человечка:
Он горит, как Богу свечка.
И сгорает жизнь дотла,
Так как жертвенна была.

Он горит, как Богу свечка,
Как закланная овечка
Кровью, криком изойдет
И утихнет в свой черед.

Те и те и иже с ними;
Ты и я горим во Имя
Духа, Сына и Отца –
Жар у самого лица.

В толчее и в чистом поле,
На свободе и в неволе,
Очи долу иль горе –
Все горим на алтаре.

1980

26 октября 2011 г.

А осень снова сожжена,
А я опять пощажена
И, находясь в стране и мире,
Вольна идти на все четыре,
Вольна стоять, где я стою.
Но главное, что я в строю –
Пускай не дружном и не ровном,
Но дышащем и теплокровном,
Который – счастье, благодать, –
Могу пока не покидать.

2011

Положено идти вперед,
Но он и давит и гнетет
Кусок, что прожит.
И даже верба, что цветет,
Помочь не может,

И даже неба светлый край...
Ты погоди, не умирай –
Там рая нету.
Твой рай – нести под птичий грай
Всю тяжесть эту.
1999

25 октября 2011 г.

Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека,
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака...
Об этом первая строка и пятая строка,
И надо медленно читать и утопать в строках,
И между строчками витать в тех самых облаках,
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.
1990

24 октября 2011 г.

А я уже была в раю.
Я помню улицу свою
И всех соседей в коммуналке,
И как стучала в стенку Галке,
Зовя её играть со мной.
И всё это мой рай земной.
Там лучшая сирень на свете,
Там грозный дворник дядя Петя
Из шланга поливает нас.
Я там ходила в первый класс,
Где папа только у Наташки.
Непроливайки, промокашки
И ручки школьные с пером –
Я вспоминаю всё добром.
А в магазине «инвалидном»
Всегда подушечки с повидлом.
Их так приятно уминать...
Какое счастье вспоминать.
2009

23 октября 2011 г.

Поиграй с нами, Господи,
поиграй,
Он такой невесёлый –
родимый край,
Что осталось нам только
играть и петь,
Чтоб с отчаяния вовсе
не умереть.
Поиграй с нами в ладушки
и в лапту,
Дай поймать что-то светлое
на лету,
И, покинув заоблачный
небосвод,
Поводи с нами, грешными,
хоровод,
Сделай столь увлекательной
всю игру,
Чтобы я не заметила,
как умру.
2000

22 октября 2011 г.

– Поговорим о пустяках,
О том, что не живёт в веках,
О том, чего – подуй – и нету,
О том, что испарится к лету,
К рассвету, к осени, к весне...
– О чём ты? Говори ясней.
– Я о пустячном, мимолётном,
О состоянии дремотном,
О том, как просыпаться лень,
Как тянет в беспросветный день
Забыв себя, стать первым встречным...
Постой, но это же о вечном.
2000

19 октября 2011 г.

Ах это ненадёжное устройство,
Куда нас поместили, не спросив,
И где мы, горечь сладкую вкусив,
Рисуем жить. Ну это ль не геройство!
Ну разве всяк живущий – не герой?
Ведь кто стоит здесь за него горой?
Ведь тот, кто принимает к сердцу близко
Его судьбу, – он сам из группы риска.
2011

Когда сгину, Господи, когда сгину,
На кого покину я ту осину,
На ветру дрожащую, эти тропы,
Эти дни, скользящие, как синкопы,
На кого покину я птичью стаю,
Три сосны, в которых всегда блуждаю,
Эту золотистую листьев пену...
Подыщи же, Господи, мне замену.
1999

18 октября 2011 г.

Ну что ж, приходится смириться
С тем, что, когда меня не станет,
Дней не прервётся вереница,
И вечный морок не настанет.
Слова любимые, родные
Не сникнут, не осиротеют,
В тетради ринутся иные
И игры новые затеют.
Но вдруг среди них найдутся всё же
И те, кого я приручила,
Кто скажет: «Нет её дороже.
Она любви нас научила».
2011

Всё в порядке вещей, а верней, в беспорядке.
В жизни хаос такой же, как в этой тетрадке –
И темно, и тревожно, тревожно, темно,

Что-то кончено, что-то всего лишь в зачатке,
Что-то накрест зачеркнуто – отменено.
Что ни строчка, точнее сказать, ни мгновенье –
То волнение, похожее на вдохновение,
Вечно тянет то петь, то беззвучно рыдать...
Что же, Господи, делать-то с этим? «Забвенью», –
– Ты сказал бы, наверно, – «забвенью предать».

1996

17 октября 2011 г.

Какая радость! Надо же, опять
Земля – на месте, небо – где обычно,
И, как обычно, – до него прилично,
И вновь оно не ленится сиять.

Какая радость, что в лесу сыром
Мы - к небу головой, к земле – ногами,
И вновь струится воздух между нами,
И вновь к бумаге я тянусь пером.

2011

Вперёд за тем, что далеко,
Вперёд за тем, что близко.
Идти сперва легко-легко,
Но есть и доля риска,
Что всё – артель «напрасный труд»,
Броди хоть до упаду.
Но всё, что ищешь, есть и тут,
И рваться вдаль не надо.
И всё, что ищешь, в глубине
Души с рожденья носишь.
Но, точно нищий, ты вовне,
Как милостыню, просишь.

2003

14 октября 2011 г.

Картина Пиросмани

Тихо заняли места
К долгой трапезе готовы:

Позы чинны и суровы,
Скатерть белая чиста.

Медлит с чашею рука.
Всё возвышенно и строго.
Потечёт вино из рога.
Потечёт из бурдюка.

Славьте, добрые мужи,
Живописца из Кахети.
Без него ушли бы в нети
Эти ваши кутежи.

Лишь по милости его
Вы, подняв большие роги,
Ясноликие, как боги,
Живы все до одного.
1985

13 октября 2011 г.

Как тесно в собственных границах!
Как хочется распространиться,
Пробиться, выйти из себя,
Простор немислимый любя.
И понимать того эвенка,
И танцевать с огнем фламенко,
И стометровку пробежать
Так, чтобы скорость не снижать.
2011

12 октября 2011 г.

Мне некогда. Я занята. Я живу.
И я это делаю круглые сутки.
Поэтому нет у меня ни минутки
На то, что пустым прозябаньем зову.
То надо взлететь, то в отчаянье впасть,
То искорке Божьей помочь не пропасть.
2011

Петух и скрипка, и букет...
Художник, твой весёлый бред
Пленяет душу.
Летают двое много лет,
Покинув сушу.

Они летят, цветы в руках...
А мы с тобой, увы и ах,
Стоим на месте.
Лукавый ангел – крыльев взмах –
Летит к невесте.

Всё зависает там и сям
И никаких бездонных ям,
Весь мир в полёте,
Летают дяди по краям,
Летают тёти.

2002

11 октября 2011 г.

Пускай оно недостижимо.
Но даже этот, без нажима
Воздушный почерк облаков,
Зарёй подсвеченных, таков,
Что впору крикнуть: «Вот же счастье!
Да вот оно!». Живя в той части
Земного шара, где невзгод
С избытком, где текущий год
Лишь на невзгоды не скупится,
Давайте счастье по крупичам,
По зёрнышку, хоть по чуть-чуть
Насобираем как-нибудь.

2011

Идет безумное кино
И не кончается оно.
Творится бред многосерийный.
Откройте выход аварийный.
Хочу на воздух, чтоб вовне

С тишайшим снегом наравне
И с небесами, и с ветрами
Быть непричастной к этой драме,
Где все смешалось, хоть кричи,
Бок о бок жертвы, палачи
Лежат в одной и той же яме
И кое-как и штабелями.
И слышу окрик: «Ваш черед.
Эй, поколение, вперед.
Явите мощь свою, потомки.
Снимаем сцену новой ломки».
1987

10 октября 2011 г.

И чайник с носиком отбитым –
Он так не хочет быть забытым.
Я говорю ему: «Ты жив».
Жив стол, который отслужив,
Давным-давно исчез в пространстве.
В том мире, где о постоянстве
Смешно мечтать, мне дорога
И дырочка от утюга
На скатерти. Когда-то мама
Её прожгла, а я упрямо
Терзала скатерть. Я росла
И выросла, и всё спасла:
И стол, и старый подстаканник.
Я не хочу, чтоб, как Титаник,
Всё медленно ушло ко дну,
Оставив здесь меня одну.

2011

8 октября 2011 г.

А жизнь морочит и темнит.
Спроси её чем втайне дышит –
И притворится, что не слышит
Иль о другом заговорит.

О это странное житьё:
Веду, веду допрос с пристрастьем,

Чтоб вдруг понять, что можно счастьем

Считать уклончивость её.

2011

На крыше — мох и шишки,

Под ней — кусок коврижки

И чайник на плите...

Предпочитаю книжки

Извечной суете,

Продавленный диванчик,

Да в поле одуванчик,

Который поседел.

Набрасываю планчик

Своих насущных дел:

Полить из лейки грядку

И написать в тетрадку

Слова, строку вия,

И разгадать загадку

Земного бытия.

1992

7 октября 2011 г.

Планирую проснуться рано –

Едва зажгутся облака.

А остальные пункты плана

Я не наметила пока.

А остальное я намечу,

Когда увижу, что жива.

Тогда на семь назначу встречу

С туманным утром, а на два –

С дневным лучом, что встречи скорой

Дождавшись, примется плясать,

А после – с вечером, который

Тихонько будет угасать.

2011

На линии огня, огня,

Где плавится остаток дня

И полыхает, полыхает

И постепенно затухает,

Всевышний, не щади меня!
Пускай сгорит в Твоём огне
Всё опостылевшее мне
Во мне самой. Но если что-то
Ещё пригодное для взлёта
Откроешь Ты на глубине
На самой... Но чего хочу?
Советую Тебе, учу...
1999

6 октября 2011 г.

Покину землю, так и не объяв
Всего, что есть прекрасного на свете.
Быть может, донесет однажды ветер
Шум дальних вод и шелест дальних трав.
Привычное улавливает слух.
Привычное окидываю взором.
Но если я тоскую по просторам,
То лишь по тем, где окрыленный дух
Поэта пребывал, когда с пера
Текла строка: “Пора, мой друг, пора...”.
1974

5 октября 2011 г.

Не то я исключение из правил,
Не то Всевышний правила исправил,
Но я, чем старше, тем живей, живей.
В минувшем мае даже соловей
Моим стихам счастливым поразился
И даже в час ночной со мной сразился.
Вот и сегодня я ночей не сплю,
Стихи из слов податливых леплю
И засыпаю где-то на рассвете,
Не записав ночные строчки эти.
2011

4 октября 2011 г.

Наверно, надо перестать кружиться.
Иначе можно не успеть сложиться.
Но как сложиться? Что возьму с собой

В дорогу эту? Полог голубой?
Трель, что спугнула тишину ночную?
Прохладу предрассветную речную?
2011

1 октября 2011 г.

А, может, я уговорю
Свою последнюю зарю
Не торопиться и тянуться,
Потом уйти и вновь вернуться.

Я, может, всё-таки смогу
Тропу, что вьётся на бегу,
Заставить долго извиваться,
Чтоб было мне куда деваться,
Когда захочется в тиши
Заняться чем-то для души.

2011

Приснилось мне, едва уснула:
Корова языком слизнула
Всё, что я видела до сна.
Проснулась: Господи, весна.
Налево глянула, направо –
Цела небесная оправа,
И краски дивно хороши,
Но только близких – ни души.
Куда-то все запропастились.
Исчезли, даже не простились.
И жизнь иная бьёт ключом.
Я в этой жизни – не при чём.
К кому ни подойду с речами,
Уходят прочь, пожав плечами.
1981



Александр Матлин

Узы малокровного родства



Если вдуматься, родственные чувства – явление загадочное. Можно даже сказать – иррациональное. Я могу понять любовь родителей к детям или детей к родителям. Я могу понять взаимную привязанность людей выросших вместе, какое бы формальное родство их не связывало. Но вот, представьте себе, человек неожиданно находит троюродного брата своей двоюродной сестры, которого никогда в жизни не видел, и его почему-то одолевает восторг. Его просто начинает трясти от любви к этому своему отдалённому родственнику, о котором он знает не больше, чем о любом другом жителе нашей планеты.

Однажды я стал свидетелем такой патологической страсти. Одна моя старая знакомая, американка по имени Лайза Файнберг нашла в Израиле свою, как она считала, двоюродную сестру. Лайза позвонила мне, чтобы сообщить эту радостную новость. Голос её звенел от счастья. Мне передалось её волнение, хотя я не сразу вспомнил, кто такая Лайза Файнберг. Мы, конечно, были с ней старыми друзьями, но последний раз говорили по телефону лет двенадцать назад. Так бывает. Люди теряют друг друга, сохраняя при этом добрые дружеские чувства, но и не сожалея о потере. Так вот, когда я понял, кто такая Лайза Файнберг, я искренне обрадовался. Не потому, что я соскучился по Лайзе, а потому, что теперь не было риска поставить себя в глупое положение неуклюжими вопросами.

– Нет, ты подумай только! – пронзительно верещала Лайза. – Это она! Моя кузина Вира!

– Поздравляю, Лайза, – вежливо сказал я, всё ещё не понимая, зачем ей понадобилось мне звонить. – Я очень рад за тебя и за Виру.

– Понимаешь, наши матери – родные сёстры, – возбуждённо продолжала Лайза. – Но они никогда не видели друг друга. Моя мать уехала из России в Америку пятилетним ребёнком, вместе со своими родителями. А мать Виры родилась уже потом.

– Где она родилась?

– Где все. В России, в Гродно губернии.

– Как она могла родиться в России, если её мать была в Америке?

Лайза задумалась.

– Да, ты прав, – сказала она, перестав возбуждаться. – Наверно, наши матери не родные, а двоюродные сёстры. Но это не важно. Всё равно мы с Вирой близкие родственники. Мы обе это сразу почувствовали.

– Ты уверена, что её зовут Вира?

– Ну да. Почему ты спрашиваешь?

– В России нет такого имени. Как давно она живёт в Израиле?

– Около года.

Я начал догадываться, зачем Лайза мне позвонила. Наверно, её родственница не знает никакого языка, кроме русского. Я им нужен в качестве переводчика.

– Понимаешь, – вкрадчиво сказала Лайза, – Вира не понимает по-английски, а я не понимаю по-русски. Не мог бы ты...

– Конечно, Лайза, – сказал я. – Конечно, мог бы. С удовольствием.

– Чудесно! Вира прислала мне имейл, написанный такими смешными буквами. По-моему это кириллица. Я слышала, что русские пишут кириллицей. Ты можешь перевести это на английский?

– Могу.

– А если я напишу ей ответ, ты сможешь перевести его на русский?

– Это ещё проще.

– Правда? И напишешь его кириллицей?

– Запросто.

– Невероятно! – сказала Лайза, поперхнувшись от восторга. – Я всегда знала, что ты очень умный, но не думала, что до такой степени.

Через десять минут она мне прислала электронное письмо своей кузины, которая, как выяснилось, в лучшем случае, приходилась ей троюродной сестрой.

“Дорогая сестра Лиза! – писала её родственница. – Я очень рада, что мы, наконец, нашли друг друга. Пиши мне почаще. Если ты не знаешь русского языка, можешь писать по-украински. Твоя сестра Вера”.

Я перевёл письмо и послал его Лайзе. Она немедленно позвонила.

– Спасибо за перевод. Только почему ты называешь меня сестрой?

– Это не я. Это она тебя так называет. Наверно, чтобы доказать свою родственную любовь.

– Мне это нравится, – сказала Лайза. Я всегда знала, что русские люди очень эмоциональны. Как ты думаешь, я тоже должна называть её сестрой, чтобы она не обиделась?

– Я думаю, не обязательно.

– А как ты думаешь, она не собирается попросить у меня денег?

– Не знаю.

Вскоре Лайза прислала мне для перевода свой ответ:

“Дорогая Вира! Я знаю английский и ещё немного испанский, французский и иврит, но, к сожалению, не знаю ни русского, ни украинского. Мой друг Алекс поможет мне с переводом наших писем. Так что, пиши часто и подробно. А теперь о себе. Мой муж Джейкоб и я – пенсионеры, и доход у нас скромный. Кроме того, наши индивидуальные пенсионные фонды сильно уменьшились в связи с экономическим кризисом, до которого нас довели республиканцы. Тебе этого не понять: ты приехала из страны, где нет республиканцев, и поэтому у всех граждан есть бесплатная медицинская помощь и бесплатное образование, не то, что у нас”.

Далее Лайза в сжатой форме объясняла своей родственнице основы экономики и сущность пороков

капиталистической системы. Мне пришлось потратить два часа на перевод, который я отправил Лайзе, а она переслала его Вере.

На следующее утро Лайза получила ответ от Веры и немедленно переправила его мне для перевода.

“Дорогая сестра Лиза, – писала Вера. – Ты не представляешь, как меня обрадовало твоё письмо. Я всегда мечтала иметь сестру в Америке. Я знаю, что капитализм – это очень плохо. Мы это проходили в школе и в институте по политэкономии. А теперь я напишу о своей семье...”

Я долго переводил Верино письмо, вникая в детали её семейных уз. Я узнал, что у неё есть муж Василий и двое детей – мальчик Давид и девочка Ася. Давид женат, и у него два сына. Ася пока не замужем. Они жили в Житомире, а полтора года назад переехали в Израиль. Дальше она рассказывала о том, какие у них специальности, где они работали раньше, где работают сейчас и о многом другом. К вечеру, закончив перевод, я отправил его Лайзе. К утру она прислала мне для перевода ответ Вере, которую продолжала называть Вирой.

Так, при моём посредничестве, переписка двух любящих родственниц вошла в размеренный темп. Обе они обстоятельно и своевременно отвечали друг другу, так что перевод их писем стал моей ежедневной работой. Иногда Лайза звонила мне за разъяснениями.

– Слушай, как это может быть? – недоумевала она. – Вира пишет, что её сын не ходил в еврейскую школу и у него не было Бар Мицвы. Она не объясняет почему; наверно в Советском Союзе обучение в частной еврейской школе стоило дорого. Но потом она пишет, что его не приняли в университет, потому что он еврей. Тут что-то не вяжется. Откуда они знают, что он еврей? И откуда он сам это знает, если он не учился в еврейской воскресной школе?

В другой раз она звонила за советом.

– Ты знаешь, Вира пишет, что нашего с ней общего прадедушку звали Иван Моисеевич и что он жил в Воронеже. А я знаю, что его звали Залман, и он жил в Одессе. Как ты думаешь, написать ей об этом или не надо, чтобы её не смущать?

Темп переписки не снижался в течение нескольких месяцев. Чтобы упростить и ускорить процесс, теперь Вера посылала имейлы не Лайзе, а прямо мне. Я их переводил и посылал Лайзе, которая делала точно так же: посылала имейлы мне, а я их переводил и отправлял прямо Вере. Я стал ключевым звеном в их общении. В дополнение ко времени, которое я тратил на переводы писем, теперь у меня появилась ответственность за их своевременную доставку. Кроме того, Вера, помимо писем Лайзе, стала обращаться ко мне за советами.

“Дорогой Алекс, – писала она, – как давно вы знаете мою сестру Лизу? Мне кажется, она очень умный и добрый человек. Но почему она так часто пишет о своих низких доходах? Может быть, это намёк на то, что она ждёт от нас материальной помощи?”

Я, как мог, объяснял Вере, чтобы её не тревожила бедность Лайзы, у которой есть два Лексуса, дом в Нью-Джерси с четырьмя спальнями и пятью туалетами и, кроме того, летний дом в Вермонте и зимний во Флориде. Я ничего не знал о её счетах в банках и инвестиционных компаниях, но подозревал, что об этом тоже беспокоиться не следует. Раз финансовые дела Лайзы пошатнулись в связи с экономическим кризисом, значит, было, чему шататься.

Познакомившись ближе, они стали делиться друг с другом интимными подробностями быта, не смущаясь моим участием в переписке. Я узнал, что у Веры два гениальных внука-погодка, Мишенька и Сашенька. Мишенька плохо ест, и это чрезвычайно огорчает бабушку Веру. Сашенька, слава Богу, ест хорошо, но у него другая проблема: он часто пугает, и иногда делает это при гостях. Это тоже огорчает бабушку. Но, в общем, слава Богу, детишки умные и здоровые, чего и вам желаем. Лайза, со своей стороны, сообщала, что Джейкобу сделали колоноскопию и срезали два полипа. А вообще, он человек здоровый и до сих пор нравится женщинам. Он не знает, что Лайза знает, что он всю жизнь ей изменял. Но это всё в прошлом. Теперь он, слава Богу, состарился, и женщины его интересуют не больше, чем игра в шахматы, которая его совершенно не интересует.

“Дорогая сестра, – очередной раз писала Вера, – у меня хорошая новость: сегодня утром Мишенька, слава Богу, неплохо покушал. Он выпил целый стакан молока с булочкой и съел тарелку овсяной каши с маленькой плиткой шоколада”.

“Дорогая Вира, – отвечала Лайза, – старайся давать ребёнку поменьше шоколада; от него бывает запор. Я, например, Джейкобу вообще не разрешаю есть шоколад”.

Меня стала тяготить переписка этих любящих родственниц, которые неизвестно кем приходились друг другу. Переводы с русского на английский и обратно требовали интеллектуального напряжения и отнимали всё моё время. У меня не оставалось времени сходить с женой в кино. Я запустил все работы по дому. Но я не мог прекратить свой переводческий сервис, за который сдуру взялся; это разорвало бы связь Лайзы и Веры и причинило им непоправимое горе. Я пробовал задерживать отправку писем, чтобы дать себе хотя бы день передышки. Тогда на меня с двух сторон сыпались тревожные имелы:

“Дорогая сестра! Что случилось? Мы страшно волнуемся: от тебя уже второй день нет ни строчки!”

Положение становилось безвыходным. После долгих, мучительных размышлений у меня созрел коварный и, признаюсь, бесчестный план. Когда от Веры пришло очередное письмо, в котором она писала “Сегодня утром Мишенька, слава Богу, скушал два стакана кефира и три булочки с маком”, я его не просто перевёл, но и расширил, добавив:

“Нас, конечно, радует, что ребёнок стал хорошо кушать, но кефир и булочки последнее время сильно подорожали, и мы с трудом сводим концы с концами. Хорошо, что у меня в Америке есть такая замечательная родственница, как ты, дорогая сестра. Мы рассчитываем на твою помощь”.

Лайза перестала отвечать. Это было то, что мне нужно, но пока только половина дела. Вера продолжала бомбить её тревожными посланиями: “Дорогая сестра! Почему ты не пишешь! Мы страшно волнуемся!” В конце концов, я ответил за Лайзу:

“Дорогая Вира! Извини, что долго не писала. Я очень занята, так как Джейкобу надо ежедневно делать компрессы. У нас, при капитализме, медицина ужасно дорогая, а страховка за компрессы не платит. Я надеюсь, что ты, моя любимая родственница, сможешь нам помочь”.

Вера тоже перестала отвечать. Переписка заглохла. Но я хотел окончательно утвердиться в своей победе. Я написал Вере:

“Дорогая Вира! Мне точно известно, что наш прадедушка Залман жил в Одессе. Он был большевиком, служил во время гражданской войны в Красной армии и был лично знаком со Львом Троцким, чем все мы, его потомки, чрезвычайно гордимся”.

Одновременно я написал Лайзе:

“Дорогая сестра! Я точно установила, что дедушка моей мамы, то есть мой прадедушка Иван Моисеевич жил в Воронеже, а не в Одессе. Он ненавидел социалистов и коммунистов и сражался против большевиков в армии Петлюры”.



Я так увлёкся, что начал верить в то, что сочинял. Моё воображение разыгралось. Оно рисовало воинственного Верино прадедушку, который мчался на коне с шашкой наголо, а Лайзин прадедушка в это время строчил по нему из пулемёта “Максим”. Притом это был один и тот же

прадедушка. Я вошёл во вкус переписки с самим собой и уже не мог остановиться. Я написал Лайзе:

“Дорогая Лиза! Я установила, что у моего прадедушки была только одна дочь, моя бабушка, у которой тоже была одна дочь, моя мама. И никакими двоюродными сёстрами там не пахло. Так что, мы вовсе не родственницы. Извини. Твоя бывшая сестра – Вера”.

Вере, в свою очередь, я написал:

“Дорогая Вира! Я установила, что мой прадедушка был холостяк, и у него никогда не было детей. И вообще, мои предки приехали не из России, а из Венгрии. Так что, мы вовсе не родственницы, а наоборот, классовые враги”.

Тут в комнату вошла моя жена.

– Ну что, – сказала она, – сколько ещё я должна ждать, чтобы ты починил дверь в гараж?

– Сейчас, сейчас, – сказал я и быстро написал:

“Все мои письма прошу сжечь”.

Потом спохватился, переправил слово “сжечь” на “стереть” и послал имейл сразу обеим.

Жизнь вернулась в свою колею, но совесть мучает меня по сей день.



Елена Матусевич

Милый Петенька

Два рассказа

Ничего не видно



ариж. Опера Гарнье, второй этаж. Круглые окошки во внутренней стене фойе. За ними бархатная бордовая занавеска. За занавеской сцена. На сцене репетиция, и потому занавеска задернута, наглухо, совсем, без всякого просвета. Около окошка люди.

Мама с сыном.

– Мама, подними меня, я хочу посмотреть.

– Там ничего не видно. Занавеска.

– Подними меня.

Мама поднимает.

– Ничего не видно.

– Так я же тебе говорила.

– Да, ничего не видно.

– Ну, вот видишь.

– Ну, а что там?

– Там то же самое.

– Подними меня.

Мама поднимает.

– Не видно.

– Ничего?

– Ничего.

Мама ставит мальчика, они отходят.

Три дамы.

Пожилая дама в красном:

– Все, они ушли, пойдем посмотрим.

Пожилая дама в зеленом:

– Так, ты же слышала, не видно, говорят, ничего.

Пожилая дама в красном:

– А я, когда я встаю на цыпочки, у меня колени сводит.

– Ну?

– Не видно ничего.

Пожилая дама в зеленом:

– Ну-ка, дай-ка я. Действительно, ничего.

Пожилая дама в синем:

– А у меня роста не достает, даже на цыпочках никак.

Пожилая дама в зеленом:

– Так все равно не видно же ничего.

Пожилая дама в синем:

– А с той стороны?

Пожилая дама в зеленом:

– Сейчас. Нет, не видно ничего.

Пожилая дама в синем:

– А если на плечи?

Пожилая дама в зеленом и пожилая дама в красном:

– Ну, давай, мы вдвоем. Попробуй.

Пожилая дама в синем:

– Так тут же занавеска. Не видно ничего.

Отходят.

Чередой проходят: африканская семья, японская чета, школьники из Антверпена, австралийские туристы, китайская делегация, учительницы младших классов из Усть-Каменогорска. Действия повторяются. Все смотрят: на цыпочках, на закорках, на стуле, на руках, вытянувшись, выпучившись, из кожи вон. Отходят недовольные. Не видно ничего.

На стуле молчит очумевший охранник без сил.

Новая группа строит пирамиду из скамеек.

– Ну, как?

– Не видно ничего.

– Ну, так отойдите, дайте посмотреть. Тут очередь.

Милый Петенька

Математики обычно утверждают, что математике можно обучить любого. Все дело, мол, в учителе. Известное дело. Раз математику нельзя не понимать, а мы ее-таки не понимаем, значит, мы были отданы на растерзание недостойным жрецам ее языческого культа. Их не переубедишь, сытый голодного не разумеет. Но мы, те, которые не понимают, знаем, что это неправда.

Посвящается Фаине Фагимовне Касымовой, Элеоноре Бениаминовне Гайкович и Валентине Федоровне Годиной, моим талантливым, самоотверженным, терпеливым учителям математики, которые мучились со мной зря.

Весна, солнышко, живи, не хочу. Но нельзя. В апреле, за месяц до выпускных экзаменов, наша учительница математики, добрейшая дама и известный педагог, решила, не шадя живота и выходных своих, придумать для нас, безумная женщина, мир ее праху, восемь разных по сложности, с учетом предполагаемых ею в нас умственных способностей, вариантов мегаконтрольной. Первый вариант – для самых головастых, вроде Мишки Аксенова. Остальные распределялись по шкале в зависимости от удаленности от идеала. Нечто вроде математических кругов ада, где я находилась даже не на самом крайнем круге, а за его пределами, потому что там, где была я, зашкаливало. Даже восьмой вариант не отражал степени моего падения, а мне дали четвертый. В дело вмешались этнические стереотипы: учительница свято верила русским народным сказкам об умных еврейских головах. О, Боги! О, мифы! От такой головы у меня были только волосы. Несоответствие меня теореме «все евреи умные», привело математичку к выводу, что ложной являюсь я, а не теорема. Посему она решила вывести меня на чистую воду, прижать, так сказать, к стенке, и выявить, наконец, нагло скрываемые мной генетически детерминированные способности. Банальной правды, что содержание классного журнала в данном случае полностью соответствовало содержанию моей головы, она не

допускала. Бедная женщина так и умерла, преждевременно, измученная усилиями научить мне подобных, убежденная, что просто не нашла ко мне подхода.

Много лет спустя, моя уникальность в этой области подтвердилась при моем удачном поступлении в аспирантуру Колумбийского университета. В письме по результатам знаменитого экзамена GRE указывалось, что число очков, набранное мной по математике, не предусмотрено проверяющим компьютером, и вывело его из строя. Абсолютный возможный минимум был 15 очков, а я набрала, как выяснилось после подсчета вручную, только 11. Учитывая, что такое было теоретически невозможно, меня тут же приняли со стипендией на факультет французской литературы.

А тогда, в десятом классе французской (!) школы, прижимать можно и нужно было не меня, а русского мальчика Андрея Белова, убежденного двоечника, сидевшего прямо передо мной. Я видела, как он скосил свой зеленый глаз на контрольную страстно симпатизирующей ему соседки, и, пожевав начинающийся ус, вывел решение последней, самой трудной задачи. Не списал. О, это было решительно невозможно благодаря хитроумной выдумке математички. Он решил по аналогии! Решил и пошел, так как решения только этой адовой задачи, помеси стереометрии с алгоритмом, было достаточно для получения тройки. А Андрюша был мудр и ценил свое время.

У Андрюши был седьмой вариант. Парта перед носом опустела. Его соседка-отличница аккуратно выписывала примеры на пятерку, а я начала пропадать. Кончатся у всех на виду. Впрочем, меня никто не видел, ибо все писали. Я смотрела на задачу. С таким же успехом я могла бы смотреть и на шумерские письма.

Выход, единственный выход, найти еще одного обладателя моего варианта. Через проход от меня сидела Ася Михайлова, смазливая беззлобная девочка, у которой слабость к мужскому полу никогда не мешала успеваемости. Не поворачивая головы для конспирации, перекося на сторону рот, в полубреду от ужаса, я прошипела в проход «Асссссь». Ася, моментально измерив степень моего

отчаяния и поняв, что я все равно не отстану, также не глядя, и не отрываясь от контрольной, ответила сдавленным «Че?» «У кого четвертый вариант, умоляю». По рядам пошел мой запрос. Поблуждав по классу мучительно долго, запрос вернулся с ошеломляющей новостью: мой вариант был только у еще одного человека, и этим человеком оказался некий Петя, Петя Корешенков, смуглый курчавый мальчик по прозвищу Саид. Петя был мне не друг, не приятель, не воздыхатель, он был мне никто. Он, кажется, даже не заметил ни самого моего прихода в предыдущем, девятом классе, ни последовавшего за ним растленного влияния на их дружный коллектив. Он вообще мало кого замечал вокруг. Петя легко мог щелкнуть и первый вариант, и то, что мы оказались с ним в одной связке, было еще одним доказательством вопиющей ошибочности математического диагноза. Кроме фатально-гениального происхождения, нас ничто не связывало, но этого, видимо, как раз и хватило. Это была катастрофа: к Пете у меня не было ключа. Петя и я.

Я и Петя. В воспаленном мозгу поплыли душераздирающие героини романов, Авдотьи Романовны и Екатерины Ивановны, гордые девицы, жертвующие своей честью во имя кого или чего-нибудь. С болезненной ясностью я поняла, что большей цены за мое девичье достоинство, чем тройка по математике, не будет. К тому же торговаться было некогда. Оторвав клочок бумажки, и выведя на нем мельчайшим подпольным почерком послание, я пустила его в плавание по рядам. Послание дословно гласило: «Милый Петенька! Умоляю, пришли решение задачи #5. Твоя Е. М.» До этого мы даже не здоровались.

Пошли секунды, минуты. Окаянная контрольная подходила к концу. Неряшливые гении давно слиняли. Посредственные отличницы переписывали набело. Остальные проверяли. Я сидела перед чистым, как моя девичья честь, листом. Ответ не приходил, Петя сидел на другом конце класса, на первой парте у самой двери, и ответу, если он был, предстояло пересечь все помещение. Я подвергала риску Петю, я подвергала риску всех тех, кто

согласится передать ответ. К тому же никакой уверенности в привлекательности моего предложения для Пети у меня не было.

За семь минут до звонка ответ пришел. На обратной стороне клочка были начерчены некие знаки, которые я едва успела перенести в контрольную. С меня лил пот, руки дрожали, ноги подкашивались. Положив на стол контрольную, шатаясь, я подошла к Пете. Спасибо. Петя поднял на меня глаза, пожал плечами, пытаюсь что-то вспомнить, скорее всего, меня, и направился в столовую. Моя девичья честь интересовала его куда меньше салата оливье.

Прошла неделя и настал роковой день объявления результатов. Даже годы спустя этот момент отдается во мне судорогой. Окаменелая, я сидела за подремывавшим Андрюшей и пыталась избежать обморока. Ужас состоял в том, что, по условиям математички, контрольную ниже тройки надо было пересдавать. Одной. После уроков. Это означало только одно: жизнь кончена.

Математичка начала раздавать наши работы по тому же признаку, от лучшей к худшей. Андрюша равнодушно принял свою тройку, на минуту отвлекшись от продыркивания тыльной стороны ладони циркулем. Дойдя до моего позорного листа, математичка уперлась в меня огненным взглядом: «Ну, ты, конечно, захочешь это переписать, потому что это даже не тройка, а тройка с большим, даже с огромным минусом». Минус, на полстраницы, трупно обвис в ее протянутой руке. Боясь упустить время, с диким криком «Не надоооо! Я согласна на тройку с минусом», я вырвала из ее рук заветный листок. Математичка в недоумении пожала плечами. Я упала на стул. Никто ничего не заметил.

А я тогда вышла на весеннюю молодую улицу, на трамвайные пути домой, и заплакала от счастья. Я была спасена, спасена на всю жизнь, навеки, навсегда. Это было до ЕГЭ, и этому я обязана своей жизнью. После выпускной контрольной, списанной и вызубренной заранее, я сожгла мои тетради по математике. Меня удерживали, суеверно шепча, что она мне еще обязательно понадобится. Не

понадобилась. Никогда, ни разу. Четыре действия, таблица умножения, теорема Пифагора и проценты – это все, что мне было нужно. Мне жалко юности, но при одном воспоминании о стереометрии, я готова радостно стареть, чтобы никогда, никогда, никогда, не видеть ее больше. Ты спас мне жизнь. Милый, милый Петенька.



Александр Бизяк

Ёлка

Новогодняя страшилка



двадцать восьмого декабря мне звонит приятель Игорь Журавлев.

За окном – густая темень, в постели – спящая жена, на часах – половина пятого утра. Я хватаю трубку и слышу следующий текст:

– Вы уже купили елку?

– Ты что, не протрезвел после вчерашнего?! – со злостью спрашиваю я.

Журавлев суров и лапидарен:

– Формулирую вопрос вторично: вы уже купили елку?

– Пошел ты к черту! – я закричал так громко, что в соседней комнате проснулась дочь и стала плакать.

– Что случилось? – в глазах жены испуг.

– Срочно приезжай, – продолжает Журавлев. – На соседней улице у нас открыли елочный базар. Только что закончилась предварительная запись. Мать как персональная пенсионерка союзного значения имеет право на четыре дополнительные места в очереди. Ты тоже в списке. Твой номер 21-й. Переключка назначена на семь утра. Необходимо твое личное присутствие. И не забудь взять паспорт.

Я, чертыхаясь, перелез через жену, наощупь начал одеваться.

– Ты куда? – испуганно спросила Люда.

– К Журавлеву.

– В такую рань?! Зачем?

– На елочный базар.

Даже в кромешной тьме я различил, как гневно вспыхнули ее глаза.

– Покупка елки в половине пятого утра?! Когда все это кончится?! – взмолилась Люда.

– Когда построим коммунизм, – ответил я, натягивая брюки.

– Ты прекрасно понял, о чем я говорю! Я о тебе и о твоих дружках! Мне надоело ваше бесконечное вранье!

Я в это время шарил в письменном столе.

– Где мой паспорт? Куда ты его дела?

– Спрятала.

– Зачем?

– Он мне будет нужен для оформления развода. Я на второе января записалась на прием к судье.

– А я записан на сегодня! Без паспорта меня не пустят в очередь и исключат из списка.

В соседней комнате заплакала шестилетняя Наташа.

– Ты слышишь?! – воскликнула жена. – Хотя бы пожалей ребенка!

– Пожалей меня! – запальчиво ответил я. – Это я в пять утра ухожу в декабрьскую стужу, чтобы успеть на переключку! Это я хочу устроить для ребенка новогодний праздник!

– Праздники ты устраиваешь каждый божий день!

– Ура! Папа нам устроит новогодний праздник! – дочь перестала плакать, – А к нам на елку приедет Дед Мороз с подарком?

– Приедет, доченька. Обязательно приедет... – сказала Люда и трагически добавила, – Журавлев – с бутылкой!

– Журавлев – он злой? Он серый волк?

– Журавлев – сотрудник института общей педагогики, – пояснила Люда, – и большой приятель папы...

– Не слушай маму. – Я присел на краешек дочкиной кровати. – Клянусь, я принесу тебе заснеженную елку! Мы ее украсим и устроим хоровод.

Дочь захлопала в ладоши:

– Наш папа – самый лучший в мире! Правда, мама?

– Подрастешь, поймешь, – заплакала Людмила.

...В шесть-сорок пять я звонил в квартиру Журавлевых.

– Открыто, заходите! – крикнули из-за двери.

Я прошел в гостиную. В углу мерцал торшер. В полумраке за столом сидели пожилые люди в шубах и пальто, пили чай и сосредоточенно молчали.

– Присаживайтесь, Алик, – предложила Раиса Яковлевна, – согрейтесь чаем. И не надо раздеваться, переключку могут объявить в любой момент.

– А где же Игорь? – спросил я у Раисы Яковлевны.

– Он побежал на елочный базар разведать обстановку. Сейчас вернется.

– И Антонина с ним? – спросил я о супруге Игоря.

– Антонина с понедельника ночует в Туле. Оттуда позвонила тетка и велела срочно приезжать – у них в универмаге выбросили югославские мужские сапоги. У Антонины восемьсот двенадцатая очередь. Надеется, что к пятнице вернется. Готовит Игорю подарок.

Через несколько минут явился Игорь и деловито доложил, что елок еще нет, а переключка переносится на семь пятнадцать, так как елочный инициативный комитет не управился со сверкой списков. Всего составлено четыре поименных списка. В первый, общий, вошли рядовые очередники, остальные три составлены для льготников: для бывших фронтовиков-орденоносцев, для активистов жэковских организаций, для многодетных матерей, а также инвалиды первой группы. Ветераны партии идут особым списком.

Моя фамилия под двадцать первым номером попала в общий список.

Старинные напольные часы в гостиной пробили семь-пятнадцать.

– Пора, товарищи, на переключку! – Журавлев потуже затянул на шее шарф, нахлобучил шапку и направился к двери. Все двинулись за ним.

Елочный базар представлял собой площадку, огороженную тёсом, поверх которого был натянута ряд колючей проволоки. В предутренних потемках,

продуваемых морозным колким ветром, толпилось скопище людей. На столбе раскачивалось желтое пятно от фонаря. Под ногами грязными ошметками чернел вытоптаный снег. Ёлочный базар напоминал загон для крупного рогатого скота. По загону метались активисты со списками в руках, за ними следом бежали люди. Неразбериха, толкотня, разноголосый непрерывный гул. В толпе отчаянно заголосил ребенок.

– Почему на елочном базаре дети?! Степаныч! Кто пропустил на территорию ребенка?! – закричала женщина в каракулевой шубе. Судя по властности и отрывистости тона, каракулевая тетка не иначе как была из исполкома.

Степаныч, упакованный в тулуп, в высоких валенках, откликнулся со стороны ворот:

– Так ведь... Елки-палки... Валентина Леонидовна... Я один, а их вона сколько... Разве углядишь за всеми?..

– Товарищи! – Екатерина Леонидовна взобралась на тарный ящик, резко выбросила руку в перчатке из натуральной кожи и, подавляя гул толпы, громко прокричала: – Товарищи, прошу внимания! Во избежание увечий настоятельно прошу убрать детей. Не будем портить детям праздник! Елки, как вы видите, еще не завезли. Но они уже в пути. Полчаса назад поступила телефонограмма из Волоколамского райкома партии. Обоз лесных красавиц уже проследовал девяносто третий километр. Терпение, товарищи! – Екатерина Леонидовна перевела дыхание. – А сейчас приступим к переключке! Мы называем номер, вы – свою фамилию. Во избежание различных подтасовок – предъявляйте паспорт. Льготники обязаны иметь подтверждающие документы. Следующая переключка состоится через час. Просим далеко не расходиться. С новым годом вас, друзья!

...Переключка началась и затянулась до половины девятого утра. Почасовой регламент, объявленный Екатериной Леонидовной, сбился на полтора часа. По окончании первой переключки нужно было срочно начинать вторую.

После третьей переключки наконец-то начало светать и стало видно, как заметно поубавился списочный состав

очередников. Сошли с дистанции четыре ветерана партии, три инвалида и пять орденосцев. Оставшиеся не скрывали радости: чем меньше претендентов, тем больше шансов, что елок хватит всем.

От холода у меня ломило зубы, уши сделались фанерными, омертвела правая нога, на руках не гнулись пальцы.

Я направился к забору, припал к щели и, точно зэк на зоне, стал смотреть на волю...

С тоски хотелось выть. Но сначала – хорошенько выпить.

Тут объявился Игорь. Счастливый, запыхавшийся, он стянул с руки перчатку и показал ладонь. На ней фиолетовым карандашом была начертана крупная «десятка».

– Пока ты уши здесь морозишь, – похвастался приятель, – я успел на Чернышевского сгонять. – Глаза его блестели, изо рта валил парок, пропитанный только что принятым портвейном. – В «Бородавку» водку завезли. Народишу, что в божатнике клопов! В магазин не втиснуться, давиловка! Люди к празднику водкой запасаются. Хорошо, я Цицерона отыскал. Он в Бородавке пять очередей уже забил.

– А как же здесь?

– Успеем!

Проходным двором мы погнали к Бородавке – минуя баню, детскую площадку, кинотеатр «Севастополь», меховое ателье, пункт приема стеклотары.

От «Стеклотары» до мехового ателье в несколько спиралей змеилась очередь. Люди безропотно сидели на сумках и мешках, набитых бутыльем, в ожидании подвоза ящиков. Тары не было шестые сутки.

В морозной тишине глухо раздавались голоса:

– Сто двенадцатый!

– На месте...

– Сто тринадцатый!

– Присутствует...

– Сто четырнадцатый...

– Сто пятнадцатый...

Я с трудом поспевал за Журавлевым. Шел он ходко и целенаправленно, срезая лишние углы. Через несколько минут мы вышли к Бородавке. Толпа народа, крики, стоны, нецензурные слова...

Игорь предъявил привратнику свою ладонь. Тот долго изучал ее, рассматривал на свет, ощупывал и, наконец, признав свой почерк, матюгнулся, сплюнул и вдавил нас в магазин.

В Бородавке было омерзительно. Вонь перегара, вопли, перекошенные лица, пьяные звериные глаза. Над прилавком красовался транспарант: «С новым годом, дорогие москвичи!». Продавщица, мясомолочная породистая тетка, была наряжена Снегурочкой. На голове у продавщицы красовался ошипанный веночек из елочной фольги, напоминающий терновый.

Журавлева кто-то хлопнул по плечу. Игорь нервно обернулся. Перед нами вырос колоритный тип.

– Знакомься, это Цицерон, – представил его Игорь.

Цицерон что-то промычал в ответ.

Игорь пояснил:

– Ты не удивляйся. Он слышит, но не говорит. Даже если трезвый. Родовая травма.

Цицерон снова замычал.

Игорь перевел:

– Он говорит, что на Садовом, в гастрономе возле МПС, только что выбросили «Старку». У него там девятнадцатая очередь.

Тут Цицерон заревел так мощно, как марал во время случки. Журавлев терпеливо выслушал его и перевел:

– Цицерон сам готов сгонять за «Старкой». За услугу просит «рыжий».

Я подозрительно посмотрел на Цицерона:

– А он не сделает вонючку?

Лицо у Цицерона стало краснее «Солнцедара». Он издал надсадный тетеревиный клекот, ребром ладони резанул себя по горлу. Рукав ватника задрался, и я увидел его заголившуюся руку. Она была отравлена фиолетовой цифирью номерков очередей.

Игорь вступился за магазинного приятеля:

– Ты зря его обидел. Цицерон – с хорошей репутацией. Я головой ручаюсь за него. Да и какой резон химичить, когда ему и дальше здесь работать?

Ну что ж, как говорится, кто не рискует, тот не пьет.

Цицерон впихнул нас в очередь и только после этого покинул магазин, взяв курс к гастроному МПС.

...На елочный базар мы возвратились в тот момент, когда полным ходом шла очередная переключка.

– Двадцать пятый!

– Здесь...

– Двадцать шестой!

– Присутствует...

– Двадцать седьмой!

– На месте...

Мы остолбенели. Наши номера прошли, мы бездарно опоздали! Я попытался крикнуть: «Товарищи, мы здесь!», но вместо слов издал мычание. Совсем, как Цицерон...

Журавлев ухватил меня за плечи и основательно встряхнул.

– Успокойся, это у тебя на нервной почве!

А у самого предательски задергалась щека.

К счастью выяснилось, что мы попали на переключку фронтовиков-орденоносцев. Общие очередники проводили переключку в другом конце двора. Мы бросились туда. И успели в самый раз.

– Двадцать первый! – прозвучало в морозной тишине.

– Двадцать первый здесь! – по-военному отрывисто ответил я.

– Двадцать второй!

– Журавлев Игорь Константинович. На месте!

– Двадцать третий!..

Двадцать третий номер нам был уже до лампочки. Мы отошли в сторонку. У Журавлева продолжала дергаться щека. У меня за пазухой глухо булькнула бутылка. Мы с Игорем переглянулись.

Искать на территории базара укромное местечко не хватило сил. Ни моральных, ни физических. Мы прильнули

к фонарному столбу. Я достал бутылку. У Журавлева нашелся пластмассовый стакан, у меня – плавленный сырок.

Вскрыть бутылку было делом нескольких секунд. Но не успел я плеснуть в стакан, как тут же рядом возник Степаныч.

– Не по-русски, мужики! – укоризненно сказал Степаныч. – На двоих у нас не пьют, третий нужен, – и, стянув с руки заиндевелую от мороза рукавицу, потянулся за стаканом. – С Новым годом, мужики!

Что было дальше, помнится с трудом.

Дважды, а может быть и чаще, объявлялся Цицерон. Помню, после третьей «Старки» пошел портвейн. Портвейн сменился «Солнцедаром», «Солнцедар» – «Плодоваягодным»...

Начало смеркаться, когда над елочным базаром резко прозвучал голос Екатерины Леонидовны:

– Товарищи, прошу внимания! Мы понимаем, как вы все измучились. Но елочный обоз еще в пути. По последней информации он проследовал Нахабино и неуклонно продвигается к столице. Проявляя гуманизм и заботу о здоровье, хочу просить вас покинуть территорию базара и разойтись до завтра. Зеленые красавицы будет терпеливо ждать вас до утра. Заверяю вас, что ни одна хвойная иглолка за ночь не уйдет налево. Для охраны выставляется усиленный наряд милиции. Результаты последней, девятой, переключки остаются в силе. Ждем вас завтра в семь часов утра.

У меня хватило разума (пьяный-пьяный, но что-то я еще соображал) заручиться справкой от Екатерины Леонидовны, что я весь день провел на елочном базаре и по уважительной причине возвращаюсь без лесной красавицы.

...Людмила ждала меня в прихожей. Рядом с ней стоял чемодан.

– Здесь твои пожитки, – не повышая голоса, произнесла жена. – Спиртное найдешь у Журавлева.

Я молча протянул Людмиле справку, подписанную Екатериной Леонидовной. Жена расплакалась:

– Когда?! Когда все это кончится?!

Что я мог ответить ей? То же, что и утром:

– Когда построим коммунизм...

Утром следующего дня я снова был на елочном базаре. Лесных красавиц не было в помине. Распространились слухи, что ночью елки завезли и были пущены «налево».

Екатерина Леонидовна снова взобралась на ящик. На ее измученном лице были видны следы бессонной ночи:

– Товарищи! Не верьте паникерам! Могу поклясться партбилетом, что завоза ночью не было. Обоз находится на ближних подступах к Москве. Проявим выдержку и дисциплину! Далеко прошу не отлучаться...

Добежать до Бородавки было делом нескольких минут. Проверенным маршрутом мы рванули к магазину. Возле пункта стеклотары мы увидели знакомую картину. В морозной тишине раздавались голоса:

– Сто двенадцатый!

– Козлов...

– Сто тринадцатый!

– Панкратов...

– Сто четырнадцатый!..

Тары не было седьмые сутки...

Знакомая картина ожидала нас и возле Бородавки. Толпа народа, давка, крики, набор все тех же нецензурных слов. У дверей нас встретил Цицерон. Он был единственный, кто обходился без ненормативной лексики. (Не позволяла родовая травма).

...День пролетел быстрее, чем вчера. К четырем часам мы окончательно напились. Густая темень окутала елочный базар. Позади остались восемь переключек и четыре выпитых бутылки. Пятая, недопитая, – вызывала отвращение. Как и мысль о новогодней елке.

В темноте обозначилась чья-то мешковатая фигура. По перегару я узнал Стапаныча.

– Мужики, – сказал Степаныч, – строго между нами... Только что звонили из райкома. Обоз застрял в Нахабино. Шофера напились и не могут дальше ехать.

То что я подумал, я не решился сообщить даже Журавлеву. Настолько это было нецензурно. К черту новогодний праздник, к черту переключки, хвойную

красавицу, Екатерину Леонидовну, Раису Яковлевну, Журавлева, Бородавку, к черту Цицерона впридачу со Степанычем! Мне хотелось только одного: залезть на тарный ящик и громко-громко крикнуть:

– Люда, я хочу домой!

Я медленно направился к воротам.

Журавлев с сочувствием смотрел мне вслед.

На следующий день телефон затрезвонил после двенадцати. Я поднял трубку, услышал голос Журавлева:

– Старик!..

Я грубо оборвал его:

– Ни слова больше!

– Да погоди ты! – взмолился Игорь. – Ночью был завоз. Елки привезли из Ярославской области. Твоя елка у меня в квартире!

– Как она к тебе попала?

– Приедешь, расскажу.

– Я тебе не верю.

– Клянусь партбилетом Екатерины Леонидовны!

...Я нерешительно позвонил в квартиру Журавлевых.

Дверь распахнулась. Я вошел в прихожую и сразу же почувствовал терпкий запах хвои. Возле стены стояла запеленутая елка.

Игорь и Раиса Яковлевна с загадочной улыбкой смотрели на меня.

– Это чудо – ваше! – тоном феи произнесла Раиса Яковлевна.

Я зачарованно смотрел на елку и видел дочь, ее глаза, излучающие радость, видел доброе, счастливое лицо Людмилы...

– Я провожу тебя, – шепнул мне Игорь.

– Не надо. Я сам доеду.

Игорь засмеялся:

– Да ты не бойся. Совращать не буду. Только – кружка пива.

Мы вышли на Садовое кольцо. На углу Садового и Чернышевского вошли в пивную. Раздобыли кружки, наполнили их пивом. Спеленутую елку я поставил в угол.

Мужики завистливо смотрели на меня.

Осушив по кружке, мы налили по второй. Смаху выпили. Добавили по третьей.

– Ну, мне пора...

Я обернулся. В углу, где только что стояла елка, красовалась швабра и помойное ведро. Я, как Цицерон, лишился дара речи. У Журавлева, как тогда на елочном базаре, задергалась щека.

Я издал истошный крик. В пивной мгновенно воцарилась тишина.

Как украли елку, никто не видел. Мы с Журавлевым пулей бросились на улицу. Побежали в сторону Бауманского сада.

Спешили люди, кутаясь от ветра. Мела колючая снежная поземка...

И вдруг, вдалеке, мелькнули две фигуры. Мне показалось, что в руках у них была моя украденная елка. Мы бросились за ними и через несколько минут нагнали. Двое молодых людей, в вязаных спортивных шапочках, несли огромную разлапистую елку. Елка была явно не моя.

– Мужики, хотите, на колени встану? Отпилите хотя бы небольшую ветку. За любые деньги!

...Когда я пришел домой, Люда укладывала дочку спать. Я был совершенно трезв, без куртки и без свитера. В руках я держал елочную ветку...

Наташа с громким криком побежала мне навстречу, бросилась в мои объятия:

– Папа, папочка пришел! Он принес нам елку!

Я стоял в дверях и плакал.

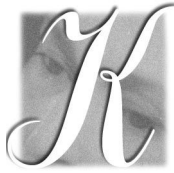
Люда молча смотрела на меня. Я видел, как у нее дрожали губы...



Моисей Борода

Очки

I



артины прошлого вспоминались ей нечасто, но когда они возникали в ней, то бывало это каждый раз одинаково.

На неё вдруг, без всякой причины находила какая-то смутная, непонятная ей тоска, подымавшаяся из глубин её существа, постепенно охватывающая её всю и заставлявшая трепетать её маленькое сердце.

И несколько мгновений до этого резвившаяся, носившаяся – сама или вместе с подружками – во всю мощь своей молодости, своей бьющей через край энергии и переполнявшего её ощущения радости жизни, она вдруг застывала и под недоумённые взгляды подружек, охотно принимавших её участие в их проделках, тихо отходила в сторону – или, до того бешено раскачивавшая себя на качелях, вдруг резко замедляла движение и, сидя на перекладине, раскачивалась как маятник, с отсутствующим взглядом, потеряв интерес к своему недавнему удовольствию – пока качели не останавливались или другие обезьянки, её подружки, которым надоедало носиться взад-вперёд по клетке или гоняться друг за другом, не ссаживали её – порой более, порой менее бесцеремонно.

Потом тоска медленно оставляла её, как бы растаивая, и перед её взором возникало бледно-жёлтое, чуть красноватое по краям облако, в котором расплывчатыми тенями проступали контуры каких-то картин. Контуры эти постепенно, но с возрастающей быстротой приобретали всё более чёткие очертания, и вдруг перед ней возникала во всей определённости и мощи красок, запахов, звуков картина, о

которой она смутно догадывалась, что эта картина принадлежит её прошлому.

Воспоминание медленно, картина за картиной развёртывалось перед её взором, и она не могла ни ускорить смену картин, ни задержаться на какой-нибудь из них. Потом всё начинало заволакиваться той же бледно-жёлтой, красноватой по краям пеленой, и увиденное уходило, чтобы когда-нибудь прийти вновь или не вернуться никогда – уходило, оставляя у неё ощущение беспричинной грусти.

Но проходило время, грусть её рассасывалась, и она вновь становилась такой, какой была до этого – весёлой, полной энергии и задора, готовой принять участие в любых забавах и проделках своих подружек, а потому охотно принимаемой во все их затеи, любимой ими – и, конечно, публикой.

Ей нравилось, что у её с подружками клетки всегда толпился народ. Взрослые всегда улыбались ей – другим, конечно, тоже, но ей особенно. Они делали ей разные забавные знаки руками, подкрепляя это каким-то возгласами, улыбками, смехом. Она не понимала ни этих знаков, ни слов, но чувствовала, что они означают что-то приятное.

Особенно нравились ей дети.

Они не бросали ей угощение – банан, печенье, шоколад – через прутья клетки, как это нередко делали взрослые, а требовали от родителей – кто прося, кто нахально и с громким криком – поднять их на руках и поднести как можно ближе к клетке, так чтобы она могла дотянуться и взять угощение из их рук. И если это удавалось, дети визжали от восторга и хлопали в ладоши, взрослые смеялись, и всем – да и ей, конечно – было очень весело. В такие минуты она блаженствовала, купаясь в направленных на неё улыбках, доброжелательности, любви. Вообще, ей нравилось быть любимой.

II

Каждое утро к ним заходил служитель Никита, убравший в обезьяннике.

Заходя, он говорил ей что-то – видимо, очень приятное, потому что всегда при этом, улыбался. Убрав в клетке, он выносил метлу с совком, вносил маленький стульчик и садился – как правило, возле неё. Потом он исподтишка угощал её орехами, а если другие обезьянки это видели и подходили к нему, давал и им тоже, но не так много, как ей. Потом он долго сидел, глядя на неё с какой-то неясной, но доброй улыбкой на лице, и посидев так, медленно вставал и уходил, унося с собой стульчик – и на следующий день всё повторялось снова.

Иногда он выглядел каким-то непривычно грустным, и тогда он, чуть помахав для вида по полу метлой, садился на свой стульчик и, поглядев ей в глаза, вздыхал. Она жалела его, подходила к нему и клала ему на голову лапу, хотя её при этом и мучило от исходившего от Никиты неприятного, дурманящего запаха.

Как-то раз он принёс с собой в бутылке какую-то жидкость, от которой пахло точно так же, и попытался для смеха дать ей попробовать. Она стала сопротивляться.

Её подружки оставили на время свои игры и следили за происходящим, почуяв в этом какое-то новое развлечение, но ей было не до забав. Она не поддавалась Никите, что его, как видно, раззадорило, и он силой заставил её сделать глоток. Ей обожгло рот и горло, её замутило, и она оттолкнула Никиту с неожиданной для себя силой. Потом она несколько дней не подходила к нему, а когда он пытался с ней заговорить, уходила, не глядя на него, в другой угол клетки. Обида медленно угасала в ней, и окончательно помирилась она с ним не скоро. Но всё же он был добрый малый, и она его по своему любила.

Но больше всех она любила доктора.

Он приходил к ним в обезьянник раз в неделю, и она уже издали, когда он только приближался к обезьяннику, узнавала его быстрые, уверенные шаги. Спустя какое-то время к ним в клетку заходил Никита и уводил их по очереди в кабинет доктора.

Она никогда не бывала при этом первой – да и не стремилась к этому. Наоборот, ей всегда хотелось, чтобы её повели последней, тогда доктор не спешил и она могла

оставаться у него дольше своих подружек. И всё же всё это время, пока она ожидала, когда Никита возьмёт её за лапу и поведёт к доктору, её охватывало волнение и страх, что её почему-то на этот раз забудут или что доктор уйдёт сегодня раньше, не успев её осмотреть, и она беспокойно ходила по клетке взад и вперёд, натываясь на качели и с раздражением их отталкивая – или, взявшись за прутья клетки, старалась их раскачать. Но вот наконец, приходил и её черёд.

Никита брал её за лапу, выводил из клетки, потом они шли по длинному прохладному коридору и она уже заранее блаженствовала, предвкушая, как ей будет хорошо и приятно у доктора, как доктор её встретит, как улыбнётся, как потом будет её осматривать и что-то говорить – конечно, что-то приятное – и как он потом погладит её своей прохладной мягкой рукой по голове и угостит её чем-нибудь вкусным.

Но вот коридор кончался, и они стояли перед кабинетом. Никита осторожно стучал в дверь. Из кабинета слышался голос доктора. Никита отворял дверь, они входили, доктор, как правило сидевший за небольшим столом у окна и что-то записывавший, поднимал на неё глаза, улыбался, говорил что-то Никите, подходил к ней и усаживал на стул. Никита обычно после этого уходил, и она оставалась вдвоём с доктором. Потом доктор подходил к шкафчику, где за стеклом лежали разные блестящие штучки, которые ей каждый раз, когда она бывала в этом кабинете, хотелось потрогать – такие они были блестящие и, наверное, весёлые.

Доктор не спеша доставал из шкафчика круглую белую штучку, из которой торчали две трубки, каждая с чем-то белым и блестящим на конце, вставлял одну трубку в одно ухо, другую в другое, потом, улыбнувшись ей и что-то сказав, подходил и прикладывал белую круглую штучку к её груди. Ей бывало сперва чуть-чуть холодно и щекотно, и она начинала ёрзать на стуле и быстро-быстро выдыхая, смеяться, и тогда доктор грозил её пальцем, а потом прикладывал палец к губам, и она затихала – да и холод и щекотка быстро проходили. Потом доктор стучал её пальцем по груди и по спине, и это было очень забавно, и ей

хотелось опять ёрзать на стуле, но она знала, что доктор опять будет грозить ей пальцем, и старалась сдерживаться и сидеть, не шевелясь.

Потом, кончив осмотр, доктор угощал её чем-нибудь вкусным, гладил по голове и, смеясь, что-то говорил, и ей хотелось, чтобы всё это продолжалось как можно дольше. Наконец, доктор вставал, подходил к двери, отворял её, звал Никиту, Никита брал её за лапу и уводил, и она шла по коридору к своей клетке, переживая только что полученное удовольствие.

Иногда – бывало это, правда, редко – доктор делал ей уколы.

Она их смертельно боялась, ненавидела шприц и начинала визжать и бить себя в грудь уже при его виде. Но Никита, который всегда бывал при этом, брал её, не обращая внимания на её визг, за плечи, и держал так крепко, что она не могла и двинуться. Потом к ней подходил доктор, делал укол и, погладив её по голове, отходил.

Никита ещё некоторое время держал её за плечи, потом постепенно отпускал и отходил тоже. Но она продолжала визжать – уже не потому, что ей было больно, а потому ей хотелось, чтобы её пожалели. И даже когда доктор, положив шприц, подходил к ней, говорил ей что-то утешающее, улыбался, угощал её – обычно это были орешки, жареные в меду, которые она безумно любила – она не сразу успокаивалась, не сразу принимала от доктора угощение, не сразу позволяла ему до неё дотронуться, всем своим видом показывая, что он незаслуженно причинил её боль.

Но потом всё быстро забывалось, и она с нетерпением ждала дня, когда её снова поведут к доктору.

И именно с доктором связалось событие, которое перевернуло её жизнь.

III

Была середина августа, в воздухе стояла необыкновенная жара. Днём нещадно палило солнце, но и ночь не приносила прохлады.

И она, и её подружки не знали, куда себя деть, и днями напролёт вяло слонялись по клетке, не находя себе места, потеряв интерес друг к другу, пока, наконец, устав и выдохшись от жары, садились, кто где, на пол и, прислонившись к стене, полужасыпали, время от времени открывая глаза.

Шли дни за днями, но жара не спадала, а, казалось, только усиливалась. Но под конец августа несколько дней подряд, не переставая, шёл дождь и когда он кончился, наступила, наконец, прохлада. И теперь, как будто навёрстывая упущенное, она и её подружки носились по клетке как угорелые, бегали друг за другом взапуски или, вспрыгнув вдруг на качели, начинали раскачиваться. Забавам их, казалось, не было конца; толпившиеся у клетки люди, со смехом наблюдавшие эти забавы, только подогревали её и подружек на новые проделки.

В один из таких дней – дело было уже к вечеру – одна из её подружек, до того бешено раскачивавшаяся на качелях, вдруг с громким криком упала на пол клетки и, крича и извиваясь, стала бить себя руками по животу. Потом так же вдруг она затихла, вытянулась и лежала теперь, не двигаясь и только быстро, тихо и хрипло дышала. Люди, стоявшие у клетки, загалдели и стали, похоже, звать на помощь, потому что очень скоро в клетку вошли двое служителей, подняли лежавшую на полу обезьянку и унесли её.

Весь оставшийся вечер до сна и она, и её подружки, впечатлённые увиденным, провели каждая в своём углу; наконец наступила ночь.

А наутро их развели по отдельным клеткам, и она осталась одна. Теперь ни у её клетки, ни, насколько ей это было видно, у клеток её подружек не было людей, да и сами клетки были в таком месте, которого она прежде не видела.

Первая неделя, когда она внезапно оказалась одной, оторванной от своих подружек, вырванной из круга их совместных, пусть может быть и привычных ей, но каждый раз её увлекающих проделок, беготни друг за другом, игр – эта первая неделя далась ей тяжело.

Какая-то внутренняя тревога, неопределённый страх, тоска терзали и утомляли её настолько, что ей не хотелось ни ходить по клетке, ни даже просто двигаться. Вид уносимой из клетки обезьянки с болтающейся из стороны в сторону головой преследовал её несколько дней, то вдруг всплывая в сознании и заставляя её вздрагивать, то погружаясь куда-то глубоко, но всё равно присутствуя, излучая непонятную ей тёмную угрозу.

Воспоминания, картины прошлого не приходили к ней теперь вовсе. Подчас ей казалось, что красновато-жёлтое облако, из которого эти картины возникали, вот-вот появится в её воображении, но проходили минуты, облако не появлялось, возбуждение её спадало и она, утомлённая этим возбуждением и несбывшимся ожиданием, засыпала тревожным, не приносящим ей отдыха сном.

Иногда она подолгу сидела в углу клетки, глядя сквозь прутья на росший у дороги усыпанный ярко-жёлтыми цветами куст, на стоящие за ним высокие деревья, с которых уже начинали опадать листья. Она смотрела на медленно кружащиеся в звонком осеннем воздухе и с тихим шелестом падающие на землю красновато-жёлтые листья, и ей было почему-то очень грустно, всё казалось ей чужим, и ей хотелось вернуться туда, где, как ей смутно помнилось, она когда-то жила.

Но подчас на неё находило спокойное, умиротворённое настроение, и тогда она могла часами сидеть, щурясь от проникающих сквозь прутья её клетки и бьющих ей в глаза солнечных лучей и блаженствуя в теплоте по сентябрьскому греющего не жаркого солнца. В такие минуты она забывала о своих воспоминаниях, и ей казалось, что она жила здесь, в этой клетке, может быть, всегда, и что те картины прошлого, которые ей когда-то виделись, были не её жизнью, а жизнью кого-то другого.

В один из таких дней за ней пришёл Никита и повёл её к доктору.

В коридоре было, как всегда, прохладно. Она ёжилась от холода, коридор казался ей сегодня ужасно длинным, и она, стараясь побыстрее идти, сперва тянула за собой Никиту, а когда он не поддавался, вырвала лапу из его

руки и то забегая вперёд и оглядываясь на него, то останавливаясь и ожидая – чтобы, как только он приблизится, снова забежать вперёд – как бы приглашала его участвовать в игре.

Но все её мысли были уже в кабинете доктора, где будет тепло, где доктор улыбнётся ей, погладит её по голове, а после осмотра угостит её чем-нибудь вкусным.

Когда они вошли, доктор стоял у окна спиной к ним и, похоже, что-то через окно рассматривал. Она уже хотела подбежать к окну, чтобы узнать, что же он там рассматривает, а может быть, просто привлечь его внимание к тому, что она уже тут, уже пришла. Но в это время доктор обернулся – и она увидела на его лице очки. Это было так неожиданно – раньше она никогда не видела его в очках – что она растерянно оглянулась на Никиту, но не увидев на его лице ни удивления, ни тем более страха, подошла к доктору поближе, не спуская глаз с его очков.

Вообще-то видела она очки не в первый раз – среди людей, толпившихся у её с подружками клетки, у некоторых были перед глазами такие же стёклышки. Тогда она не обращала на это внимания, вся поглощённая относящимися к ней возгласами взрослых, криками детей, угощениями, которые она получала.

Но увидеть очки на лице доктора было совсем другое дело: это было что-то новое.

Очки так замечательно сочетались со всем обликом доктора, с его белым халатом, с белым шкафчиком, они были такими весёлыми и приятными, что и ей стало весело и приятно. Лицо доктора, всегда приветливое, улыбочное, показалось ей теперь ещё более приветливым, улыбочным, милым. Солнце отражалось в стёклышках очков маленькими золотистыми лучиками, лучики были и на золотистой проволочке между стёклышками, и всё это было так мило и весело, что ей неудержимо захотелось потрогать очки а ещё больше – попробовать их на себе.

И когда доктор, усадив её на стул, сев с ней рядом и сделав ей знак, чтобы она сидела тихо, слегка нагнулся на ней, прикладывая ей к груди знакомую ей круглую штучку, она вдруг потянулась лапой к его очкам.

Доктор сделал строгое лицо и погрозил ей пальцем. Она успокоилась, просидев смирно, пока он её выслушивал и выстукивал, но, как только это кончилось, опять потянулась за очками.

Доктор засмеялся и снова погрозил ей пальцем, но она – может быть, оттого, что он сделал это, смеясь – восприняла его жест как игру и, коротко оглянувшись на Никиту, попыталась, слегка подпрыгнув на стуле, дотянуться-таки до очков доктора. Доктор, продолжая улыбаться, опять погрозил ей пальцем, но видя, что это не действует и что она продолжает тянуться к очкам, взял её за лапу и слегка по ней шлёпнул.

Она на мгновение опешила, недоумённо посмотрела на свою лапу, потом на доктора, потом на Никиту, и вдруг, оборотившись опять на доктора, отчаянно завизжала и стала бить лапой себя в грудь. Доктор засмеялся. Она продолжала визжать, не давая себя успокоить, и прекратила визг только тогда, когда Никита вышел с ней из кабинета доктора, закрыл за собой дверь и повёл её по коридору к её клетке.

Целый день до вечера она не могла думать ни о чём, кроме увиденных ею у доктора очков. То ей представлялось, как доктор даёт их ей потрогать, как она осторожно берёт их лапой, как золотистые лучики весело играют на стёклышках, и как ей при этом становится весело и приятно, а доктор и Никита, стоя рядом с ней, улыбаются. То она вспоминала, как доктор шлёпнул её по лапе, когда она потянулась за его очками, и тогда обида захлёстывала её, и ей хотелось укунить доктора за руку, которой он её шлёпнул.

Наутро пришёл с метлой и совком Никита, и пока он у неё убирал, а потом её кормил, она всячески старалась показать ему знаками, показывая себе на глаза, как ей хочется иметь такие очки, как у доктора. Никита вроде бы слушал, но понимает он её или нет – это было ей неясно.

IV

Прошло два дня и постепенно мысль об очках вытеснилась в её голове какими-то другими мыслями. Она уже почти забыла о своём желании, когда Никита вдруг появился в её клетке в неурочное время, днём, с каким-то

бумажным свёртком под мышкой. Войдя, он улыбнулся ей, сказал что-то и стал с нарочитой медленностью разворачивать перед её глазами свёрток. Она подошла поближе, и тогда он, раззадоривая её любопытство, от которого, похоже, получал живейшее удовольствие, стал разворачивать свёрток ещё медленнее. За бумажной обёрткой оказалась красная материя, и когда Никита наконец развернул и материю, она увидела в его руках очки.

Первым её чувством было разочарование: очки, которые ей принёс Никита, были совсем не такие красивые как у доктора, их стёклышки были заметно больше и не такие светлые, даже немного мутные, и соединяла их не такая тоненькая, ярко блестящая на солнце проволочка, а толстая проволока, и она совсем не блестела на солнце. Но потом верх взяло любопытство, она подошла поближе и потрогала очки лапой, на что Никита сказал ей то же самое, что он обычно говорил её товаркам, когда раздавал им корм, а кто-то, кого Никита ещё не кормил, пытался ухватить чужую долю, не дожидаясь, пока его покормят. Потом Никита взял очки и, подойдя к ней, попытался посадить ей очки на нос.

Очки всё время спадали, и Никите пришлось долго возиться, прилаживая оглобли, то разгибая их, то опять сгибая; всё это время она терпеливо ждала, хотя возня с оглоблями её и раздражала и ей так и хотелось отобрать у Никиты очки, чтобы попробовать надеть их самой. В конце концов он сделал так, что очки сидели прочно.

Он отошёл, сел поодаль на табуретку – и должно быть вид её в очках его необычайно развеселил, потому что он вдруг принялся неудержимо хохотать и хлопать себя руками по коленям, время от времени между взрывами хохота вставляя какие-то слова, смысла и даже звучания которых она не понимала. Но она и не вслушивалась, вся поглощённая тем, что развёртывалось перед её глазами.

Из смутной светло-серой пелены, сквозь которую ей скорее угадывался чем виделся сидящий на табуретке и время от времени взмахивающий руками Никита, медленно выплывало, вытесняя всё остальное, бледно-жёлтое,

красноватое по краям облако – предвестник являвшихся ей прежде воспоминаний о её прошлом.

Притихшая, едва дыша, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть открывающееся ей видение, с трепетом ожидала она, что же она сейчас увидит, какая из посещавших её прежде картин возникнет из медленно тающего перед её глазами облака, за которым уже вырисовывались неясные контуры чего-то, во что она не могла взглянуть.

Но облако вдруг растаяло, и всё, что она увидела, в полуконтурах, был сидящий напротив неё Никита. Теперь он уже не хохотал, хлопая себя руками по коленям, а сидел, подперев голову рукой. Потом он подошёл к ней, снял с неё очки и, показывая на них и улыбаясь, что-то ей сказал, отдал ей очки и ушёл.

Как только он вышел, она осторожно взяла очки, осмотрела их со всех сторон и потом так же медленно и осторожно попыталась их надеть.

Это не удалось ей ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. Она упорно повторяла свои попытки, но в конце концов оставила их, и теперь зажав очки лапой, просто приставила их к глазам и долго держала их перед глазами, ожидая появления того, что она увидела, когда Никита надел ей очки. Заснула она к полуночи.

...В эту ночь ей впервые привиделась во сне картина её далёкого детства, когда она была ещё маленькой, почти крошечной обезьянкой, не расстававшейся ни на минуту со своей матерью.

Она только что насосалась материнского молока и теперь, отяжелевшая и немного осовевшая от еды, сидит, прижавшись к животу матери, блаженствуя от тепла, щурясь в лучах солнца, когда они попадают в глаза, и с любопытством и удивлением рассматривая высокую траву, деревья с раскинувшимися во всю ширь её взгляда ветвями, других обезьян из их стада.

Она млеет от охватившего её чувства полной защищённости, полной безопасности рядом с матерью, ощущая каждой клеточкой своего маленького тела исходящую от матери любовь, купается в этой любви,

стараясь как можно теснее прижаться к матери, к её теплой груди, излучающей этот покой, эту защищённость, эту безопасность. Незаметно для себя она начинает засыпать и, засыпая, прижимается к матери ещё тесней, чувствуя сквозь сон, как та слегка почёсывает ей голову, и улыбаясь во сне возникающей от этого почёсывания лёгкой щекотке...

...Она проснулась от захлестнувшей её горячей волны, ударившей ей в сердце, и от какой-то особенной, распирающей её грудь тоски, от которой она задыхалась – и, вздрогнув, открыла глаза.

Вокруг стояла густая, непроницаемая тишина. В тёмно-синем небе ярко светила луна; её спокойный холодноватый свет, проникая между прутьями клетки, отражался полосами на остывшем за ночь полу и казался оттого ещё более холодным, далеким, пугающим.

Вдалеке прокричала какая-то птица. Так кричали птицы с большими клювами на болоте, куда они с матерью и с другими обезьянами из их стада ходили полакомиться какой-то особенно вкусной и сочной травой.

Тоска, охватившая её, не проходила. Ей вдруг изо всех сил захотелось, чтобы мать, которую она только что видела во сне, оказалась бы с ней рядом, приласкала бы её, а она, прижавшись к матери, прикорнула бы у её тёплого живота, ощутив себя вновь маленькой, любимой, защищённой.

Холодный свет луны будоражил и пугал её. Она закрыла глаза и долго сидела, не двигаясь, не зная точно, спит ли она уже или только дремлет, пока, уставшая от тоски и страха, не заснула – и проснулась уже поздним утром, под яркими лучами солнца, лишь смутно помня то, что ей приснилось.

Вскоре пришёл Никита и, покормив её, повёл её в её прежнюю клетку, где она ещё две недели тому назад, вполне счастливая, жила вместе со своими подругами. Она нехотя плелась за ним, ковыляя на трёх лапах, крепко зажав в четвёртой завернутые в красную материю очки. Никита попытался было взять их у неё, знаками давая ей понять, что отдаст потом, когда они придут, но она, то ли не поняв, то

ли боясь расстаться с очками, глухо зарычала, и Никита, махнув рукой и что-то буркнув, отступил.

V

Когда они вошли, подружки встретили её чуть насторожённо, но узнав, стали подходить к ней, приглашая приняться за их прежние забавы. И будь это несколько дней тому назад, она немедленно бы откликнулась, и уже через несколько минут, в радостном ощущении, что она вновь не одна, носилась бы вместе с другими по клетке, время от времени запрыгивая на качели, чтобы раскачаться и так же внезапно с них спрыгнуть – или же с удовольствием, ловко ловила бы, нередко опережая в этом других, бросаемые стоящими перед клеткой людьми угощения. Но сейчас возгласы этих людей, крики детей, галдёж подружек только неприятно раздражали её.

Она села в углу клетки, прислонившись к стене, зажав в лапе завёрнутые в материю очки, и когда одна из её подружек, то ли привлечённая красной материей, то ли из простого любопытства, протянула к очкам лапу, она глухо зарычала и отодвинулась от неё подальше. То же повторилось и с другими её товарками: каждый раз, когда кто-то из них подходил к ней, она съёживалась и глухо рычала, если же от неё не отставали, показывала зубы.

Больше всего ей хотелось, чтобы этот день поскорее кончился, чтобы поскорее наступил вечер, когда её подружки заснут, и она, медленно развернув материю и взяв в лапу очки, приставит их к глазам и будет держать их у глаз до тех пор, пока не увидит светло-жёлтое, красноватое по краям облако, из которого, медленно проступая, возникнет картина из её прошлой жизни – или пока сон не навалится на неё – и тогда она, может быть, опять увидит во сне солнечный день, себя, дремлющую, прижавшись к животу матери, и забудет и эту клетку, и прутья, и своих подружек, и стоящих сейчас перед клеткой и галдящих людей.

С этого дня невидимая черта пролегла между ней и её подружками. Они не звали её в свои игры, а проходя мимо, не замечали или старались на неё не смотреть. Когда Никита, покормив их, кормил её, они не подходили к ней, как

это прежде бывало – в надежде, что и им достанется немножко сверх того, что они от Никиты получили, а смотрели искоса и недобро на то, как она ест, съёживаясь под их взглядами.

Клетка, которую она раньше делила с тремя своими подружками и которая не казалась ей ни маленькой, ни уж тем более тесной – да и не была таковой – теперь давила на неё теснотой так, что она временами задыхалась. Шумные игры её прежних подружек, их ловкие прыжки, раскачивание на качелях – всё, в чём она раньше с таким задором участвовала – всё это её сейчас раздражало. Каждый день превращался для неё в бесконечное ожидание вечера, когда её бывшие подружки заснут и она останется одна наедине с её очками.

И всё равно, она тяжело переживала своё положение изгоя. Ей вспомнилось, как в их стаде было несколько обезьян, к которым вот точно так же никто из других обезьян не подходил. Их не замечали – или старались не замечать, да и сами они старались не попадаться другим на глаза.

Иногда ей казалось, что если её подружки увидят на ней очки или если она даст им их потрогать, полюбоваться на прыгающие в их стёклышках солнечные лучики, то всё будет по-старому, её перестанут избегать, она перестанет быть изгоем, вновь станет среди них своей. Но она каким-то чутьём понимала, что она ни за что и никому очки не отдаст, не даст их даже потрогать, что её очки – это самое дорогое, что у неё сейчас есть, что в них заключена какая-то непонятная ей сила, которая позволяет ей уйти в её прошлое, увидеть зелёный лес с высокими деревьями, среди которых она когда-то жила, вновь ощутить пьянящий запах прозрачной от солнца тёплой листвы, почувствовать себя свободной.

Днём она прятала очки под толстым слоем соломы в том углу клетки, в котором часами сидела, прислонившись к стене. Доставала она их только вечером, когда её товарки засыпали. Достав очки, она садилась и долго смотрела на поблёскивающие в темноте стёклышки, потом подносила очки к глазам и держала их так, вглядываясь в темноту,

терпеливо ожидая, когда появится перед глазами светло-жёлтое облако. Несколько раз она засыпала с зажатыми в лапе очками. Но она всегда успевала проснуться раньше своих товаров, и оглянувшись, не видит ли кто её, прятала очки в солому.

Она вдруг открыла для себя, что для того, чтобы волшебная сила, заключённая в её очках, проявилась и перенесла её в её прошлое, вовсе не обязательно до боли долго держать очки перед глазами и уж тем более их надевать, чему она за всё это время так и не научилась. Достаточно было крепко зажать их в кулаке и закрыв глаза, долго сидеть, не двигаясь – и тогда заключённая в очках таинственная сила могла – если хотела – перенести её в мир её прежней жизни, мир, который с каждым разом становился для неё всё милее и реальнее, всё более заслоняя тот мир, в котором она жила сейчас.

Постепенно очки стали для неё чем-то живым – живым существом, к которому она относилась с любовью. Иногда, достав из под соломы завёрнутые в материю очки и медленно развернув материю – уже само разворачивание доставляло ей радость, и она старалась продлить это удовольствие, зная, что сейчас, когда все спят, ей никто не помешает – она нежно гладила их и улыбалась.

Подчас она принималась рассказывать им на своём языке о том, как ей грустно, как ей всё здесь не нравится, как тяжело ей коротать длинные дни в ожидании вечера и как ей хочется вернуться туда, где она когда-то была и стать вновь маленькой, всеми в их стаде любимой обезьянкой. И пусть сейчас, когда солнце уже не светит так ярко, весёлые лучики, прыгающие в стёклышках её очков, куда-то попрятались, пусть волшебная сила очков ей неподвластна, пусть подчас, как она ни старалась, как долго ни держала очки перед глазами, они не уносили её в мир её прошлого – она любила эти стёклышки, любила самый вид очков, любила даже материю, в которую она их каждое утро бережно заворачивала.

Отторгнутая своими недавними товарками, оттиснутая ими за невидимую черту, каким-то образом чувствуя, что даже Никита и даже доктор, к которому её за

это время уже один раз водили, не могут, не смогут её понять, она нашла в двух маленьких соединённых проволочкой стёклышках опору, которая была ей теперь так нужна.

VI

Солнечные дни кончились, уступив место тусклой дождливой погоде. Уже с раннего утра по небу ползли унылые тёмно-серые тучи, из которых вскоре начинал сыпаться мелкий, длившийся дни напролёт, дождь, а когда он наконец переставал идти, от земли медленно поднимался влажный пар и резко пахло сыростью и прелой листвой.

По опыту прошлых лет она знала, что её с подружками скоро переселят во внутреннее помещение, и сейчас она подолгу сидела и не отрываясь смотрела на росшие напротив их клетки кусты и на стоящее за ними одинокое дерево с широко раскинувшимися ветвями и влажными от дождя изжелта-красными листьями.

Мелкие дожди сменились необычными в сентябре грозами. В такие дни, если она не спала, она забивалась в угол клетки, прижималась животом к стене и, закрыв глаза, зажав лапами уши и почти не дыша от страха, ждала, когда гроза кончится. Впрочем, грозы бывали чаще по ночам, и пару раз она, проснувшись от удара грома, тут же – может быть, от страха – вновь засыпала.

В одну из таких ночей она увидела во сне, как она потеряла мать.

Она была уже не маленькой, и уж тем более не крохотной обезьянкой из её прежних снов, и хотя по-прежнему сосала грудь, но скорее для лакомства, потому, что уже ела то, что ели и другие в их стаде – сладкие корешки, сочную траву, кузнечиков, которых она научилась очень ловко хватать лапой, пока они успевали опомниться. Но и перестав быть маленькой, она была по-прежнему сильно, нерасторжимо привязана к матери. И, набегавшись, напрыгавшись, наигравшись со своими многочисленными подружками, ещё возбуждённая, ещё не остывшая от этих прыжков, она бежала к матери и, ткнувшись в неё с бега и прижавшись к её телу, начинала захлёб сосать грудь. Она

по-прежнему любила, насосавшись, греться у тела матери, прижавшись к её животу, и сквозь полудрёму ощущать себя маленькой, защищённой и любимой.

Вот и сейчас она, поев и прижавшись к матери, медленно, время от времени вдруг полуоткрывая глаза, засыпает, а мать, крепко прижав её к себе, гладит её по голове. Она засыпает совсем, и ей снятся их с подружками весёлые проделки, вкусные корешки, которые она так недавно ела, кузнечик, который всё-таки в последний момент не дал себя поймать, ускакал от неё...

...Вдруг всё вокруг оглашается криками, и, открыв глаза, она видит, как обезьяны из их стада мечутся в страхе, перебегая с одного места на другое. К крикам обезьян примешиваются какие-то другие крики, каких она раньше никогда не слышала, и то тут, то там раздающиеся громкие "Бах-х-х!" – такие громкие, что обезьяны, которых эти звуки настигают, не могут их вынести и падают на землю. Она не успевает испугаться, как уже сидит на спине матери, вцепившись лапами в её густую шерсть; мать бежит изо всех сил к тому месту, где начинается высокая густая трава – трава, которая их скроет, за которой уже не будет слышно этих криков и этих страшных "Ба-х-х!".

Вот они уже почти добежали – и в этот момент она слышит "Ба-х-х!" у своего левого уха и от страха вжимается мордой в шерсть матери, только бы вновь не услышать это "Ба-х-х!" снова. Но мать, как будто споткнувшись обо что-то, внезапно падает и ей, уже не сидящей даже, а полулежащей на материнской спине, едва удаётся удержаться и не отлететь в сторону.

Она медленно сползает на землю и обходит мать со всех сторон, старается заглянуть ей в глаза, но мать лежит на земле, почти уткнув голову в землю, и не шевелится. Ужас охватывает её; она ещё и ещё раз обходит лежащую на земле мать, не понимая, почему та не встаёт, надеясь, что мать наконец увидит её – беспомощную, растерянную, дрожащую от страха – и встанет, отряхнётся, как она это обычно делала после сна, посадит её на спину, и они убегут далеко-далеко, где они будут вместе, где будет тихо и не будет слышно этих "Ба-х-х!". В это время чья-то рука

схватывает её, поднимает в воздух и чей-то громкий, оглушающий её голос кричит что-то...

...Она проснулась от собственного крика и тревожных криков своих товарок, которых, видимо, она и разбудила.

Шла гроза, раскаты грома, похожие на те "Ба-х-х!", что слышались ей в её сне, следовали один за другим, вспыхивающие молнии рассекали чёрное небо на части и, казалось, эти отсечённые части вот-вот упадут на землю, на их клетку, на неё.

Её товарки, видимо, тоже были напуганные громом, не переставая кричать, металась по клетке. Она забилась в задний угол клетки и зажав лапами уши, смотрела на мечущихся по клетке товарок широко раскрытыми глазами, смертельно боясь, чтобы они её ненароком не задели, понимая, что не сможет сейчас себя защитить.

Скоро весь обезьянник огласился криками, им ответили издали какие-то другие крики, им – третьи, и прошло немало времени, пока всё постепенно успокоилось. Заснула и она. А наутро, после того как Никита убрал в их клетку и покормил их, он отвёл её в клетку, в которой она до этого несколько дней жила. Она медленно ковыляла за ним, зажав в лапе завёрнутые в материю очки. Никита завёл её в клетку и угостив её на прощание горстью орехов, ушёл. Она осталась одна.

Ей хотелось прислониться к стене и заснуть, но ночной ужас ещё не совсем отпустил её, и она боялась, что во сне вновь увидит, как чья-то рука отрывает её от земли, от лежащей на земле матери, а вокруг слышатся крики обезьян и похожие на раскаты грома "Ба-х-х!". Но ни грома, ни молний больше не было, дождь перестал идти. В полдень выглянуло солнце, и она постепенно успокоилась и, незаметно для себя заснула.

VII

Она проспала весь день и всю ночь, и проснулась только под утро. Ей сильно хотелось есть. Она съела орехи, которые оставил ей Никита, но было их немного, они только раззадорили её голод, и теперь она с нетерпением ждала,

когда Никита наконец придёт и покормит её, и думала, какая еда будет в его корзине сегодня.

Шло время, а Никита всё не приходил. Постепенно её охватила какая-то неясная тревога, заглушившая даже голод; в тревожном ожидании она не находила себе места, бесцельно бродя по клетке и прислушиваясь к каждому шуму.

Внезапно она услышала шаги, но это не были шаги Никиты. Она насторожилась.

Вскоре дверца её клетки открылась и в клетку вошёл незнакомый человек с коробом в руке. Толстый, обрюзгший, нечёсанный, с грубым жирным лицом, он не понравился ей сразу. Не глядя на неё, он со стуком поставил короб на пол и лишь потом окинул её взглядом. Взгляд этот – хмурый, недоброжелательный – поразил её: так на неё ещё никто никогда не смотрел.

Насторожившись, она отошла от него подальше и села у самой решётки, напротив входа в клетку, он же, вывалив из короба на пол принесённый им корм, поднял короб и, не глядя больше на неё, двинулся было к двери, как вдруг взгляд его упал на лежащие на соломе очки.

Злая усмешка пробежала по его лицу. С непостижимой для его обрюзгшего тела ловкостью он нагнулся, взял двумя пальцами очки, выпрямился и стал их подбрасывать и ловить, не спуская с неё насмешливого взгляда.

Опешившая от неожиданности, съёжившаяся, она не отрываясь смотрела на очки в его руке, не понимая, почему он всё это делает, стараясь угадать, что он будет делать дальше. Наверное, было в этом её взгляде что-то, что то ли смутило, то ли испугало его, потому что злая ухмылка сползла с его лица, он перестал подбрасывать очки и, похоже, собирался уже бросить их обратно туда, откуда он их взял. Но в этот момент она внезапно очнулась от своего оцепенения, с громким визгом бросилась на него и, обхватив его лапами, повисла на нём и попыталась укусить его в руку. Он бросил очки на пол, а когда они упали, отшвырнул их ногой в сторону. Одно из стёкол выпало от удара из оправы,

покатилось к прутьям клетки и, ударившись с лёгким звоном о прут, упало на каменную плиту.

Она всё ещё висела на нём, сжимая его тело своими лапами, не давая ему освободиться. Но ярость её уже прошла.

Наконец он смог сбросить её с себя и выбежать из клетки.

Она медленно, неуверенно подошла к лежащим около прутьев клетки осколкам расколовшегося надвое стеклышка её очков, нерешительно тронула лапой один из осколков, потом другой, потом, всё ещё не веря, что эти осколки – от её очков, она обошла их, несколько раз дотрагиваясь до них лапой, пытаясь понять, отчего вдруг из одного большого стёклышка сделались два маленьких и как ей сделать так, чтобы эти маленькие стёклышки вновь соединились. Потом она так же медленно, неуверенно, со страхом стала искать свои очки – со страхом, но и со смутной надеждой, что с ними ничего не случилось, что осколки, которые она только сейчас видела и трогала, от какого-то другого стёклышка.

Она долго искала очки и наконец нашла их полузарывшимися в солому. Оправа была согнута, одного стёклышка не было. Она положила очки туда, откуда их достала, и прикрыла их сверху соломой.

С этого дня в ней как будто что-то сломалось.

Теперь она сидела целыми днями в самом тёмном углу клетки, устраиваясь так, чтобы её по возможности не видели, и, не глядя ни на кого и ни на что вокруг, пыталась то соединить осколки выпавшего стёклышка в одно, то вставить осколки в оправу. Но осколки никак не хотели соединяться, а когда она попыталась силой вставить в искривленную оправу больший из них, от него стали откалываться совсем маленькие стёклышки. По временам она злилась на очки, которые не хотели её слушаться, но злость её скоро проходила, и она начинала снова соединять осколки, снова и снова пыталась вставить в оправу хоть один из них.

Мало-помалу всё, что она делала, превратилось для неё просто в действие, в механическое, упорное повторение

одних и тех же движений, и чем упорнее повторяла она эти движения, тем меньше она понимала, зачем она их делает, и тем более сильной была её тоска и потребность их повторять. Иногда что-то вдруг прорывалось в ней, и тогда движения её теряли механичность, становились осмысленными. Но длилось это недолго.

В её клетке опять появился Никита, но её прежнее отношение к нему куда-то ушло, и она не радовалась ни его приходу, ни его добродушию, ни его угощениям.

Картины прошлого не приходили к ней теперь вовсе – ни наяву, ни во сне. Она не вспоминала о них, как будто бы их не было никогда.

Теперь в её клетку часто заходили люди, которых она прежде не видела. Они подолгу оставались около неё, о чём-то друг с другом говорили, показывая на неё пальцем, качая головой и разводя руками, как будто им что-то в ней не нравилось. Иногда они заставляли её поднимать голову и заглядывали ей в глаза, в рот, щупали ей живот, прикладывали ухо к её груди, как это раньше делал только доктор.

В первое время всё это страшно раздражало её, и она рычала на любого, кто к ней приближался, исключая, пожалуй, только доктора, да и то не всегда. Ей казалось, что все эти люди – пусть они и не желали ей ничего плохого – мешают ей найти, поймать что-то постоянно ускользающее от неё главное, что помогло бы ей наконец соединить осколки стёкол и вставить их в оправу.

Но постепенно она привыкла к этим посещениям, а потом они кончились. Теперь приходил к ней только доктор.

Он гладил её по голове, пытался её развеселить, приносил ей разные сладости, но ей всё равно было невесело, и съев под его взглядом что-нибудь из этих сладостей – хотя её мучило уже от самого вида еды – она подымала на него глаза, надеясь, что он поймёт её желание остаться одной и как можно скорее уйдёт.

Она слабела с каждым днём, и ей уже трудно было подыматься и садиться самой. Целыми днями она перебирала лежавшие перед ней осколки стёкол, к которым

она не позволяла приближаться никому, и пыталась вставить их в оправу, из которой они тут же выпадали.

Наконец настал день, когда подняться она уже не смогла. Позвали доктора.

Доктор долго осматривал её, качая головой, потом развёл руками и куда-то вышел.

Скоро он вернулся с чемоданчиком в руках. Он поставил чемоданчик на пол клетки, подошёл к ней и взял её за лапу. Ей показалось, что он хочет отнять у неё очки и она глухо зарычала, но он погладил её по голове, и она успокоилась. Потом доктор подошёл к своему чемоданчику и сел перед ним на корточки. Она не поняла, почему он не взял с собой стул, но и эта мысль задержалась у неё недолго. Доктор раскрыл чемоданчик и долго с чем-то там возился. Всё это время она смотрела на него, не переставая.

Потом доктор поднялся, и она увидела, что в руках его был шприц.

Раньше при одном виде шприца она начинала громко кричать, била руками вокруг себя, стараясь не подпустить доктора близко. Теперь же она покорно следила за его движениями. Доктор подошёл и погладил её несколько раз по голове. Потом он взял её за лапу и она почувствовала, как игла проколола ей кожу и как потом что-то стало растекаться по руке и медленно-медленно – по всему её телу.

Доктор ещё раз погладил её по голове, и, не глядя на неё больше, отошёл.

Она начала засыпать.

Сперва ей понравилось это – то, как медленно растаивает её напряжение, её боль, её грусть, которая мучила её всё это время. Но потом она испугалась, видя как оцепенение, которого она никогда прежде не знала, одолевает всё её тело. Она попыталась закричать и сделать какое-то движение, чтобы вырваться из опутывающей её сети. Но ни закричать, ни двинуться она уже не могла.

И в этот момент что-то ослепительное мелькнуло перед её глазами: она вдруг увидела, поняла, в каком порядке ей надо собирать осколки стёкол и как вставить их в оправу, чтобы они не выпадали.

Яркий свет ударил её в глаза и перед ней промелькнули, с бешеной скоростью сменяя друг друга, картины её прошлой жизни – она, прикорнувшая у материнской груди, люди, отрывающие её от мёртвой матери, корабль, на котором она плыла, матросы, заставлявшие её выделывать всякие трюки и угощавшие её потом бананами, зоопарк, её подружки, доктор...

Но продолжалось это одно мгновение. Потом всё заволочло густым чёрным облаком, сквозь которое уже ничего нельзя было увидеть, и она умерла.



Лея Гольдберг

Два рассказа

Перевод и предисловие Лилии Креймер

Предисловие



В этом номере журнала читателю предлагаются два перевода рассказов Леи Гольдберг: "Счастье" и "Визит вежливости". Поэтому моё предисловие будет относиться к ним. Насколько я знаю, рассказы до сих пор на русском языке не печатались. В данном случае они расположены по времени их написания.

Счастье

Этот рассказ Лея Гольдберг написала в 1938 году, в возрасте 27 лет. К этому времени она жила в Израиле 3 года. Проведя своё детство в Литве, она не переставала скучать по её природе, а может быть не только по ней. Все мы родом из детства. Об этом своём чувстве она, хотя и вскользь, всего одной фразой упоминает в рассказе. Её главный герой, находясь в считанных шагах от моря и ощущая "вкус морской соли на его губах, почему-то думает о лесе после дождя, где-то там, на севере Европы".

В Израиль Лея Гольдберг приехала в 1935 году, уже имея степень доктора философии, полученную в Боннском университете за два года до отъезда.

Её заслуги как ученого в Израиле были оценены высоко. Она была известна как театральный критик, была членом Академии Языка Иврит, профессором Еврейского университета. Там она организовала, а позже возглавляла отделение сравнительного литературоведения. Её поэзия

покоряла не только сердца взрослых читателей, но и детские души. Особая мелодичность стиха поэтессы завораживала и композиторов, её стихи положены на музыку и стали классикой израильской песни. В этом юбилейном году в центральных залах страны прошли концерты песен на стихи поэтессы. И не просто песен. Песен с двойной мелодией: мелодией музыки и мелодией стиха. За заслуги перед Израильской культурой в 1970 году она стала лауреатом премии Израиля. К её юбилею в 2011 году, в Еврейском университете открыт музей её памяти.

Гольдберг была знатоком мировой литературы. Но все-таки большую часть своего творчества она посвятила русской литературе. Её переводу на иврит, её исследованию. Нельзя не отметить хотя бы некоторые её работы: перевод на иврит "Войны и Мира" Толстого; исследование "Единство человека и мировоззрения в творчестве Толстого"; переводы из Чехова, Горького, Гоголя, Пушкина. Вместе со Шлёнским она редактировала антологию переводов русской поэзии на иврит в 1942 году.

Рассказ "Счастье" написан от лица мужчины и посвящён вечной проблеме отношений мужчины и женщины, причём независимо от женского статуса последней. Всё женское племя рассматривается в нём одинаково: мать, девушка, жена, сослуживица и даже маленькая неродная дочка должна стать враждебной ему, мужчине, как только подрастёт.

Автор рассматривает здесь обратную сторону великого чувства, которое дано каждой женщине – чувства Матери. Это чувство, по мнению писательницы, мешает женщине прощать. Она живёт в мире вечного беспокойства и неверия, её душа полна страха и боли. Она закрыта для остального мира, мира радости и счастья. А потому женщина не может понять душу мужчины, открытую миру, свету, душе, в которой живут покой и вера в счастье. Мужчина, в противовес женщине, убеждён, что душа – не только страх и боль. Что душа, освещённая солнцем - это ещё и радость (См. сказку, рассказанную для Дорит). В этом писательница видит причину всех бед людских. Женщина не способна понять и принять даже самых дорогих для себя

людей: ни мужа, ни сына, ни любимого, ни просто сослуживцев. Их веру в счастье женщины принимают за святость, называя своих близких блаженными и тем самым глубоко оскорбляя.

Я не считаю возможным комментировать мнение писательницы, но позволяю себе привести небольшое стихотворение, написанное женщиной, израильской поэтессой Лилах Тавор (לילך תבור) спустя 70 лет. Это стихотворение было опубликовано в газете הארץ 06.06.2011. На иврите оно называется שברים של דאגה. Здесь я привожу его в моём, не претендующем на поэтичность, переложении.

Забот толкование

Связей невпроворот
Воображение ткёт во сне
Пока солнце не взойдёт
И не засияет в окне.

Зальёт светом всю меня
Извинится в тишине.
Откроет окно,
Очистит сердце мне.

Нет смысла уж длить,
Остановись, – зовёт понимание.
Во власти вечности изменить
Даже забот толкование.

Эта женщина не в меньшей степени, чем герой сказки Леи Гольдберг, открыта миру, солнцу и свету. Свет вытесняет все её заботы и тревоги, вызывая покой и радость. Более того, она знает, что даже само понимание заботы не вечно и то, что сегодня мешает жить и тревожит, завтра может быть воспринято совсем по-иному.

Визит вежливости

"Визит" написан в 1949 году, когда Л. Гольдберг находилась на пороге своего сорокалетия, возрасте человеческой и поэтической зрелости.

На первый взгляд кажется, что "Визит" рассказывает о человеке, пережившем катастрофу. И об этом тоже, но не только об этом. Всего несколькими предложениями автор рассказа намечает жизнь главного героя до войны и его предательство по отношению к любимой.

Естественно, что всё пережитое героем рассказа во время катастрофы описывается с заслуженным уважением, болью и сочувствием. Даже попытка героя объяснить проявление его настоящего характера катастрофой, не заставляет Л. Гольдберг изменить это уважение и сочувствие.

А вот последняя сцена жестокой картины современности возвращает нас к истинному характеру героя, к исконным чертам его характера: неспособности контролировать свои поступки, к безответственности, к импульсивности. В конце концов – к предательству чувства, долга, любви, любимой, да и самого себя.

Счастье¹

А

Мать ходит медленно. Её маленькое и худое тело раскачивается при ходьбе. Маленькие и худые женщины двигаются быстро. Но здесь её сын. Он лежит пластом в шезлонге. И она ходит медленно. Когда она подходит к нему, наклоняется над его головой, поправляет подушку, то Шани видит тонкую сетку морщин, которая покрывает её ещё округлую щеку. Её волосы, волосы редкие, волосы седые, натянутые на её голове, как нитки на катушке, касаются его шевелюры, черной и непослушной. Свет заката придаёт её седине лёгкую розовость. Эта розовая голова принадлежит его старой матери. Шани видит эту голову, склонившуюся над слабой шеей – увядший и тяжелый цветок на тонком стебле.

"Тебе так удобно, сын?", - спрашивает мать.

"Я очень счастлив, мама", - улыбается Шани.

¹ Перевод выполнен с оригинала на иврите, опубликованного Рабочей библиотекой ספריית הפועלים. הוצאה לאור הקבוץ המיוחדת

Она в недоумении пожимает узкими плечами, поднимает голову и качает ею, изображая полное бессилие. Она обижена. Она ждёт стонов и жалоб. А он улыбается. Она снова нагибается, склоняется к его ногам. Её худые руки с острыми локтями, руки девочки, которая всё ещё не повзрослела, протянуты вперёд. Её быстрые руки поправляют там, внизу, в конце длинного шезлонга протез его ноги. Она хочет спросить его ещё раз, хорошо ли ему, но так и не решается.

"Мама, мне очень хорошо", - снова возвращается Шани к своим словам с тихим упрямством.

Она выпрямляется и уходит. Уходит медленно, на цыпочках, будто боится разбудить его. Шани лежит и улыбается.

Пара кипарисов, растущих возле низкого забора, чернеет на фоне розового моря и неба. Ворота открыты. Белые каменные ступеньки спускаются к морю. Его взгляд витает в высоте. Желтый змей в прозрачной синеве. Детская радость оглашает берег. И Шани кажется, что его ухо различает в этом хоре ликующий крик Дорит. Он касается языком губ и чувствует тонкий и острый вкус морской соли.

За ним, за стеклянной дверью дома – шаги матери. Сейчас они быстрые и легкие. Он слушает. Она ходит туда и обратно по комнате. Туда и обратно как маятник. Он думает о ней: маленькая женщина с большими тревогами. Беспокойство и неверие женщин. Таковы они – матери, любимые, девушки. Она обижена. Старая мать. Этот закрытый мир. Мир молчащих мужчин. Они не плачут. Не выплескивают наружу свои заботы. И так всю жизнь. Всю жизнь. Этот взрослый сын и его спокойствие. Его ужасающее спокойствие. Она не прощает. Не прощает ему, что он любит прозрачный свет этой страны. Что ему хорошо здесь. Хорошо ему и сейчас, после того, что Юля ушла и оставила у него на руках Дорит, хотя она и не дочь ему; потому что он, сын старой матери и отец чужой девочки, дочери Юли, смеет быть счастливым в своём одиночестве, и сейчас, после того, как ему отрезали ногу. Счастье и покой калеки. Он обманывает её. Она уверена, что он издевается над ней. Он скрывает от неё своё отчаяние и боль, свои

тревоги, чтобы она оставалась вне его жизни. Она не прощает. Матери, живущие в женщинах, не умеют прощать...

Он закрывает глаза и пытается убедить её мысленно: "Но мне, действительно, хорошо, мама! Мне очень хорошо".

В ответ он слышит её сдавленный голос, сдерживающий раздражение, пытающийся преодолеть обиду и обижающий: "Я знаю, ты блаженный... как и твой отец".

При всей её боли эта женщина никогда не постигла, никогда так и не поняла самое дорогое, самое любимое ею: "И твой отец был блаженный... такой же".

Он снова открывает глаза, и красные лучи заката заполняют всё. Они так похожи на буйную гриву Юли. И Юля говорила с ним так. Все женщины обвиняли его в этой странной вине; да и голос её, пьяный, истеричный:

"Ты блаженный: ты знаешь, что ты такое? Ты святой! Я не могу жить с блаженным! Не могу. Не могу. Не могу!"

И она ушла. И оставила ему свою маленькую дочку Дорит. И хорошо, что ушла. Но Дорит. Ведь и она тоже, когда вырастет, будет враждебной, как и все женщины?

И всё из-за того, что он спокоен и знает счастье в жизни человека, а они видят в нём почему-то большую обиду и называют это знание "святостью, блаженностью". Жалко, что Дорит будет такой же женщиной, как все.

Все, все до одной они глухи к великому покою мира. Он видит их на работе каждый день, в большом операционном зале больницы. Они ассистируют ему. Сёстры. Он слышит их почтительный и в то же время обидчивый шепот: "Доктор Шани никогда не раздражается".

Он помнит лицо той сестры. Самой жёсткой и самой тихой настолько, что её руки дрожали всегда, когда она подавала ему что-то во время операции. Он помнит её лицо после того, как его привезли в больницу, в которой он работает. Врач, его друг вышел из комнаты. Сестра осталась с ним, и посмотрела на него с жалостью. А он сказал:

"Ничего, сестра, я знаю всё. Вальс я уже не смогу танцевать. Но ведь осталось ещё так много".

Она метнула в него взгляд, полный ужаса холодного и вымаливающего слезу из его глаз. А он всё-таки улыбнулся. Он уже знал, что скажет. Так и сделал. Обида, вражда и страх были в её словах:

– Он святой, доктор Шани.

Но сейчас они все далеко. Желтый змей уже не парит в небе. Смеркнулось и потянуло прохладой. Мать выходит из дома. Она идёт медленно. Проходит мимо него. Подходит к воротам. Опирается на низкий забор рядом с кипарисом.

"Где Дорит в такой поздний час?", – звучит её встревоженный голос.

Шани улыбается: "Она придёт, мама".

Б

Дорит поднимается по белым ступенькам. Её руки полны ракушек и камней. Её светлые кудряшки, искорка буйного пламени Юли, почти прозрачны в сумеречном свете – цветок одуванчика на ветру.

Говорить она начинает ещё на ступеньках. Её детский голос заполняет всё пространство: "Один мальчик рассказал, что он был в Хайфе. По дороге стреляли. Много-много выстрелов! Может быть до самого большого числа. А один человек в автобусе, которого, как и папу, ранили в ногу, жутко кричал. Изо всех сил".

"Иди есть", – сказала мать Шани.

Но Дорит кончает свою фразу:

– А я сказала ему, что мой папа не кричал даже тогда, когда ему отрезали ногу, потому что он самый большой герой!".

"Иди есть!", – повторяет мать. И в её глазах блестит слеза, смешанная с жалостью, страхом, любовью и враждой по отношению к собственному сыну и девочке.

"Нет", – решает Дорит. "Папа ещё не рассказал мне сказку".

Мать пожимает плечами. Движение обиды и беспомощности. Она сидит в низком кресле справа от Шани.

Дорит шуршит раковинами и камнями. Примащивается в его шезлонге, давит на здоровую ногу Шани. Он чувствует тепло, исходящее от этого маленького тельца. Шани приподнимается, опирается на локоть и целует

обнаженное плечо девочки. Вкус морской соли на его губах перемешивается со вкусом соли на теле девочки, детским потом и ветром. А он почему-то думает о лесе после дождя, где-то там, на севере Европы.

"Итак. Какой сегодня день?" – спрашивает он у Дорит.

"Шестой²", – отвечает девочка.

"В шестой день создал Бог человека. Не знал человек, что он отличается от зверей и скотов. Что глаза ему даны, чтобы видеть, уши – чтобы слышать, рот – чтобы есть, он только кормил животных в райском саду. Не знал человек, что и душа есть у него. Хорошо ему было в саду кормить животных и скотов. Так прошёл день, и настала ночь. Человек лежал один в райском саду. Небо было черным, деревья были черными, черными были и спящие, храпящие животные. Всё было черным. Тогда страх закрался в человека. Потому что он был так одинок в этой черноте, так мал и слаб и не мог позвать ни мамы, ни папы..."

"Потому, что не было у него", – замечает Дорит со всей серьёзностью.

"Правильно, не было у него", – отвечает Шани самым серьёзным тоном.

"А почему он не позвал Бога?", – спрашивает Дорит.

Шани задумывается на минутку:

"Он не знал его имени. Тем временем человек чувствовал, что страх охватывает его, великий страх. Он чувствовал, что страха нет только в глазах, в ушах, во рту, в руках, что он не в теле, не в сердце, не во рту. Он знал, что страх – это душа. Тогда он встал, и побежал, чтобы убежать от своей души, а страх преследовал его. Его душа гналась за ним. Он бежал и бежал, и прибежал к крутой горе, она была покрыта ветками и корнями, камни перекатывались под ногами, и человек упал; перекатываясь вместе с камнями, он сломал ногу..."

² Шестым днём называется на иврите пятница. (Прим. переводчика).

"И его отвезли в больницу..." – пытается Дорит продолжить вдруг остановившуюся сказку.

"Нет", – протестует Шани. "В раю не было больницы. Человек лежал один всю ночь и чувствовал жуткую боль. Эта боль была не только в ноге. Боль не была только в теле. Боль была в том месте, где был страх. И тогда человек подумал, что душа и есть боль. Так он лежал и не мог двинуться, пока не взошло солнце. Вместе с ним в сад вошли великий свет и великая тишина. И боль человека немного утихла. Страх отступился от него. Над ним простирался небесный купол очень высокий и очень синий. Он лежал, смотрел в небо, но не мог двинуться. И вдруг он почувствовал, что великая радость поднимается от него к небу. Радость и тишина. Тогда-то и узнал человек, что душа – не только страх и боль. Что душа – это ещё и радость. Так он лежал один и чувствовал себя очень счастливым".

"А Ева?", – в страхе прозвенел голос Дорит. "Где была Ева?"

"Ева?", – раздумывает Шани. "А её ещё не было, ещё не создали её. Только притча была".

"А почему?", – начинает Дорит.

"Хватит...", – прерывает мать, и в её голосе боль. "Иди есть".

Она ведёт девочку в дом. Она проходит мимо Шани. Она идёт медленно.

Шани остаётся один в длинном шезлонге.

Далеко, в темноте вечера виден свет одиноко качающегося на волнах корабля. Небо тёмно-синее. Очень высокое.

И Шани один.

Визит вежливости³

Я была почти уверена, что Герца и его жены в этот час нет дома. В моём кошельке уже лежала заранее заготовленная записка: "Мне очень жаль, что не застала вас дома. Шушана". Было бы хорошо таким образом избавиться от скучного визита вежливости в этот дом, по крайней мере,

³ Перевод выполнен с оригинала, опубликованного Рабочей библиотекой פריית הפועלים. הוצאת לאור הקבוץ המיוחד

ещё на полгода. Мне не оставалось другого выбора, кроме как пойти, наконец, к этим людям, которые с упрямой назойливостью приглашали меня при каждой встрече на улице. Я расставалась с ними привычным "Приду, приду с большим удовольствием", с лучезарной улыбкой на устах, которая исчезала немедленно после ухода собеседников. С Хези и Ханной Герц я была знакома с юности. И прежде не близкая связь с ними прекратилась так давно, что забылась окончательно, как и то небольшое обаяние, которое было в их наивном и восторженном невежестве, а со временем исчезло и освободило место довольному благополучию удачливых мелких бюргеров.

Чтобы избавиться от этой обязанности я поднялась на третий этаж и позвонила. Меня ошеломил звук шагов, раздавшийся в ответ на звонок. Затем кто-то посмотрел в глазок, и за дверью наступила пауза, будто стоявший за ней затаил дыхание; после неё раздался звук поворачиваемого в замке ключа, и дверь отворилась. Я вошла в коридор и оказалась лицом к лицу с образом начавшим размываться временем мечты, с пришельцем, который исчез четырнадцать лет тому назад, с духом моей первой любви, превратившимся в плоть и кровь.

Вениамина я узнала тотчас, несмотря на то, что его лицо постарело, осунулось и, потеряв былую мягкость, посуровело, а волосы стали белыми как снег. У меня не было ни малейшего сомнения в том, кто стоит передо мной. Но именно эта уверенность как будто и была реальностью. Поэтому из моих уст не вырвался даже крик удивления, я не назвала его по имени, не сказала ни слова, мне казалось, что окружающий воздух не примет мой голос. Мы стояли две долгие бесконечные секунды друг против друга и молчали.

Он заговорил первым. Его голос звучал глухо и прерывался, будто у него перехватывало дыхание; он не был похож на тот голос, который я знала и любила раньше. Он произнёс:

– Герца и Ханны нет дома. Они уехали в Хайфу.

Тогда я глотнула воздуха и пролепетала:

– Бен⁴, их, действительно, нет?

Его лицо дёрнулось в нервном тике, новом для меня, и покрылось потом. Он промолвил:

– Я знал, что ты здесь. Однажды уже встретил тебя на улице. Но ты не узнала меня.

"Не может быть", – я в ответ. "Бен, я бы узнала тебя всегда и везде".

Маленькая озорная искорка зажглась в его глазах, и он произнёс уже совсем другим голосом, тем, который я знала:

– Пожалуй. Был вечер. А я отвернулся... ведь я знаю и помню, что тебе сделал. Может быть и ты бы не захотела...

"Что ты говоришь, Бен! Что ты говоришь!" – проговорила. Признаюсь, что, вначале в моих словах не было искренности, но, повторив их, я уверилась, что так оно и есть: все старые обиды померкли, и мной овладело единственное желание – быть рядом с ним. После моих слов его лицо смягчилось, и он посмотрел мне в глаза. Наши руки уже обвивали шеи друг друга, а губы слились в длинный и захватывающий дыхание поцелуй, который не оставил ничего от того, что разделяло нас четырнадцать долгих лет. И когда я в полном бессилии оторвала свои губы от его, целовать начал он, как в те давние времена: мои глаза, мочки ушей и, главное, мои волосы.

Потом он потянул меня за собой и сказал:

"Пойдём, Шаана", – я неизменно обрадовалась, услышав имя, которым он называл меня прежде. Через минуту мы уже были в спальне Герца и его жены. Наши объятия были так крепки, что каждый чувствовал биение сердца другого, и казалось, что разжав свои объятия хотя бы на миг, мы остановим свои сердца.

В его объятиях я чувствовала жар живого тела человека, которого уже пять лет считала покойным: я вся была переполнена живой любовью, которую похоронила двенадцать лет назад.

⁴ Уменьшительное от еврейского Биньямин, которое на русском языке звучит как Вениамин (Прим. переводчика – Л.К.)

Мы ни о чём не спросили друг друга, ничего не рассказали, не шептали отрывистых слов, которые говорятся в желанный для двоих час. Слов, прекрасных как звёзды, но гаснущих при первом столь же жестоком, и столь же логичном приближении света дня.

Он не раз шептал мне на ушко моё имя так, как делал это во времена, когда мы были вместе. И это имя было для меня вознаграждением, радостью, ликованием; в нём было великое богатство, оно было многозначно, особенно, оно было его и моим.

Он всё время повторял:

– Шаана, Шаана, Шаана.

И только будучи опустошенные душой и счастливые телом, мы начали спрашивать друг друга, иногда прерывая молчание:

"Расскажи, Бен". "Сейчас, расскажи ты, Шаана".

Но в час нашего единения начался и его конец; мы не знали с чего начать и не говорили ни о чём.

Так продолжалось до тех пор, пока я не спросила:

– Как ты оказался здесь?

Он молча посмотрел на меня.

"Нет, нет! Я не о стране. Здесь – это в доме Герца".

"Ханна племянница мне", - произнёс он.

"Ах, да, совсем забыла... Я очень постарела, Бен?"

Он переложил свою руку мне на спину, и прошептал на ушко:

– Шаана.

Никогда до сих пор я не чувствовала себя такой красивой, как в эту минуту.

"А то, что пришлось пережить, было очень тяжёлым?", – спросила я.

"Не спрашивай, посмотри на это", - он показал на правый бок. В свете неяркой лампы я увидела там белые и красные полосы.

"Это знаки ИХ слёз, своеобразный подарок. Он останется навсегда".

Я немного приподнялась, приблизилась к этому месту и стала целовать полосы, будто хотела своими поцелуями стереть страшные годы, которые он пережил, а

его рука в это время гладила мои волосы. Подняв голову, я увидела номер на его плече, поцеловала и его.

"Я всё время ждала тебя". И мне, действительно, казалось, что четырнадцать лет жизни, которые нас разделяли, годы бед и благополучия, годы любви и разочарования, годы тоски и радости, сосредоточенности и растерянности, годы разных перемен, без которых невозможна жизнь человека, были для меня не чем иным, как огромным ожиданием этой единственной минуты, этой встречи.

Но он не ответил и к моему удивлению отодвинулся. Я видела, каким суровым опять стало его лицо; он закрыл его руками, и изнутри вырвалось нечто среднее между тяжелым стоном и удушливым смехом.

"Боже правый! Боже правый, Шаана!" – проговорил он, не отнимая рук от лица.

"Я забыл всё. Я не хотел, правда, не хотел совершить по отношению к тебе эту подлость... Боже правый!"

На меня напал страх и я начала пробуждаться от опьянения счастьем.

"Твоя жена?", – прошептала я.

Он отрицательно покачал головой, не отнимая рук от лица.

"Она была уничтожена ещё в первой акции".

Он сказал это так, как говорили ОНИ, с тем же равнодушным выражением лица, которое констатирует факт возведения стены между человеком и ужасом, которому нет отзвука в мире живых.

И я, уже сидя и скользя по полу большими пальцами ног в поисках сандалий, ощутила вдруг ужасную вину перед этой женщиной, которую так ненавидела при жизни; женщиной коварной и злой, которая разбила моё счастье, а потом хвалилась этим. Сейчас она мертва, а я сижу здесь, рядом с ним, и я, я спаслась как будто за её счёт. И вместе с тем, я знала, что я с ним, и я должна выразить сожаление о её гибели, но говорить не могла. Только руку протянула к нему, сказать ему всё прикосновением. Но его плоть не ответила на него и моя рука упала. Тогда он сказал:

"Не эта. Не эта. После. Уже после освобождения я женился на другой. Вы не способны это понять. Мы были так одиноки, что не могли больше выносить этого одиночества. Она была ещё молода, но все её родственники были убиты, все до одного. Молодая и беспомощная. Почему тебя не было там?", – грубо и неожиданно прокричал мне. И продолжил с холодной сухостью.

"Она женщина очень порядочная. То есть очень преданная. И нет у неё никого, кроме меня".

"А сейчас?", – спросила я, чтобы отсрочить конец; может быть ещё тлела во мне искорка надежды.

"Сейчас", – сказал он. "Она с Герцем и Ханной в Хайфе, поехала просить хоть какое-то жильё для нас".

Я не сказала ни слова. Нагнулась, надела сандалии. Глаза мои были сухими, сухость была на языке, во рту.

Он тоже встал и начал поправлять одежду.

"Я, на самом деле...", – он пытался сказать ещё что-то, но почувствовал, что в этом нет уже никакой необходимости, всё остальное уже было не важно.

Когда я уже стояла у двери, он сделал попытку проводить меня, но я отрицательно покачала головой. Почти закрыв дверь, я вдруг вспомнила о записке, которая лежала в моём кошельке. Достала её, отдала ему и попросила передать Герцу и его жене, сказав, что он нашёл записку под дверью.



Елена Погорельская

Бабель и другие «с еврейской точки зрения»¹



книге израильского литературоведа Стива Левина «С еврейской точки зрения...» собраны его статьи и очерки, как публиковавшиеся ранее в России (журналы «Волга», «Корни», воронежские «Филологические записки»), на Украине (киевский альманах «Егупец»), в Израиле и США, так и опубликованные впервые.

Книга состоит из трех разделов. Первый из них – «В мире Бабеля» – включает в себя шесть разных по объему и характеру статей, посвященных писателю, творчеством которого автор книги занимается более сорока лет.

Наверное, вслед за В.Маяковским и даже с большим на то основанием, И.Бабель мог бы сказать о себе: «Три разных истока во мне речевых...» Однако, будь подобные слова произнесены Бабелем, они имели бы иное смысловое наполнение, да и сами «речевые истоки» были бы другими. Для Бабеля это не просто три (точнее четыре, если учитывать идиш и иврит) языка². Для него это три литературные (шире – культурные) традиции, которым он

¹ *Левин С.* С еврейской точки зрения... Избранные статьи и очерки. – Иерусалим: «Филобиблон», 2010. В тексте обзора даются ссылки на это издание с указанием страниц.

² Речь идет о тех основных языковых стихиях, в которых рос будущий писатель. Для полноты картины необходимо добавить, что он довольно хорошо владел английским и немецким языками, их, помимо французского, он изучал в Одесском коммерческом училище, там же, как я предполагаю, факультативно учил итальянский. Говоря о «многоязычии» Бабеля, нельзя не учитывать украинский и – отчасти – польский языки.

наследовал: русская, еврейская и французская (или западноевропейская). Речь идет не только о происхождении, образовании и воспитании, но о влиянии на Бабеля писателей прошлого и о воплощении им этих традиций в собственных произведениях. И если мы хотим получить объемный, стереоскопический, а главное, объективный взгляд на творческую биографию Бабеля, мы должны учитывать и внимательно изучать все эти аспекты.



В книге Левина рассматривается еврейский контекст, или еврейская традиция в творчестве Бабеля. Строго говоря, еврейской теме посвящено две статьи: ««Чужой среди своих»: к проблеме самоидентификации Лютова» и «Еврейская самоидентификация автора и его героев в автобиографических произведениях Бабеля».

О еврейском контексте у Бабеля писали Х.Бар-Йозеф, Э.Зихер, А.Жолковский, П.Карден, Л.Кацис, Ш.Маркиш, М.Одесский, Й.Петровский-Штерн, Ж.Стора-Сандор, Д.Фельдман, Ж.Хетени, К.Эвинс и др.

С. Левин предлагает свой ракурс в освещении данной темы. И особенно показательна в этом смысле статья «“Чужой среди своих”...» – о «Конармии» и конармейском дневнике.

В этой работе исследуется, в частности, литературная генеалогия Кирилла Лютова. Автор убедительно показывает, что происхождение «негероического героя» конармейского цикла Бабеля берет свое начало не только в образе Дмитрия Оленина из «Кзакаов» Л. Толстого, но и в более близком по времени предшественнике – еврейском солдате-интеллекте из очерка С. Дубнова «История еврейского солдата. Исповедь одного из многих», созданного на основе подлинной биографии вольноопределяющегося А. Гольденштейна и его предсмертного письма-исповеди. По «пути использования художественной потенции документа для актуализации писательского вымысла и обобщения», пишет Левин, идет и Бабель в работе над «Конармией» (с. 10). Автор статьи находит в двух произведениях рожденное «временем, переломом эпох» (только у Дубнова это первая мировая война, а у Бабеля – эпоха революции и гражданской войны) «типологическое сходство» (с. 11-12). Важным моментом этого типологического сходства Левин считает следование «еврейской традиции в изображении героического, действенного начала». Эта традиция состоит в первую очередь в отображении не физической, «богатырской», силы, но силы духовной. Исследователь видит черты, роднящие персонажей (и авторов) двух произведений, в «**типе исторического мышления** – с опорой на конкретику фактов и стремлением к широким историческим обобщениям» (с. 14).

Особое внимание в данной работе уделено сопоставлению именно «с еврейской точки зрения» Лютова – героя-повествователя конармейских рассказов и Лютова-Бабеля – автора конармейского дневника. «Самоидентификация Лютова, – пишет Левин, – происходит в книге по отношению к двум равновеликим в его глазах величинам – “нашей Конармии” и еврейству, частью которого он постоянно себя сознает <...>

В литературе о «Конармии» в прошлом много внимания уделялось взаимоотношениям Лютова и конармейской массы, значительно менее исследованной была область взаимоотношений героя-рассказчика и местечковой еврейской среды» (с. 17).

Этот пробел, по мнению автора статьи, произошел из-за опосредованности еврейской темы в цикле конармейских рассказов, которая, в свою очередь, была обусловлена «позицией Лютова как стороннего наблюдателя» и тем, что в нем видели прежде всего «интеллигента, “четырёхглазого”» (с. 17).

Лютов из «Конармии» оказывается «чужим» не только для красноармейцев, но и для «своих» – «евреев, с которыми его связывает общность судьбы и духовной жизни. Причиной этого становится его нееврейское поведение – ведь он представляет себя как русского, в нем видят “начальство”. Чтобы скрыть свои истинные чувства и утолить голод, он вынужден вести себя, как мародер и насильник (“Мой первый гусь”, “Песня”, “Замостье”))» (с. 16-17). «Но избыть своей еврейской сущности Лютов не может, – продолжает автор. – Он постоянно выдает себя неприятелем кровавого насилия <...> и **арифметики убийства**» (с. 17-18).

Если в рассказах «еврейская тема подчинена теме конармейской», то в Дневнике она «имеет самостоятельное значение. Жанр дневника позволяет Лютову-Бабелю не скрывать своего тяготения к еврейству» (с. 18). «Но именно в Дневнике, – считает Левин, – возникает проблема межеумочного положения Лютова, человека с русской фамилией, который пошел в Конную армию, в сущности, не только для того, чтобы наблюдать происходящее, но и защищать соплеменников-евреев. <...> Однако из-за этого скрываемого еврейства и маски “русского” Лютов-Бабель нередко попадает в двусмысленное положение и оказывается лишенным возможности не только защищать евреев, но даже сочувствовать им» (с. 18).

В конармейском дневнике выделяется главным образом «мысль семейная». «Куда бы ни попадал молодой Бабель, всюду семья, семейная жизнь людей разных

национальностей привлекают его пристальное внимание. Но особенно близка ему еврейская семья» (с. 20). И далее автор статьи на конкретных примерах из Дневника доказывает это положение.

Если в Дневнике еврейская тема развивается открыто, то на связь с еврейством Бабеля и его Лютова в самой «Конармии» «указывают имеющиеся в тексте еврейские аллюзии» (с. 28).

Коллизия самоопределения Лютова, по мнению Левина, «в пределах цикла не разрешается, но *тенденция ее разрешения* обозначена движением авторской мысли. История “невхождения” Лютова в конармейскую массу (“Аргмак” – это мнимый финал его попыток) является, важнейшим сюжетобразующим фактором всей книги». Тенденция разрешения коллизии Лютов – казаки – евреи, считает исследователь, заложена в подлинном финале книги – рассказе «Сын рабби». «Еврейский солдат-мечтатель – им и является Лютов – должен сделать выбор между любовью к матери, <...> присущим ему человеколюбием, поэтическим восприятием жизни и жестоким требованием» трудного времени (с. 30).

Автор заключает статью о самоидентификации Лютова в «Конармии» и Дневнике следующим выводом:

«Война и революция увидены Бабелем сквозь призму вечных ценностей, куда входят знание о Всев-шнем и полагание на Него, семья и человек во всей его сложности и противоречивости. “Мысль семейная”, сопрягаясь с “мыслью народной” – размышлениями об исторических судьбах еврейского народа во взаимосвязях с другими народами, – проходит через Дневник и главную Книгу писателя “Конармию”. В этом эпическом повествовании находит свое место “исповедь сына века” – еврейского солдата-интеллигента, ищущего свое истинное “Я” в слиянии со своим народом и Тем, Кто его создал...» (с. 32).

Другая статья, посвященная еврейской теме, опирается на реальную биографию Бабеля и его автобиографические произведения. Впрочем, не только автобиографические: в начале статьи автор обращается к рассказу «Старый Шлойме», а в конце – к неоконченной

повести «Еврейка», которые не относятся к названному циклу. В этой работе Левин говорит о приверженности Бабеля еврейским традициям и языку. «Бабель знал идиш настолько хорошо, – подчеркивает он, – что редактировал собрание сочинений Шолом-Алейхема в русском переводе, выражал желание перевести “Тевье-молочника”, переводил Давида Бергельсона (рассказ “Джиро-Джиро”))» (с. 71). От себя не могу не добавить: Бабель настолько любил и настолько свободно владел французским, что в 1926-1927 годах был составителем и редактором трехтомного собрания сочинений Мопассана (причем сам перевел три рассказа, вошедшие в это издание), а в 1936 году, по просьбе А. Жида, отредактировал русский перевод «Новой пищи». Я позволила себе это замечание только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько многогранна личность писателя, насколько широк контекст его творчества и как важно для получения целостной и объективной картины взглянуть на произведения и биографию Бабеля с разных точек зрения. Исследуя еврейскую тему, автор книги как раз вносит существенный вклад в создание такой картины.

Бабель не был религиозен, однако, как считает автор, показывая это на конкретных примерах, «органически, по строю своей души и характера, был привержен религиозным традициям» (с. 72). Я думаю, что писатель скорее почитал общекультурные и семейные традиции своего народа, истоки которых – нельзя не согласиться, – в религии.

В этой связи уместно привести замечательный отрывок из письма Бабеля к А. Слоним, оставшегося, к сожалению, вне обзора статьи, но ярко демонстрирующего приверженность Бабеля еврейской культурной и семейной традиции. В конце своего первого пребывания в Париже, 7 сентября 1928 года, он писал, не скрывая восхищения: «Милая Анна Григорьевна. Пишу Вам сего числа в 12 часов ночи. Только что вернулся из еврейского квартала St. Paul возле Place de la Bastille. Ко мне приехали из Брюсселя прощаться мама с сестрой (я уже писал Вам, что выезжаю в Россию в последних числах сентября). Я их угостил сегодня еврейским обедом – рыба, печенка кугель, не хуже, чем в Меджибеже у цадика – и

провел по необычайным этим улочкам – удаленным как будто от Парижа на сотни километров и все-таки в Париже, – по грязным извилистым улочкам, где звучит еврейская речь, продаются любителям свитки Торы, где у ворот сидят такие старухи, которых можно увидеть разве только в местечках под Краковом»³.

Между тем, «приверженность еврейской традиции – это еще не все, что нужно для самоопределения писателя-еврея в русской литературе» (с. 73). Соглашаясь с мнением Ш. Маркиша, автор статьи полагает, что принадлежность к еврейской культуре определяется воздействием еврейского самосознания на произведения писателя либо на протяжении всего творческого пути, либо существенного его отрезка. Для Бабеля момент такого осознания и выбора наступил довольно рано – еще до опубликования первых рассказов (не считая «Старого Шлойме», напечатанного в киевском журнале «Огни» в 1913 году). Речь идет о двух ранних набросках «Детство. У бабушки» и «Три часа дня...»

Если в отрывке «Три часа дня...» (предположительно 1915 год) «взаимоотношения еврейского и нееврейского миров» повернуты комической стороной, то в автобиографическом «рассказе-воспоминании» «Детство. У бабушки», написанном в 1915 году в Саратове, эта тема осмысливается вполне серьезно, но дана в разных восприятиях – мальчика и его бабушки. «Из этого наброска, как из почки, – пишет исследователь, – в дальнейшем вырастут поздние рассказы автобиографического цикла Бабеля – “История моей голубятни”, “Первая любовь”, “В подвале”, “Пробуждение”, “Ди Грассо”» (с. 75).

И в раннем рассказе 1915 года, и в рассказах о детстве, написанных в 1920-1930 годы, возникает тема «еврейской мечты», вернее «еврейских иллюзий» – «возможности быстрого восхождения к высотам жизни. <...> Но всегда в рассказах Бабеля эти еврейские мечты грубо перечеркиваются самой действительностью, наиболее реальное проявление которой – погром...» (с. 79).

³ Бабель И. Собр. соч. в 4-х т. М.: Время, 2006. Т. 4. С. 238.

«Единственной опорой в этом мире является еврейская семья, даже такая “нищая и бестолковая”», как у героя рассказов Бабеля (с. 79). Именно через показ еврейской семьи и в автобиографических новеллах, и в неоконченной повести «Еврейка», на которой автор статьи также довольно подробно останавливается, Бабель напоминает о великих нравственных традициях своего народа.

Третья большая статья бабелевского раздела называется «Бабель на Волге: рассказ об одной экспедиции» и посвящена она саратовским страницам биографии писателя. В данной работе подробно анализируется рассказ «Иван-да-Марья», повествующий о продовольственной экспедиции в Самарскую губернию 1918 года. Разбору этого рассказа предшествует небольшой экскурс в биографию молодого Бабеля, когда тот впервые попал в Саратов. Туда, наряду с другими высшими учебными заведениями Киева, был эвакуирован Киевский коммерческий институт, который окончил писатель (именно в Саратове он получил диплом). Небольшой фрагмент о первом пребывании Бабеля в Саратове, впрочем, как и последующий анализ рассказа «Иван-да-Марья», настолько богат документальными материалами (автор обзораемой книги большую часть жизни прожил в Саратове), что может служить ценным источником для создания научной биографии писателя этого периода. Да и рассказ Бабеля рассматривается здесь, в первую очередь, с точки зрения соотношения в нем факта, подлинности и художественного вымысла. Позволю себе привести полностью окончание статьи, в котором подводится итог всему в ней сказанному:

«“Иван-да-Марья” – один из самых документированных, насыщенных конкретными фактами произведений Бабеля. Это позволяет предположить, что и эпизод с рейдом парохода и расстрелом его капитана все-таки имел какую-то реальную основу и лишь “домыслен” автором. В пользу этого предположения говорит тот факт, что рассказ был опубликован впервые в 1932 г., при жизни С.В.Малышева, и, вероятно, вряд ли мог пройти мимо его внимания – ведь он в рассказе – главное действующее лицо.

Бабель, убравший из своих конармейских рассказов подлинные фамилии во избежание, как он писал “сверхкомплектного поношения”, фамилию “красного купца” оставил...

Но в то же время внешняя форма хроники – истории одной экспедиции – в рассказе “Иван-да-Марья” “сдвинута” и заострена ярким вымыслом, гротескным совмещением несовместимого. В том, как описывает Бабель расстрел “начудившего” и по-детски открытого человека с “неустроенной душой”, вполне ощущается неприятие писателем насилия и крови как нормы, какими бы благими целями ни пытались их оправдать. Эту гуманистическую позицию Бабеля не смог поколебать “век-волкодав”. Ценой, которую художник заплатил за гуманизм, оказалась его жизнь...»

О том, насколько неправомерно отождествлять художественное произведение и его героев с подлинными событиями, которые легли в основу произведения, и реальными людьми, послужившими прототипами для созданных писателем образов, говорится в заметке «А есть ли “тайна”?» Речь в данном случае идет об «Одесских рассказах», их герое Бене Крике и его прототипе М. Винницком (Мишке Япончике).

В книге Левина помещена также его статья «Рядом с Бабелем» – рецензия на воспоминания жены писателя А. Пирожковой «Семь лет с Исааком Бабелем», вышедшие в 2001 году в США. «Позиция А.Н. Пирожковой, – пишет Левин, – привлекательна тем, что как автор мемуаров она не заслоняет собой Бабеля и не претендует на роль толкователя и комментатора его произведений – это, по ее мнению, дело литературоведов. Точный, «инженерный» склад мыслей позволяет ей выстроить ряд фактов, свидетельницей которых она была, и, приблизив Бабеля к современному читателю, нарисовать его семейный и общественный портрет на фоне эпохи». Но в то же время «на страницах ее книги о Бабеле, – продолжает автор рецензии, – возникает и необыкновенно притягательный автопортрет – талантливого инженера, спутницы последних семи лет жизни писателя, хранительницы его семейного тепла и его трудов» (с. 98).

Безусловно, на восприятие Левиным этих воспоминаний наложило отпечаток многолетнее личное знакомство и общение с вдовой писателя. Об их встречах рассказано в очень интересной очерке, вошедшем в сборник, – «В мире Бабеля: люди и книги». Помимо Антонины Николаевны, здесь говорится о людях, занимавшихся творчеством и биографией Бабеля, – И. Смирине, Л. Лившице, Е. Краснощековой, У. Спекторе. Примечательно также повествование о встрече и беседе с генерал-лейтенантом С. Кривошеиным, бывшим комиссаром и командиром полка 6-й кавдивизии Первой Конной армии. Этот очерк мемуарного характера завершает первую, «бабелевскую» часть книги.

Второй раздел называется «Диалог (русские писатели и евреи; Генрих Гейне о евреях)». Материалы этого раздела, посвященного главным образом раскрытию еврейской темы в русской литературе и отношению к евреям со стороны русских классиков, подкупают непредвзятым подходом к столь непростой и острой проблеме, стремлением объективно разобраться в причинах отрицательного отношения к евреям со стороны некоторых русских писателей. Это, в первую очередь, относится к статьям о Ф. Достоевском и Н. Лескове и в какой-то мере об А. Чехове. В самом начале работы «Достоевский и евреи» обозначен тот ракурс, тот угол зрения, под которым автор книги исследует данную проблему. «Тема “Русские писатели и евреи”, некогда находившаяся под запретом, – пишет он, – часто рассматривается лишь в аспекте “русские писатели о евреях” либо “евреи в русской литературе”. Нам же представляется, что процесс был двусторонним: не только русские писатели оценивали евреев и воплощали их образы в литературе, но и евреи вступали в диалог, а то и спор с ними по поводу правомочности и содержания этой оценки. Этот диалог был возможен, конечно, только тогда, когда писатель проявлял заинтересованность в том или ином решении еврейского вопроса» (с. 124). «Случай Достоевского» особенно показателен, считает Левин, потому что «когда речь идет об антисемитизме большого художника <...> проблема значительно усложняется. В

самом этом определении есть нечто взаимоисключающее: ведь гений и национальная ненависть – “две вещи несовместные”» (с. 125). Опираясь на мнение философа А. Штейнберга, автор статьи делает вывод, что в основе негативного отношения Достоевского к евреям лежат его «мессианские мечты <...> о русском народе-богоносце, которому принадлежит будущее и который призван владеть миром и спасти его» (с. 129). «Идеалом Достоевского была Россия как единое духовное целое, опорой которого является “почва” – русский народ и православная церковь, слившаяся с государством, – продолжает исследователь. – Эта Россия должна была явить миру пример всеединства, всепримиримости, всечеловечности» (с. 132). А потому писатель видел угрозу в русских евреях, которые, по его мнению, являли собой в России «сильнейший Status in Statu». Далее автор работы цитирует Л. Гроссмана, отмечавшего, как и Штейнберг, что антисемитизм Достоевского «смягчался несомненной родственностью его типа мышления с библейским духом». «Это уважение к этической мысли еврейства, при неприязни к создавшему ее народу, – писал Гроссман, – не может не поражать нас в Достоевском. Совмещение философского семитофильства с практическим антисемитизмом было уделом многих мыслителей. <...> Достоевский был таким же представителем этого теоретического антисемитизма, исконно чуждого всех глубоких основ философской критики»⁴ (с. 134).

Однако, как заключает Левин свою статью, «Достоевский, создавший, по определению М.М. Бахтина, новый тип романа – полифонический и стремившийся к установлению диалога со своими героями, к сожалению, так и не смог вступить в подлинный диалог с еврейством, оставаясь принципиально монологичным...» (с. 135).

Две глубокие статьи посвящены Лескову. В них говорится о двойственном отношении писателя к евреям, которое проявилось в его произведениях. Как отмечает

⁴ Гроссман Л. Достоевский и юдаизм // Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому: Материалы, биография, комментарии. М.–Пг.: Гос. изд-во, 1922. С. 181.

Левин в статье «Николай Лесков и евреи», «затрагивая еврейскую тему, Лесков каждый раз подчеркивает чуждость евреев русскому народу. Представление об инородческом племени складывается в его произведениях из легенд и наветов в духе христианского антисемитизма или из анекдотов самого грубого свойства». Но в повести «Очарованный странник» «Лесков выходит за рамки заданной схемы и создает убедительный и трагичный образ еврея» (с. 159). И все же, по мнению исследователя, евреи у Лескова «либо окарикатурены, либо вызывают у читателя жалостливое презрение, если же выведены как положительные герои, – поверхностно-иллюстративны» (с. 177).

Вторая статья о Лескове называется «“По разуму и по совести...” Повествователь в очерке Н.С. Лескова “Еврей в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу”». Размышления писателя в этом очерке (основой для него послужила «Записка», составленная Лесковым для комиссии по еврейскому вопросу во главе с графом К. Паленом) – результат «длительных и глубоких жизненных наблюдений и изысканий» (с. 182). Хотя очерк появился анонимно, «активное авторское начало проявляется в неповторимо индивидуальном стиле повествования, по-лесковски гибком, своеобразном и сосредоточенном на отыскании истины» (с. 190). Не став филосемитом, Лесков, тем не менее, в этом труде открыто и страстно защищал евреев «с точки зрения общечеловеческих ценностей и гуманизма и в то же время с точки зрения государственных интересов России» (с. 193).

Неоднозначное отношение к евреям со стороны Чехова проявилось в произведениях и письмах писателя. Об этом говорится в статье Левина «Еврейская судьба на полотне русской жизни у Чехова». Под этим углом зрения в работе подробно разбираются рассказы «Тина», «Палата № 6», «Скрипка Ротшильда», повесть «Степь», пьесы «Безотцовщина» и «Иванов». «Скрипка Ротшильда», написанная в 1894 году, – завершающее художественное высказывание Чехова на еврейскую тему. «Концовка рассказа символична, – пишет Левин, – скрипка Якова, ставшая скрипкой Ротшильда, издает такие жалобные звуки,

что люди не могут сдерживать слез. В этой “новой песне” слились две тоски – русская и еврейская...» (с. 285). «Еврейская судьба, – делает вывод автор статьи, – вплетается у Чехова в полотно русской “жизни вообще”, но сохраняет, образно говоря свой “цвет”. Соотношение еврейского и русского “голосов” в межнациональном диалоге у Чехова лучше всего передает блоковский образ “нераздельности и неслиянности”» (с. 288).

Защите еврейского народа на страницах художественных и публицистических произведений В. Короленко, пером которого всегда двигало «сострадание к евреям» (с. 220), посвящена статья «Праведник Владимир Короленко».

Наиболее показательными фигурами среди русских писателей в отношении евреев были, как хорошо известно, антиподы Достоевский и М. Горький. Очерк из книги Левина, названный «А.М. Горький и евреи», рассказывает о полемике вокруг «Общества для изучения еврейской жизни» и о позиции писателя по еврейскому вопросу в 1915-1916 годах.

К этим работам о Короленко и Горьком примыкает статья «Тетто избранничества» Марины Цветаевой».

А завершает раздел впервые напечатанная в обозреваемой книге статья, посвященная великому немецкому поэту, – «На пути к Тшуве: Генрих Гейне о евреях, еврействе и Торе».

Третья часть книги «Евреи Саратова» – историко-краеведческие очерки о евреях и религиозной общине Саратова. Этого раздела книги, требующего особого разговора, я здесь касаться не буду. Однако следует упомянуть значительный и по важности и по объему очерк «Дело было в Саратове» (о нашумевшем ритуальном деле 1853 года), где впервые опубликован целый ряд интересных архивных документов.

В целом, какую бы статью или очерк, представленные в этом издании, мы не взяли, везде мы увидим серьезный подход исследователя, глубокие познания, привлечение обширного фактического и литературного материала, убедительную интерпретацию тех

или иных произведений и практически исчерпывающее раскрытие темы, заявленной в названии каждой работы.

В заключение следует отметить издательско-полиграфическую культуру иерусалимского издательства «Филобиблон», наличие в книге 7-страничного именного указателя, а также многих интересных как известных, так и неизвестных фотографий, которые сопровождают все материалы книги.

Москва



Эстер Пастернак¹

Прогулки по Парижу

בס"ד

Э. Бормашенко

Анна Ахматова Раневской:

Шведы требуют для меня нобелевку. Вот, в Стокгольме напечатали.

– Стокгольм, – произнесла Раневская.

– Как провинциально!

Ахматова:

– Могу показать то же самое из Парижа...

– Париж, Нью-Йорк, – всё, всё провинция.

– Что же не провинция, Фаина?

Провинциально всё, – отозвалась Раневская.

– Всё провинциально, кроме Торы.

А. Найман «Рассказы о Анне Ахматовой»

Часть 1

День первый



од крылом самолёта в серой смоле
высятся Альпы. Лететь осталось меньше часа.

В 8 часов утра приземляемся в аэропорту Орли. В Париже температура + 5.

Поёживаюсь от холодного воздуха. Ощущение пятнадцатилетней давности – сентябрь, Москва, посольство, очередь. Проезжаем по парижским улицам. Забытая архитектура, зелень, ширь. Шофер переспрашивает адрес

¹ Мнения читателей не обязаны совпадать с мнением автора очерка. Приятных прогулок! Э. Пастернак.

гостиницы. Рю де Ришелье, гостиница "Жарден де Пари". Дорога перекрыта. О-ля-ля – бомбочка. Делаем разворот. Ну и встреча!

В большом гостиничном номере холодно и одиноко. Заныло под ложечкой от накатившего чувства бездомности. Что я здесь делаю? Зачем я здесь?

"Пусть отсохнет моя правая рука, язык прилипнет к небу, если я забуду тебя, Иерусалим!"

Сидя в кресле, засыпаю и, проснувшись, слышу за окном дождь.



Выходим в вечерний Париж. Ослепляющие фонари, бесконечные вереницы машин, нескончаемый гул, говор. Между мной и Парижем занавесь, и только позже – слабые паутинки едва опознанной радости. На фронтоне, опоясывающем здание Французской оперы, в нишах стоят бюсты французских композиторов. В этот вечер давали "Травиату". Из машин выходили дамы в сопровождении мужчин. Запомнилась семенящая горбунья в мехах в паре со стройным молодым мужчиной, держащим над ней зонт. Неоновые огни бесконечных магазинов, пёстрые витрины, яркие блицы реклам, бесчисленные рестораны, бистро. В маленьком кафе на Итальянской площади тепло и пахнет кофе. Париж по-прежнему затянут в сетку дождя. Глядя в

окно, на ярко освещённую улицу, я думаю о том, что завтра в Иерусалиме начинается Суккот².

Дни второй, третий, четвертый

На завтрак горячие круассаны, сливочное масло, фруктовый конфитюр, кофе и чай. Вспоминаю "Сиесту в Памплоне" Алика Гольдмана: *...Лену поразило следующее, к примеру: вся Франция завтракает одинаково.*

Накрапывает мелкий дождь. Сырой воздух полон запахов осеннего леса. Дворами-пассажами выходим на площадь Согласия. Памятник Оноре де Бальзака порядочно загажен голубями, клюющими макушку великого писателя. Посреди мостовой Османского бульвара две берёзы, как школьницы, жмутся друг к другу.

Дождя сегодня нет, но туча висит над головой, как дамоклов меч, и все вокруг серо.

В Латинском квартале посетили магазин русской книги. На широком подоконнике одного из домов сидел удивительный кот, я остановилась, не в силах пройти мимо такого зрелища. Кот протянул лапу, его звали Месье. Из петлицы пушистого мундира высовывалась белая роза, и три рыжие планки украшали грудь, ни дать ни взять почётный генерал славной французской армии. Отдав честь, мы пошли дальше. На бульваре Клише из праздного любопытства заглянули в "Мулен Руж". В полутемном, квадратном вестибюле с десяток касс, где уже с утра можно приобрести билеты на ночное представление, стены увешаны репродукциями с картин Тулуза Лотрека. Бар в эти часы закрыт, но за тремя низкими столиками болтают несколько смазливых официанток. На улице продают цветы в плетеных корзинах, в ведрах, в деревянных бочонках, в высоких вазах – многочисленные и яркие, они заполнили весь тротуар, отчего улица кажется декорацией к театральной постановке. На лестнице, ведущей к Сене, молодой художник пытался рисовать мой портрет. Моего на портрете – один заголовок – глаза. По дороге в Лувр, я вспоминаю о том, что моя подруга, француженка Д., произносит это слово так: *Лювэр*, (особый выговор буквы

² Праздник куш.

«р» воспроизвести на бумаге невозможно), всегда напоминает мне «Детство *Люверс*» Бориса Пастернака, а само слово Лувр, – срубленный топором лавр. «Луврэ» – более поэтично, почти Петрарка, почти Лаура, почти сонет. А если скульптура, то – плоть в мраморе – *искусство не моего измерения*. (Цветаева)

*Урок любви, похожий на сонет,
Где плоть так расточительна, как свет!
Ясны необязательные речи
В дословном счастье, и нельзя иначе.*

Э. Пастернак

В Лувре, в этом мировом хранилище искусства, с напояженным паркетом, утопанным тысячами ног, где крыло каждого французского короля имеет собственный парадный вход с душными портьерами, с тёмными портретами, из которых по ночам выходят удушенные и отравленные правители, – мне было не по себе, как после посещения анатомического музея.

С Лувром по причине странного происшествия связано имя поэта Гийома Аполлинера. Вначале сентября 1911 года из Лувра пропала картина, но не просто картина, а Мона Лиза. По обвинению в краже «Джоконды» великого Леонардо да Винчи был арестован Гийом Аполлинер.

Кого, вы думаете,
копы из Парижа
За это взяли? Мсье Аполлинера!
И в обезьяннике
ему трепали нервы³.

Свою непричастность к исчезновению «Джоконды» Аполлинеру пришлось доказывать всерьез. Причины ареста поэта были нешуточные: его видели в Лувре за несколько дней до кражи. Известный факт – шедевр Леонардо возвратился в Лувр только три года спустя. Похитителями картины оказались итальянцы, мечтавшие вернуть картину

³ Из неоконченной поэмы И. Бродского «История двадцатого века».

на родину, но не смогли найти на нее покупателя в Италии и вернули «Джоконду» французским властям. Лувр убытков не понес. Даже наоборот. Желających увидеть светлое пятно на стене вместо картины за три года пришло в музей больше, чем ценителей Леонардо за двенадцать лет.

С бульвара Распай (весь нараспашку!) – распалённого шагами восторженных туристов – раз – па, два – па, – мы вливаемся в дневную сутолоку бульвара Сен-Мишель. Ни «жалости, ни жимолости» у Парижа я не просила.

*Мне кажется, что я вас рядом слышу,
Вторую ночь я вижу вас во сне.
Стучится дождь крылом летучей мыши,
И ветер треплет сорванный брезент.*

*Мне снится осень, Самария снится.
Её писал рассерженный Расин.
А муэдзин как дикая ослица,
И голос выпущен, как из бутылки джинн.*

*Мне кажется, что ничего не страшно.
Гранатовыми зернами закат.
И голуби толкуются в рукопашной
На Гревской площади, где казнь, где перстень-яд.*

*Дожди заладили скрипучее шарманок.
Мне снится гобеленовый Париж,
И Сен-Мишель в растрепанных каштанах,
И то кафе, где ты сейчас сидишь.*
Э. Пастернак

День пятый

Во дворе Монмартрского музея тихо, красиво и бренно. С деревьев льётся уютный шансон голубей. Голуби в Париже бесстрашно разгуливают по мостовой, искусно балансируют на печных трубах, со вкусом устраиваются на барельефах, и загорают на памятниках. Нужна некоторая растяжка времени, чтобы пятна на лугу с картины Гогена легли художественным пластом на сетчатку глаза и чтобы в погоне за «утраченным временем» не слишком больно

ударяли падающие на голову булонские или монмартрские каштаны, вот уже почти век отпевающие «Париж прошлого». Мы уходили вниз по булыжным мостовым, поднимались вверх по узким улочкам к парижским мансардам с торчащими каменными ушами печных труб. День закончился вечерней праздничной молитвой в одной из красивейших сефардских синагог Парижа на рю де Монмартр.

Дни шестой, седьмой, восьмой

Назавтра не по-осеннему солнечный день позволил проделать прогулку по Сене на катере. Знаменитая река, увековеченная в стихах и романах, не вдохновила меня ни буро-зелёным цветом, ни запахом старого пива и подгнивающих водорослей. Парижа моей юности не осталось. Мой Париж ни с кем нельзя было спутать. Ничего не осталось от жажды и тоски по городу, на улицах которого каждый вечер зажигались газовые рожки. Ничего не осталось от улочек моих нереальных воспоминаний о городе, в котором никогда не была и в котором прошел добрый десяток лет моей юности. Ничто не напоминало Париж, в котором будут написаны «письма из Франции» еще до того, как я побывала в нём⁴

В Сен-Жерменском лесу накрапывал мелкий дождик. Прогалины между дубовыми деревьями покрылись скользким мхом. Громко стучал дятел, застряв на одной ноте, как тапер в дешевой гостинице. На полянке, среди желто-красных цветов, сквозь мелкое решето дождя просеивался золотой песок образов из стихотворения, которое я тебе читала.

*Уходишь, и птичьим садом
Во мне отзовется утро,
Холодным окном, парадом
Сырой, осенней палитры.*

*Но как неизменно долго
Затянется день ненастный.*

⁴ Цикл стихов «Письма из Франции» Э. Пастернак

*С книжных сойдут полок
Стихи и детские сказки.*

*Пусть осень, как неизбежность.
Зима, как скупая притча.
Есть только одна нежность,
С которою мне снишься.*

*С которою беспощадно
Немеют, дрожат губы.
Над птичьим пустым садом
Мрачнеют тучи как Будды.*

*Ты снишься так изумленно,
Так бережно, так отлично
От помыслов посторонних,
От жалкости и величья.*

*Ты – глиняная свистулька.
В сиренево-зимний вечер
Часы отбивают гулко
Минуты на чёт и нечет.*

*Есть только одна нежность
С которою ты снишься.
Горят, оплывая, свечи,
В подсвечниках из Парижа.*

Э. Пастернак

А косуль, о которых нам так много рассказывали, мы так и не встретили, зато кролики пересекали дорогу с быстротой молнии.

На бульваре Бомарше светит яркое солнце, но к вечеру уже моросит дождь.

Пройдя по каштановой аллее Люксембургского парка, выходим на улицу Монпарнас и находим дом 19, здесь жил Модильяни. Улочка Данфер-Рошро, где в 30-е годы Цветаева любила бывать у Лебедевых, переименовала название и облик. И вот мы попадаем в неосвещенный переулок едва ли не ошупью, как в вывернутый наизнанку карман, и, выйдя из туннеля, оказываемся на концерте

звнящего фонтана посреди площади Ла Фонтен. Он – маленький городской оркестр, а ты дирижер. Разучи пьесу, и да поможет тебе Всевышний! Лицо влажное то ли от далеко летящих брызг, то ли от слез.

Гуляя по площади Бастилии, мы зашли в тир, где муж решил сбить в мою честь все существующие там мишени. Так он и сделал, но сделал он это так, как учила его Армия Оборона Израиля. Картина была сюрреалистическая – на прилавке перед ошеломленным хозяином тира постепенно выросла плюшевая гора из розовых кукол, коричневых медвежат и жёлтых утят. Попрощавшись, мы вышли. За нами следом напряжённой походкой пошли три араба. Пройдя какое-то расстояние, они услышали, что мы переговариваемся на русском языке, и отстали.

Нет, меня решительно нельзя было утешить *Парижем, мощно одичалым*. (Мандельштам) Только как знал поэт в 1935 году о том, что мусульмане в конце 20-го столетия довольно успешно, как строптивного жеребца, объезды Францию?.. Одичалым и удручающим виделся мне Париж, когда араб, бросив циновку на камни мостовой, рядом со статуей «поверженной головы», чихая от пыли, молился, скосив дремучие глаза на голые ноги проходящих мимо француженок⁵.

Но были и приятные встречи, одна в Латинском квартале с котом (смотри выше), а вторая в Парке Тюильри, когда рядом со мной на скамью присел коричневый с серым отливом голубь и всю меня, как телеграмму, втянул в себя блестящими зрачками.

Безотчётную радость сменяла грусть, от которой захватывало сердце. Кого мы надеялись встретить в непрерывной толпе конца 20-го столетия? Парижская толпа замешена на равнодушии и спеси. Из-за первого Франция заполонена арабами, она попросту захвачена ими, хотя французы не признаются в этом даже наедине с собой (уже признаются!..), из-за второго – их мягкотелая продажность, как политическая, так и... всякая. Близорукость Франции

⁵ «Европа ещё французская, но Франции уже нет». П. Вяземский, 1853.

уже никого не удивляет, а недалёкозоркость Европы – пугает. В своё время, когда Конвент назвал Шиллера «другом свободы» и присвоил ему звание гражданина Французской республики, никто не представлял себе пагубные масштабы этой пресловутой «свободы», говорящей на арабском языке на всех площадях Парижа⁶.

Дни девятый, десятый



*В Париже площадь есть –
её зовут Звезда.*

О. Манделъштам

(«Строчки из утерянных стихов», т. 4)

Утро пасмурное и прохладное. В прудах Болонского леса плавают утки. Здесь каштановая поляна, огромные платаны, развесистые ели, старые дубы, тонкие осины, и нежнее нежного сирень с мелкими капельками дождя на ресницах. Глаза отдыхали от вида дворцов людовиков и филиппов, уши отдыхали от городского гула.

Прикрыв глаза, я ощущала знакомый запах сухого ветра с семи Иерусалимских холмов; небесный запах вечного города – праздник, который всегда с тобой!

Интересно заметить, что Париж с его дворцами, галереями, музеями, мостами, с его Лувром, даже если Сена

⁶ «Европа – исламская, а Франции уже давно нет». Э. Пастернак, 1994-2011 г.

разольется вдоль и поперек, и пребудет город на сваях, не станет символом «туристической лирики». В то время как Венеция, – *размокшая каменная баранка*, (Б. Пастернак) – живущая на каналах, на мостках, на решетках, на алмазных квадратах солнечных лучей, на глади воды, с шумными голубями, стучащимися в тёмные венецианские окна, давно увлекает карнавалом неисчерпаемого восторга.

Улица, по которой мы идём, очень тихая, дома здесь застегнуты на все пуговицы, в них живут семьи дипломатов и послов. По дороге я вспоминаю, что завтра мы улетаем домой. *Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств.* (И. Бродский) А мне так не терпелось этой самой «ссылки в прочие чувства»!

Оставляю Париж далеко за спиной Иерусалима и Самарию, Иудею и Галилею. Оставляю его, бывшим мечтой и реальностью, памятью и воспоминанием, оставляю его несбывшимся чудом далеко за спиной 17-летней девочки, однажды написавшей: *...И старый замок мой – Париж, воспоминаньями покрыт, и паутиной по углам.*

Часть 2

*Возложи на Господа дела твои,
и утвердятся помышления твои.*

Мишлей (Притчи) царя Шломо (Соломона), 16;3

В аэропорту Бен-Гурион приземлились в полдень. Прозрачное небо напоминало хорошо промытое стекло. По знойной улице расхаживал месяц «тишрей». Запахи скоропалительной израильской осени, знакомые до боли, изо всех сил старались завладеть мной, и радость узнавания с ещё большей силой охватила, когда в ярко и легко одетой толпе встречающих я разглядела сыновей.

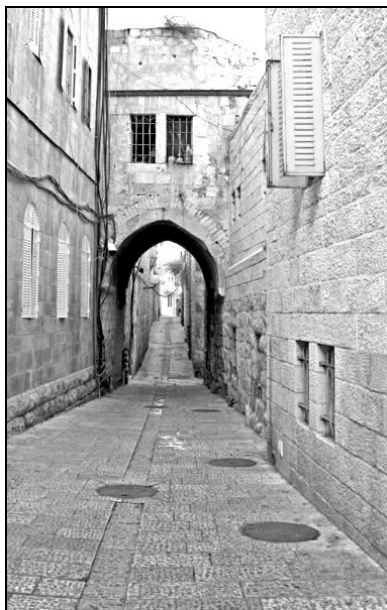
Ночью мне снится Париж и Эйфелева башня, на которую я не удосужилась взобраться. Версальский дворец я тоже не посетила, потому что больше люблю город Давида и Соломоновы пруды. Друзья, уверенные, что Европа (Париж!!!) – непременно поразила наше воображение, несколько разочаровались, услышав:

Вам уже не найти ни листка оливы, ни зёрнышка винограда из тех, что я видела на земле обетованной.
(Шатобриан)

Через два дня мы были в Иерусалиме. И вот я стою на площади «Париж» в центре святого города; за спиной дети пускают в небо бумажного змея. Змей зависает, едва коснувшись голубо-розового фаянса небесного озера.

Усохла сила моя как глина фаянса, – вспоминаю я псалом Давида.

«Где-то написано о том, что в конце времён Париж исчезнет наряду со многими другими городами, – приходят мысли. – Так что же, останется одна площадь, или одно название, или ничего? – Да, ничего не останется – ни звука, ни духа от одного лёгкого дуновения Машиаха (Мессии), – как написано».



Я смотрю на дома из иерусалимского камня, стены излучают особое тепло, на них играют солнечные блики. Я думаю о том, что на острове Шазэль, в горах Самарии, бархатный шалфей за шиворот, по-братски, вытаскивает растущие меж скалистых теснин жёлтые левкой. Сильные порывы ветра толкают в спину. Такой ветер способен

расстроить музыкальный инструмент, и потому нежелательно выходить сейчас на улицы города со скрипкой в руках. Ветер гудит так настойчиво, что ладоней, закрывших уши, недостаточно, дабы проскочить и не застрять на раздражающей ноте настоящего, как чай, отчаяния. Душа моя, ты в Иерусалиме. Расслабься и люби себя, даже если тащишь за собой, как кошка на хвосте, грохочущую по мостовой жестянку, полную чувства вины за прошлые прегрешения. Низко висящие облака прохватывает ознобом от твоего искреннего раскаяния, они чернеют, и дождь, протеже небес, громко падает и принимается с такой сильной жаждой, какую только земля Израиля знает. И может быть, это знак о том, что молитва твоя принята.

Загибая страницу как руку в локте, переносу на вышивку птичьих дней великое признание ежесекундной и непобедимой веры в Творца, обнимая бесконечность, как невесомая вода обнимает гладкую поверхность дельфиньих спин. Я ухожу так далеко, что кажется, пришла к роднику, и только напиться осталось, но эхо бьет крылом по губам. Я спрашиваю, и слёзы, как хрустальные бусины, скатываются по щеке, и ты говоришь: *Это был рай, а теперь мы смотрим на два острых меча у входа и не можем проникнуть. И серый дым бездны клубится и наполняет наши сердца страхом великим.*

Тёмные пятна осеннего неба, непросохшие капли дождя на мраморном лбу подоконника, смазанное туманом окно. В саду, замершем, как лев перед прыжком, пахнет инеем. На субботнем столе халы с запечатанными внутри прозрачными зернами «манны».

С райских деревьев медом стекала слюна уснувшего над Книгой ребенка. Тысячи сверкающих капель собирались в единое целое – в ожидание – ни осени, ни весны – *Избавления*. Над головой проплыло облако, напоминающее шатер Яакова, и сильный ветер, поменявший направление, упрямо погнало его в сторону Иерусалима.

Облетают воспоминания, облетают, как осенняя листва от порыва сильного ветра, и становятся единым составляющим нашей жизни, ярким ковром устилающая двор и

садовые дорожки, ведущие от порога дома к сливе, ануне,
айве... Ведущие в рай...

*Мне эта ночь напомнила коптильню
Так воздух сух, что закипают слезы.
Я намешаю новую палитру,
Где щиплют травы выдумщицы-козы.*

*Где Иудеи вечная арена
Приемлет пастухов и пилигримов,
Где с Храмовой горы, погибшие Микены,
Я вижу затканными временем и пылью.*

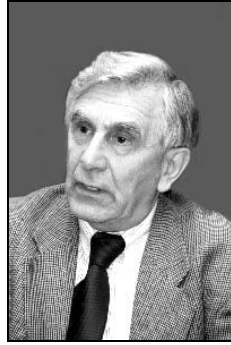
*Где звезды, словно рыбы на жаровне,
И муэдзин охрипший голосит,
И падает на Шхемскую дорогу
Тень виноградников, сжимающих виски.*

Э. Пастернак

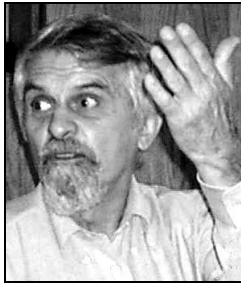
Ноябрь-1994, Хермеш – Июль-2011, Ариэль



Об авторах



Габриэль Мерзон – российский физик, доктор физико-математических наук



Владимир Тихомиров – российский математик, писатель и педагог, профессор МГУ, член Московского математического общества.



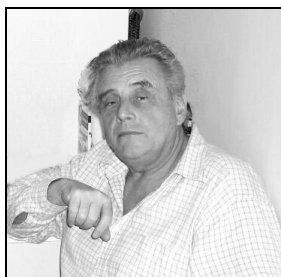
Андрей Афендиков – математик, заведующий отделом ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, доктор физ.-мат. наук.



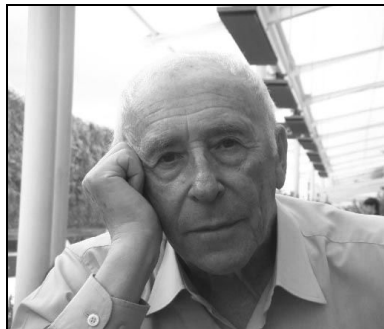
Ольга Борисова – математик, преподаватель Королёвского института управления экономики и социологии (КИУЭС).



Анна Тоом – профессор психологии, Международный Университет Тридент, США



Андрей Тоом – математик, профессор Федерального университета в Пернамбуко в Бразилии.



Ури Андрес – доктор наук, консультирует индустриальные компании в области сепарации минералов.



Ирья Хиива – искусствовед и литератор.



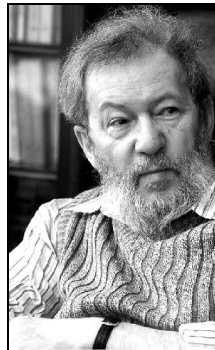
Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



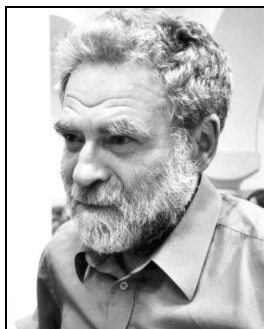
Артур Штильман – скрипач и дирижер, автор книг о музыкантах.



Светлана Гебелева – дочь одного из организаторов Минского антифашистского подполья Михаила Львовича Гебелева.



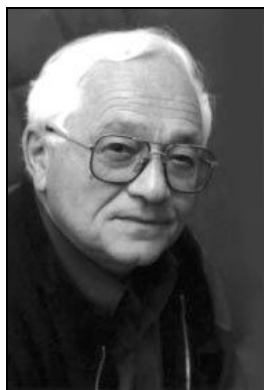
Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Юрий Ревич – инженер-электронщик и журналист с многолетним стажем.



Виктор Каган – доктор медицинских наук. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга.



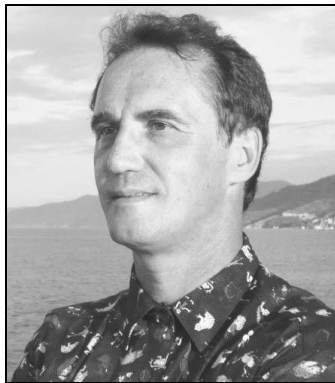
Хаим Соколин - геолог, литератор.



Наталья Гранцева – литератор, автор нескольких книг поэзии и исторической эссеистики, главный редактор журнала «Нева».



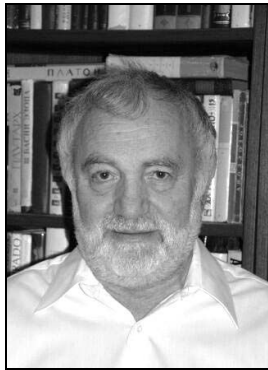
Михаил Юдсон – литератор.



Сергей Слепухин – екатеринбургский поэт и художник.



Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



Александр Матлин – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.



Елена Мазур-Матусевич – писатель, художник, филолог.



Александр Бизяк – сценарист, педагог.



Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.



Лея Гольдберг – ивритская поэтесса и критик.



Лилия Креймер – патентовед, литератор



Елена Погорельская – литературовед, зав. сектором отдела рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва).



Эстер Пастернак – поэт, журналист, прозаик.

Журнал «Семь искусств», Декабрь 2011
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2011, 453 стр. 17,6 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины